Анатолий
Приставкин

Король Монпасье Мармелажка Первый

Rus FIC PRISTAVK
Pristavkin, Anatoli˘i
Ignat'evich.
Korol'_Monpas'e Marmelazhka
Pervy˘i

МОСКВА
ОЛМА Медиа Групп
2008

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос-Рус)6-4
П 68

Оформление переплета
С. Щавелев

Приставкин А. И.
П 68 Король Монпасье Мармелажка Первый: Роман. — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. — 320 с.
ISBN 978-5-373-02307-8

За забавным и на первый взгляд несерьезным названием последнего романа А. И. Приставкина кроется глубина осмысления действительности, пережитой и продуманной мастером в последние годы жизни. Это роман о современной России, повествование о которой перемежается экскурсами в Россию XVII века. Жизнь героя романа — литератора Александра Васильевича Соколова тесно переплетена с жизнью и смертью Григория Карповича Котошихина — «диссидента» тех времен, «шпиона и перебежчика», оболганного современниками, также написавшего книгу о России.

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос-Рус)6-4

ISBN 978-5-373-02307-8

© Приставкин А. И., 2008
© ЗАО «ОЛМА Медиа групп».
Издание и оформление, 2008

R05017 76447

Оглавление

Предисловие 4
Как родился «Мармелажка» 7
Вступление 11
Глава первая. Палата лордов 14
Глава вторая. Монпасье 29
Глава третья. Николай Васильевич Негоголь 41
Глава четвертая. Король 47
Глава пятая. БОС 59
Глава шестая. Котошихин 69
Глава седьмая. Дима 83
Глава восьмая. Зяма 98
Глава девятая. Дочка 13
Глава десятая. Котошихин 128
Глава одиннадцатая. Поцелуй Господа Бога 146
Глава двенадцатая. Рождество 156
Глава тринадцатая. Тексты 172
Глава четырнадцатая. Мать 179
Глава пятнадцатая. Русский узник в шведской тюрьме 186
Глава шестнадцая. Юбилей 204
Глава семнадцатая. Железная леди 212
Глава восемнадцатая. Королевский прием 226
Глава девятнадцатая. Сикстинская мадонна 241
Глава двадцатая. Катя 248
Глава двадцать первая. Палач 258
Глава двадцать вторая. Врач 275
Глава двадцать третья. Алена 285
Глава двадцать четвертая. Мефистофель 295
Глава двадцать пятая. Рукопись 302
Глава двадцать шестая. Упсала 309
Глава двадцать седьмая. Венский бал 316
Послесловие 317

Предисловие

Дорогие читатели!

Мне выпала почетная и в то же время печальная миссия представить новую работу недавно ушедшего от нас известного российского писателя — Анатолия Игнатьевича Приставкина.

Родившийся в 1931 году, рано начавший писать, он проделал большой путь к вершинам мастерства. Полной мерой хлебнув сиротской доли во время Великой Отечественной войны, Анатолий Приставкин всю жизнь с обостренным вниманием относился в своем творчестве к судьбам детей, лишившихся семейного тепла. Как рассказывал сам писатель, к писательскому ремеслу его подтолкнула история, случившаяся во время войны в эвакуации. Тогда в Челябинске группе голодных и изможденных долгими переездами детдомовских детей только с помощью воспитателя удалось проложить коридор через возбужденную толпу осаждавших местную столовую взрослых беженцев. И это проявление человеческой солидарности глубоко запало в душу будущему писателю. Об этом и был его первый рассказ — «Человеческий коридор», задавший гуманистический настрой всему дальнейшему творчеству писателя.

С особенной болью бывший беспризорник и детдомовец Анатолий Приставкин писал о подростковой преступности, захлестнувшей страну в послевоенное лихолетье, которая и в последние годы стала проблемой, требующей безотлагательного решения. Российское законодательство, заявлял писатель-гуманист, слишком жестоко по отношению к детям, да и взрослые за незначительные преступления нередко получают слишком большие сроки. А в местах заключения царят такие нравы, что побывавшие там становятся закоренелыми преступниками.

Уже к 80-м годам XX века Анатолий Приставкин был широко известен своей военной прозой, рассказами и повестями, но подлинная слава пришла к нему после публикации в 1987 году в журнале «Знамя» повести «Ночевала тучка золотая». Повесть быстро получила мировое признание: в течение нескольких лет после выхода в свет она была переведена более чем на тридцать языков, а ее общий тираж составил четыре с половиной миллиона экземпляров только в нашей стране.

Обнаженная правда последовавшей затем повести «Кукушата», завершившей трилогию, в которую помимо ее вошли повести «Солдат и мальчик» и «Ночевала тучка золотая», гуманистический пафос, пронизывающий все произведения Приставкина, снискали ему глубокое уважение в кругах российской читающей общественности.

Когда создавалась Комиссия по помилованию при Президенте России, лучшей кандидатуры в ее руководство было бы трудно найти. Девять лет жизни отдал писатель Анатолий Приставкин кропотливой работе по взвешиванию на нравственных весах деяний оступившихся человеческих душ: достоин — не достоин милосердия. Согласимся, что работа непростая. Через его руки прошло великое множество прошений. В зеленых папках от смертников, в синих — от прочих преступников, которые надеялись либо на смягчение наказания, либо на его полную отмену. Даже простое знакомство со всеми этими документами, признавался писатель, труд нелегкий.

Супруга писателя так вспоминала об этих годах: «Иногда после окончания заседания члены комиссии задерживались, делились пережитым во время чтения, чуть-чуть выпивали. Об этом написал и работавший в комиссии Булат Окуджава: „Я заглянул на улочку, а мне там дали рюмочку. А может быть, и две“. Улочка — это Ильинка. А иногда Толя все в себе перемалывал самостоятельно. Самые страшные вещи он записывал в дневник — для писателя это лучшая разрядка». Сам Анатолий Приставкин подтверждал: «Это единственное, что девять лет подряд я делал. Некогда было писать». Из этих записок впоследствии родилась трилогия «Долина смертной тени». Боль-

шая часть использованных при ее написании документов взята из недр криминальной России.

Конечно, это не развлекательное чтиво, и вообще, не легкое чтение. Но крайне сейчас необходимое для поддержания нравственного здоровья всякому культурному человеку.

Последний роман А. Приставкина лежит в русле всего его творчества. Не буду касаться содержания, читатель сможет оценить мастерство писателя. Скажу лишь, что в нем сходятся несколько линий повествования — рассказ об одном из первых историков России, лирические воспоминания героя и, что несколько неожиданно, сатирическое осмысление событий последних лет, пронизанное тревогой за состояние нашей культуры и нравы ее выразителей, как бы сказали раньше, инженеров человеческих душ. И, конечно же, одной из интриг романа будет борьба за интересы детей. Читателя ждет интересное интеллектуальное чтение.

Так распорядилась судьба, что предлагаемый читателю роман стал последним произведением писателя, в определенном смысле, итогом жизни и завещанием потомкам. Всего у А. И. Приставкина издано более двадцати пяти книг. Его романы и повести переведены на многие языки мира. Верный своему призванию, писатель и в своей последней работе продолжил свой подвижнический труд по сохранению и продвижению гуманитарных ценностей. Вечная ему память.

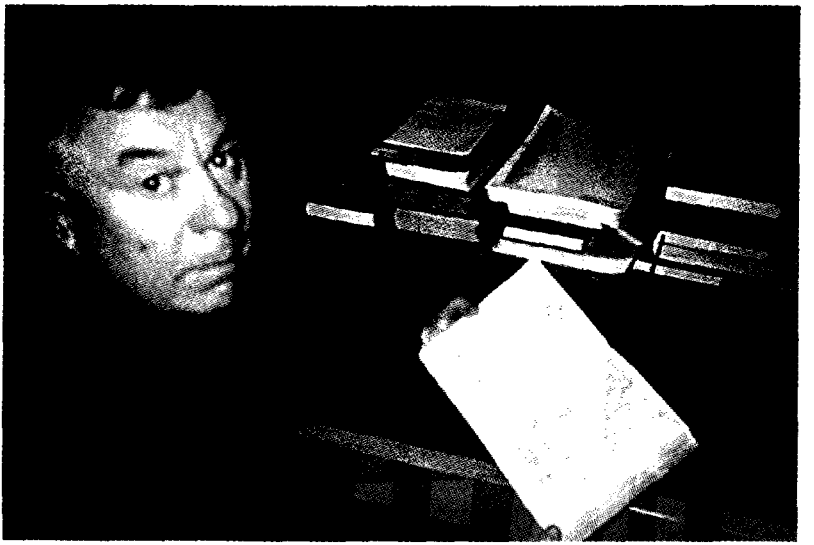
Президент Российского книжного союза,
Председатель Счетной палаты Российской Федерации
С. В. Степашин

Как родился «Мармелажка»

Случилось это прошлым летом в прекрасной стране Болгарии. Мы — Анатолий за рулем, а я рядом как штурман с картой — мчались на юркой арендованной машинке из древнего Несебра через Сливен и Казанлык на Пловдив, где уже ждал старый друг Емил и его прекрасная жена по имени Весна, и стол, накрытый от сердца полноты всеми дарами этой дивной земли, и холодная домашняя ракийка, градусов так сорок. Почти одни на шоссе, которое казалось мокрым — такой оптический эффект от жары, гнали что есть духу. Торопились поспеть до темноты, и останавливались, лишь, чтобы взглянуть на радугу над водопадом или попить водички из горного источника — чешмы, да угоститься в попутной деревеньке огромными, как дыня-«колхозница», персиками.

Но вот сладкими от персиков руками Толя вытащил свой блокнотик и что-то долго записывал, а потом, уже в пути, признался: «Сегодня я — король! Додумал своего „Мармелажку“. Я такой ход нашел, такой сюжет придумал. Там у меня и Котошихин, и наш Дом писателей в Коктебеле. Там у меня...»

Первая мысль моя была — слава Богу, будет завершен роман, возникший как замысел более двадцати лет назад, роман, который был почти готов, но уничтожен в 91-ом году на Рождество в Риге, когда туда вошли советские танки. Толя пропадал на баррикадах у телецентра вместе с друзьями-латышами, обращался по радио к солдатам, чтобы не стреляли в безоружных людей. Наш номер в пригороде — в Юрмале, тогда взломали, пока мы с дочкой ходили в церковь, но ничего не тронули, только пропал жесткий диск из компьютера, да валялись растоптанные ногами дискеты. Так погибли роман, сказки и писательский дневник. Роман с огромным трудом по



А. Приставкин изучает рукопись Г. Котошихина. Упсала, 1991 г.

черновикам был восстановлен. Рига, Рига... Лебеди на пляже, зимой у кромки льда; православная церковь, где мы крестили нашу дочку Машу. Рига далеко, а впереди — болгарский Пловдив, и солнце уже низко-низко над горизонтом.

Потом напали на меня сомнения: а Григорий Карпович Котошихин-то тут при чем? Подьячий посольского приказа, бежавший вначале в Польшу, затем — в Швецию. Рукопись Котошихина, книгу о России, Анатолий разыскал еще в начале 90-х годов в библиотеке университетского городка Упсала в Швеции и, как выяснилось, держали ее в руках за последние полтысячи лет всего несколько человек, среди них единственный соотечественник — Приставкин. Побывал он и в анатомическом театре (сейчас музей), куда было доставлено тело Котошихина, и где чуть ли не до последнего времени хранился его скелет, «как монумент, нанизанный на медные и стальные проволоки».

«Сочинение Котошихина, — писали в первом русском издании прошлого века, — заключает в себе современное

описание России в государственном и гражданском отношениях». А Толя всегда говорил, что испытывал невероятное ощущение близости к этому удивительному человеку, историку и бунтарю, его образу мышления и его жизни. «В нем, — писал А. Приставкин, — частью я вижу свое время и самого себя». И все же... Где Котошихин и где — Коктебель, Дом творчества некогда могучего, а ныне, похоже, утонувшего в разборках и дележе остатков былого богатства Литфонда? Братцы-писатели, каждый из которых словно готовый литературный персонаж, наши посиделки на балконах 19-го корпуса под ледяной портвейн и черешню, улитки, сваренные в чайниках, ежики и светлячки в парке, добрая официантка Наташа, походы в Тихую бухту и Старый Крым, на могилу знаменитого Каплера...

Я аккуратно свернула дорожную карту Болгарии и, откусив от огромного персика, приготовилась слушать. Но рассказ Анатолия — а он занял почти всю дорогу до Пловдива, все повороты сюжета, такие же лихие, как наши повороты на горной дороге, история БОСа и его ассистента, судьба главного героя романа — писателя, трагическая и прекрасная история его жизни настолько захватили меня, что я только попросила: «Работай, пожалуйста. Пиши и ни на что не отвлекайся».

Хотя ясно было, что для «Мармелажки» остается лишь кусочек отпуска, да короткие выходные, да поздние вечера. В Москве ждали папки с уголовными делами, которые проходили через его руки, хлопотные командировки по России, посещение тюрем и колоний, в общем, служба государева.

Затормозив перед самым настоящим осликом, медленно двигавшимся с поклажей, как и мы, в сторону чудесного Пловдива с его старым городом и античным театром, Анатолий сказал: «Только никому не рассказывай, что я придумал — сразу сопрут!». И мы засмеялись: нет уж, не расскажу. Сколько таких тайн сохранила за четверть века, что мы вместе, не перечесть. Наброски, герои, черновики, замыслы, эпиграфы. Можно Штирлицем работать.

Теперь, когда Анатолий ушел от нас навсегда, часть этих тайн я приоткрою работникам РГАЛИ, с которыми он дружил и еще при жизни доверил некоторые уникальные документы, записные книжки и письма, открыл свой фонд в литархиве. А передо мной сейчас самая последняя записная книжка и последняя запись от 8-го июля: «Не пишите обо мне воспоминаний, все равно наврете!» Типичный приставкинский юмор.

Он собирался жить долго, планировал новое путешествие на машине — 700 километров из Греции в Болгарию, конечно же, с остановкой у Емила в Пловдиве и ночевкой в старинном домике Ламартина, у древних, как сам домик, смотрителей Сашо и Веры. Говорил, что дорогу мне будет тяжеловато выдержать, а ему-то хоть бы хны. Но вот — не случилось. Случилось иное, вечное. Успел поставить точку, отдать рукопись другу и первому читателю и — ушел. И тень огромной печали теперь всегда будет над нами, всеми, кто возьмет в руки этот роман.

Марина Приставкина

Зри более сего!
Григорий Котошихин

Вступление

Поезд плавно подкатил к перрону небольшого курортного городка, как всегда заполненному разноголосой публикой: успевшими подгореть на южном солнце отдыхающими, в меру хамоватыми, но вполне жизнерадостными таксистами, крикливыми тетками, предлагающими приезжим задешево свои халупы и, конечно, мельтешащей повсюду детворой. И в дверях вагона номер семь объявился он сам — седоватый, сильно похудевший и почему-то даже смуглый, хотя только что прибыл под южное, беспощадно жарящее уже с утра июньское солнце.

Небольшая группа стоящих в отдалении людей, при подходе поезда оживилась и быстрым шагом, потом рысцой, двинулась вслед за обозначенным вагоном, который так же медленно уползал вперед и все никак не хотел останавливаться. Тотчас к прибывшему гостю протянулись руки, но он, все так же сдержанно улыбающийся, уверенно, без посторонней помощи спустился по вертикальным ступеням на перрон, придерживая в левой руке потертый кожаный баул горчичного цвета, с которым, это все знали, никогда не расставался.

Вот тут и прозвучало негромко, но не без пафоса:

— Просим внимания! Внимания! Мы счастливы приветствовать короля Монпансье Мармелажку Первого, посетившего родные пенаты. Добро пожаловать, ваше величество. Королевство вас ждет!

Так, несколько велеречиво, но уж точно сердечно было произнесено в толпе встречающих в адрес гостя, и все при этом громко зааплодировали. Он чуть растерянно кивал, но не произносил ни слова, только пристально всматривался в лица.

Сразу отметим, что шумные приветствия, всякие там высокие словеса, а тем более аплодисменты не практи-

ковались в их кругу, а уж на глазах всякой сторонней публики тем более. Но сегодня все происходило необычно и лишь потому, что появление после нескольких лет отсутствия столь редкого гостя порядком возбудило, настроило на особый лад встречающих из пансионата, в который он направлялся. Многие из тех, кто знал его в прежние годы, вообще полагали, что из-за серьезных проблем со здоровьем, о чем доходили из Москвы противоречивые слухи, он уже не сможет посещать любимое Причерноморье. Более того, поговаривали, что он чуть ли не доживает последние свои денечки на белом свете и почти не вылезает из больничной койки. Но вдруг на днях, когда погода на юге устоялась, и заехавшие курортники успели чуть подгореть на сильном солнце, легким овевающим ветерком пронесся слушок, что прибудет к открытию нынешнего сезона в пансионат собственной персоной король Мармелажка Первый. Пансионат пришел в движение, загудел, забурлил. В столовой, на пляже, в парке, даже на местном базарчике только и было разговоров о его приезде. Те, кто его знал прежде, произносили его имя с неизменной и чуть загадочной улыбкой, остальные же, кто услышал о нем впервые, воспринимали новость хоть и с любопытством, но не без скрытой иронии: что это, мол, за король такой и какие еще могут быть тут короли, а если это просто шутка, то почему, собственно, из-за него столько шума.

А между тем, срочно была созвана палата лордов, чтобы решить ряд организационных вопросов: в первую очередь встреча его королевского величества на вокзале, транспорт, приветствия и все остальное, сопутствующее высокому приему, вплоть до приведения в надлежащий вид выделенного ему номера, где следовало накрыть стол, украсить его цветами, фруктами и традиционной бутылкой хорошего марочного вина, а в холодильник заложить любимую гостем минеральную воду под названием «Черноморская».

И все это надлежащим образом со всей тщательностью было исполнено.

Еще на перроне были произнесены подобающие моменту слова о том, что знаменитый Рабис — Дом Работников Искусств — знает о его приезде и с нетерпением ждет почетного гостя. Так ждет, что даже открытие сезона задержали на несколько дней. Да и сам директор Николай Васильевич, носящий здесь негласное прозвище «Негоголь», выделил микроавтобус для встречи и просил передать, что несказанно рад его приезду и приглашает Мармелажку на званый ужин в честь открытия сезона в пансионате.

И правда, что же это за Рабис, если в нем который год не присутствует лицо, которое его когда-то сотворило и даже по-своему прославило. О Рабисе тех давних времен, мы еще успеем рассказать, он того стоит, а сейчас завершим сцену встречи крепкими рукопожатиями, улыбками, возгласами приветствия. Даже проводница, дошлая баба, повидавшая в поездках всякое, вывернула голову в их сторону. Но долгожданного гостя уже подхватили под руки, забрав у него старомодный баул, и под взглядами случайных зевак и прилипчивых таксистов быстренько препроводили по путям мимо когда-то белых, а теперь обшарпанных, в подтеках и пролысинах станционных строений, на привокзальную площадь, где их поджидал новенький пансионатский рафик ярко-рыжего цвета. Машина тут же рванулась с места и, миновав несколько поселковых улочек, пропеченных солнцем до белизны и совершенно безлюдных в этот ранний час, резво вылетела на автостраду, стальной лентой рассекающую ярко-зеленую долину, открывшуюся взору, с разлинованными на взгорье садами и виноградниками, направляясь к дальним, плавающим в голубой дымке горам и невидимому отсюда, но угадываемому уже на расстоянии по особому свечению небес такому желанному морю.

Глава первая

Палата лордов

Времени было достаточно, чтобы он смог углядеть своих из тамбура еще на подъезде, стоя за спиной толстой и ленивой проводницы вагона. За время долгой дороги она и чаю не предложила, и мусора не вымела, зато сейчас, в предвестии станционного начальства, старательно шлифовала тряпочкой железные перильца на выходе, и никак из-за ее мельтешащей перед глазами спины невозможно было рассмотреть лиц встречающих, облаченных в цивильное и неяркое и выглядевших совсем не по курортному на фоне остальной публики: ни шорт, ни расхристанных маек с золотыми цепями наружу. Вот уж истинно интеллигентские штучки. Приятно, конечно, но можно было обойтись и без нарядов. Все-таки курорт!

Да вот еще, ни с того ни с сего накатили неожиданно для него самого слезы. Он почувствовал, что сильно волнуется, как не волновался ни в один из своих приездов из-за суеверного страха, что кого-то может не досчитаться из тех однокашников, кто должен, обязательно должен, как в былые добрые годы, стоять сейчас на платформе. Но тут же сам себя одернул, успокаивая, что, право, не все они, как и он сам, смогли по разным причинам вырваться на курорт. Ведь еще вчера и сам не мог предположить, что все это так достижимо: юг, пансионат, желанное море, друзья... И эта, такая сердечная встреча!

Его врачи, про которых он в шутку говорил так: «Врач мой — враг мой!», ни о каких дальних поездках, тем более на юг (на юг особенно!) и слышать не хотели, угрожая самыми тяжкими для жизни последствиями. Но какие уж там последствия после всего, что он у них претерпел. «Чтобы у вас лечиться, нужно иметь крепкое здоровье», — вот что он на прощание мог бы сказать. Но, конечно, не сказал. А про то, что, не медля, уедет именно на юг — тем

более. «Что вы, что вы...». Только Подмосковье, только санаторий в сосновом лесу, только легкие недальние прогулки и, опять же, врачебный режим. А он жаждал лишь свободы. Свободы от лекарств, медсестер, того самого железного режима, уколов, таблеток, капельниц и так далее. А приобретя билет на поезд, тут же отбил в пансионат телеграмму, что едет и просит высокопоставленных лордов приготовить для него теплое море, свежие анекдоты и холодную водку.

Ответ состоял из одного слова: «Ждем».

Случись эта встреча несколькими годами раньше, уже в автобусе по дороге в пансионат, возникла бы атмосфера добродушного трепа о погоде, о знакомых, о столичных сплетнях и так далее. Но сейчас в автобусе было до неприличия тихо. Штиль после пережитого волнения. Все выжидали, когда гость подаст голос. Он сообразил, но не сразу, не оборачиваясь, буркнул:

— Ну, а все-таки... Как у нас тут? Какие новостишки-то?

Так обычно спрашивают, когда не видятся неделю-другую. Но это и означало, что он не хочет знать ни о каком времени и, наоборот, накоротко соединяет воедино прошлое и настоящее.

И заданный тон был сразу же подхвачен:

— Новостишек, ваше величество, любых! На выбор!

Голос подал, конечно, Зяма, его полное имя Зиновий Львович Апресян. Он сидел рядом с шофером, но было очевидно, что рулит в компании, как всегда, именно он. Смуглое, чуть приплюснутое азиатское лицо, вовсе не типичное для еврея, как, впрочем, и фамилия, ярко голубые глаза. Некогда Зяма писал недурную прозу, печатался, но потом переметнулся на телевидение, удачно при этом поправив свои материальные дела. «Вы кто? — Прозаик. — Про каких это заек?» — любил повторять он. В парламенте занимает высшую должность лорд-канцлера и от кого же еще, как не от него, можно услышать в первую очередь о делах пансионата.

— Так вам, ваше величество, каких поднести новостишек? — поинтересовался он, оборачиваясь и скашивая

насмешливо глаз. — Хороших? Или, которые не очень? Но ведь за плохие, насколько мы помним, гонцу сразу отрубали голову!

— А которые не очень... Они о-че-нь нехорошие? — скаламбурил гость, давая понять, что с ним все в порядке и в таком же, предложенном им тоне, можно вести разговор и далее.

— Ну, прямо как в анекдоте, — тут же подхватил Зяма, привычно оседлав своего конька. — «Доктор приходит к больному и объявляет, что есть плохая новость, но есть и хорошая. С какой начинать? — Да начинайте с плохой, — говорит больной. — Ну что сказать, дорогуша, во время операции вышла ошибочка, вам отрезали не ту ногу. — Господи! Какая же тогда хо-ро-ша-я? — возопил больной. — А хорошая новость, дорогуша, такая, что ваши анализы показали, что вам вообще не надо было ничего отрезать!»

Никто не засмеялся. Во время, кажется, вспомнили, что прибывший только из лечебницы, а в доме повешенного, как известно, о веревке не говорят.

— Ну, что ж, валяйте с чего получше, — попросил гость как бы не заметив промашки. — Дурного, уж предчувствую, еще нахлебаюсь!

— Успеете! Успеете! — заверил Зяма, обернувшись. И все закивали. — Так вот. Королевство Монпасье на месте. Море, согласно вашему королевскому пожеланию, прогрето достаточно. Как утверждают, до двадцати двух градусов! А водка местного разлива, но уж точно не палёнка, охлаждена до легкого запотевания сосуда, который извлекается из холодильника. Пьется легко. Проверено на себе.

— Все эти дни проверяли! — дружно подтвердил автобус.

— Да, и еще на сегодня на вечер, — продолжал Зяма, — после ужина, назначено торжественное заседание палаты лордов.

— Палаты мордов? — решил пошутить кто-то.

Но Зяма шутку не принял.

— Я говорю о нашей с вами палате лордов, — подчеркнул он. — А от вас, дорогой монарх, люди ждут осново-

полагающего короткого, но исполненного чувств и разума, истинно королевского слова. — И уже к остальным. — Господа, все слышали? Собираемся в королевской резиденции ровно в семь. Прошу не опаздывать!

После того, как в лондонском соборе Святого Павла закончилась торжественная служба, король в золоченой карете, запряженной восьмеркой лошадей, через специальные «врата монарха» направился к Вестминстерскому дворцу на берегу Темзы, туда, где должен заседать парламент. Неподалеку от дворца на Парламентской площади он преклонил голову у бронзового памятника знаменитому Ричарду Львиное Сердце из династии Плантагенетов, при котором, как известно, в стране было введено общее право. Именно оно сделало английское королевство таким, каким мы его знаем сегодня, то есть мировым оплотом истинного правосудия и правопорядка. Ну а к заседанию в парламенте, понятно, это имело прямое отношение.

Знаменитый «Бен» на часовой башне пробил 16 часов. В зале, украшенном по стенам и потолку золотым орнаментом для короля был приготовлен красный трон. Лорды в красных мантиях с широкими белыми воротниками расселись двумя рядами лицом друг к другу. Они имели право на аудиенцию у монарха и могли давать ему советы. По этой причине их еще называли «совет старейшин». На красном тюфяке, набитом овечьей шерстью, именуемом вулсаком — символе богатства страны — отдельно от других восседал лорд-канцлер, он же спикер парламента. Лорд-канцлер, прислушиваясь к бою часов, медленно поднялся, обвел стерегущим взглядом присутствующих, как бы удостоверяясь, что во всем порядок и нет опоздавших, торжественно объявил об открытии заседания.

С тронной речью, очень краткой, но достаточно проникновенной, выступил король. Он напомнил собравшимся, что слово «лорд» в своей первооснове обозначает хозяина, главу дома, семьи. Иногда, это слово трактуют от англосаксонского слова HLAFORD, как «хранителя, защитника хлеба». Но и то, и другое, и третье: как-то «хо-

зяин», «защитник» и, особенно, «хранитель хлеба» не могут не напоминать о главном, ради чего носят этот титул и для чего мы здесь все собрались. «...Посвященные за высшие культурные и научные достижения в этот титул (о родовых носителях из высшего дворянства я уж не говорю), должны никогда не забывать об этом главном, особенно, когда дело касается защиты чести и достоинства наших граждан. Вы и ваш суд — последняя инстанция, куда люди могут обратиться, а ваше решение никто не вправе оспорить. Примером в борьбе за справедливость служит для нас король Ричард Львиное Сердце, надежно стерегущий у стен здания наше собрание. Желаю успеха».

— ...Ну что ж, господа, желаю успеха, — сказал в заключение своей тронной речи король Монпасье Мармелажка Первый. — Сейчас уважаемый лорд-канцлер огласит список неотложных вопросов, которые нам необходимо решить. Может, что-то успеем сделать уже сегодня. Потом мы приступим к главному делу, не требующему отлагательств, то есть к застольной трапезе и употреблению напитков.

Упомянутое заседание происходило в небольшом, но вполне обустроенном номере, который прибывшему гостю выделили в столичном фонде Рабиса, расположенном на улице Усиевича номер восемь. Его удивило, что ни с путевками, ни со сроками отдыха не оказалось проблем: выдали почти сразу и номер, несмотря на разгар сезона, нашли, да еще в лучшем коттедже на берегу моря, который у них обычно бронировался для больших чинов, руководителей творческих союзов, но чаще для их любовниц, секретарш и домочадцев. Ему такой удачи за многие годы не выпадало ни разу. К тому же и цена оказалась на удивление невысокой: то ли пенсионные льготы, о которых он не догадывался, то ли сердобольность клерков, прослышавших о его болячках. Но кто поверит, что кого-то из холопствующей братии могут тронуть, да еще тут, в Москве, где, как известно, дома каменные, а люди железные, чьи-то личные проблемы. Даже слезы. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Это известно из классики.

Вертелось на языке обиняком что-то выспросить, но побоялся сглазить. Фортуна — девица пугливая. Ах, скажут, всплеснув руками, а ведь и правда, промашечка вышла. Тут на путевках новый человек сидит, у нас работает недавно, видимо, не разобрался. Вы уж извините, этот номер вовсе не для вас, он предназначен другому Соколову, вашему однофамильцу, а вам, уважаемый Александр Семеныч, мы можем предложить комнатку в щитовом домике, так называемом бунгало. Это тоже недалеко от моря, но, к сожалению, без удобств. Удобства, как говорят, во дворе.

Не случайно тот же Зяма, еще в давние времена сформулировал и озвучил главный принцип нашей распределительной системы: «все не для всех».

Сдержанно он поблагодарил смазливую девочку, которая вряд ли до конца понимала, что, выдавая ему на руки розовенькую, под цвет карамели путевочку, вручала не что иное, как сертификат в другой мир, в другую жизнь.

Положив ей на столик традиционную шоколадку, он молча удалился, со стороны могло показаться, что для него вполне привычно — въезжать каждый раз в такие, истинно королевские номера.

Чуть смутила реплика, сказанная девочкой вскользь на прощанье, что она желает хорошего отдыха, а вообще-то, пансионат Рабис на издыхании и, возможно, доживает последние сроки. А может, она сказала «срок», он точно не расслышал. Но не расстроился. Нечто подобное он слышал и пять, и десять лет назад, когда эта милая девочка еще ходила на горшок. Но все, в конце концов, налаживалось. Проходил год, и снова начиналась драка за путевки, а пансионат продолжал худо-бедно влачить свое существование. Питание было так себе, как и обслуживание, особенно плохо дело с подачей горячей воды, но присутствие моря, обилие фруктов и хорошая компания отдыхающих покрывали все недостатки.

Из номера он не выползал до самого вечера, пока не схлынула жара — сильного солнца ему теперь не полагалось. Полюбовавшись из окна на розовые кусты, на строй-

ный кипарис перед балконом, в густой хвое которого бурлила своя, шумная птичья жизнь, на громкоголосых и уже загорелых отдыхающих, проходящих по аллеям парка с моря, он занялся разборкой вещей, которых было не так уж много. Одеколон, мыло, зубную щетку и пасту оставил, как полагается, в больнице. Дурная примета что-то из больницы забирать с собой. А вот купить заново не догадался. Но все равно никуда не пошел, даже обедать, чтобы избежать лишних вопросов о своем здоровье, а довольствовался тем, что нашел в холодильнике. А ровно в семь, как было назначено, в его высокопоставленном номере состоялось первое в этом сезоне заседание палаты лордов.

Вопреки ожиданию съехалась почти вся их старая гвардия. Ни в Москве, ни в Питере собраться вместе последние годы не удавалось ни разу. Телефонные же звонки годились, понятно, лишь для короткой информации о делах и о погоде, но более о здоровье и чьих-то похоронах. Еще одна необычность, удивившая его: никто не опоздал на заседание, хотя общеизвестно, что нет никого более неорганизованного, чем творческая братия, которая к тому же на отдыхе.

Зато всякий входящий не преминул отметить все замечательные качества королевского номера и похвалить вид из окна. Первым это сделал тот же Зяма. Осмотревшись, демонстративно ощупав шелковые на окнах занавески и даже заглянув в ванную комнату, не без ухмылки поинтересовался, сколько было дано блатным девкам на лапу из наших королевских закромов.

— Нисколько, — отвечал хозяин спокойно.— Ни из ваших, ни из наших.

— Так не бывает.

— Оказывается бывает.

— Наш общий друг Шера, он скоро явится, утверждает, что у земли сдвинулась ось. Я не верил, но теперь могу и поверить.

— Я сам не поверил, — признался хозяин. — Но вот, располагайтесь.

Потом явился Клющенко, автор духовных песен, в Москве он выступает на радио в еженедельной передаче для православных под названием «Возрождение». Поджарый, воло-

сы ежиком, черные глаза на выкате, но по натуре живчик и остер на язык.

— Коллега, а вы растете над собой... — бросил на ходу, оглядывая номер, и с удовольствием плюхнулся в мягкое кресло.

— Это кто тут еще вам коллега? — поинтересовался угрожающе Зяма.

— Ваше величество... Прошу пардону. Отвык. Не осознал. Оттого что малоимущий, прозябающий в бунгало и не привыкший к такой роскоши.

— Вот-вот,— подхватил Зяма. — Косят под пролетариев. Совсем от рук отбились. Не парламент, а какой-то балаган. Вы с ними покруче, ваше величество. Если надо кого-то колесовать, отсечь голову, выжечь на лбу знак... Еще что-то.....

— Язычок кому-то, предположим, — вставил быстрый Клющенко.

Но простодушный Зяма как бы не заметил выпада. — «Вот недавно в Белый Дом»,— сказал он,— «раздался звонок,— это, спрашивают,— кто? Это Форд? — Нет,— отвечают, — Рокфеллер.— Тьфу, не узнал, быть тебе богатым!»

Из-за громкого смеха не заметили появления сразу двух дружков-поэтов: Сени и Сани. Сеня голубоглазый тихий лирик, любитель природы и животных. Все собаки и кошки в пансионате под его опекой. Саня — полная противоположность. Массивен и смугл, играет в теннис и стихи, которые он громогласно вещает, называются почему-то стихариками. Они у него и вправду скрепят на зубах. Когда дружки вдвоем прогуливаются на взморье, а они всегда неразлучны, издалека могут сойти за толстого папу, который прогуливает сына-подростка.

Оба уважительно оглядели помещение, многозначительно хмыкнули, но вслух ничего не произнесли, а сосредоточив внимание на бутылках посреди стола, дружно подсели к ним поближе.

— Мы с Тамарой ходим парой, — пробурчал Зяма, проводив их отеческим взглядом.

Тут уже, словно сговорившись, потянулись один за другим остальные. Длинный, сутуловатый, с маленькой кур-

чавой головкой на неожиданно крупном торсе упомянутый Шера, так его все звали. В какие-то времена, будучи еще модным поэтом, отбыл срок в сталинских лагерях, но теперь писал только сказки. Бородатенький и щуплый эссеист Бронштейн; статный и немного велеречивый красавец — телеведущий Половец; известный в советские времена драматург Михаил Круглов, автор знаменитой ленинианы, шедшей во всех театрах страны; юморист Яков Светлый, всегда флегматичный; и профессор МГУ автор остросоциальных очерков Валентин Песковский...

Пришли другие, кого хозяин раньше здесь не видел. Их потом достаточно полно представит Зяма.

Среди последних он обратил внимание на молодого блондинчика в очках, который скромно прижался у подоконника. Сергей Пшеничный, — видимо, псевдоним, ныне весьма популярный автор, как тут же шепнули хозяину, широко идущих по каналам детективных сериалов. Что-то про ментов, братков, бригадиров и паханов с проспекта выбитых окон. Но все эти названия нашему герою, нужно отметить, ничего не говорили. Сериалов он не смотрел, даже не из принципа, а из-за недостатка времени. Но, заслышав первый слог «сер», бежал от телевизора и не включал несколько суток. А тихого очкарика Сергея он заметил еще потому, что на бледной незагорелой шее у того на серебряной цепочке болтался крест и одновременно флешка: безусловный символ новой веры. Как говорится, все свое ношу с собой. Сериалы, наверное, тоже.

— А он-то чего здесь? — поинтересовался хозяин, наклоняясь к уху Зямы.

— Моя кандидатура, — отвечал тот шепотом. — У нас в парламенте ни одного лорда-юриста, а Сергей как раз закончил академию у Кутафина. Я думаю, он нам еще пригодится. Тем более, знаменит!

— А он что, правда, мастерит эти... как их... Ну, серильники?

— Сериалы? — поправил Зяма, усмехаясь.— Именно что мастерит. Лепит. А что? Людям же нравится!

— А ты, Брут?

— А что я... По обязанности...

— И не отравился?

— Жив-здоров, — отвечал Зяма немного наигранно. — Вот они нашли даже такую формулу: сериальный реализм. Звучит?

— Ох, эти «серы»... Не от слова ли «сера» или «серость»? Но и «засери» тоже ведь не дурно звучит!

— Только без мата! — остерег, хмыкнув, Зяма. — В устах монарха...

— Так я говорю, что засерили эфир-то!

— В смысле засорили? Ну, если так... Слово «сор», кажется, к мату не относится. Но ваше величество, наш великий бывший советский народ пребывает в поисках национальной идеи и до того духовно изголодался, что жаждет хлеба и зрелищ... И вы бы проявили к нему монаршую милость и были чуть снисходительней, что ли...

— Но не к его хозяевам, — отрезал Соколов.

Чернь, добравшаяся до культуры, нисколько не лучше черни дорвавшейся до власти и денег — вот что не стал говорить вслух он. Они правят и книгоизданием, и телевидением, и кино в меру своего убогого понимания, а оно на пещерном уровне. Практически, они опускают народ до своего первобытного уровня и самое удручающее, что это им удается. Они живут так, будто до них не было огромной культуры, которая нас питает! Дебилы с экранов, кривляясь на все лады, призывают нас стать такими же.

Лорд-канцлер, он же Зяма, посмотрел на часы, поднялся и оглядел присутствующих, которые едва уместились в номере. Стульев оказалось всего четыре, но кто-то приспособился на спинках двух кресел, а поэты разместились прямо на полу.

После нескольких королевских слов, напоминающих о высокой миссии палаты лордов, Зяма огласил список неотложных вопросов, которые необходимо решить. Первым пунктом был вопрос, поставленный лордом Савицким, он же Сеня, о судьбе собак, которые ютились на территории пансионата. Отдыхающие их подкармливали, знали по кличкам, с ними обожали играть дети. Но с недавнего времени кто-то начал животных травить. Неожиданно сдох

черненький коротконогий кобелек по кличке Султан, а вчера, опять же неожиданно, отдал концы любимец отдыхающих рыжий Пушок, которого все знали еще щенком. Остались двое: крохотуля Зойка — болонка, с тоненьким голоском, брехливая, но безобидная, и огромный, с палевой, но уже поседевшей шкурой, густошерстный одноглазый Мишка — старый пес-ветеран, помнивший отдыхающих еще пятнадцатилетней давности. Глаз ему в драке вроде бы выцарапали более молодые соперники в боях за дам, но сучки из прилегающих окрестных дворов до недавнего времени по-прежнему приносили щенков мастью, да и внешностью, напоминающих Мишку.

Сеня призвал парламент не чикаться с неведомым убийцей, а, разоблачив, изгнать из пансионата, а, при возможности, из членов Рабиса.

— Сегодня поднял руку на беззащитное животное,— добавил в завершение Сеня, — а завтра, кто может гарантировать, что он не обидит ребенка или кого-то из отдыхающих.

— Ну, не будем преувеличивать,— сказал Зяма. — И потом членство в Рабисе — это уже за пределами наших полномочий. Мы решаем проблемы только в нашей монополии, то бишь королевстве Монпасье.

— Вот и давайте решать, — поддержал дружка громкий Саня.

— А что можно сделать? — подал кто-то голос — Вызвать милицию? Следователя? Прокурора?

— Зачем же, у нас свой королевский суд. Хотя, признаться, иногда ночью собаки и меня будят своим лаем, — заметил, чуть поморщившись, драматург Круглов. Он всегда жаловался на свои нервы, на бессонницу.

— Но потому и лают, что они нас сторожат!— возразил горячо Сеня.

— А меня, например, будит храп одного нашего отдыхающего. Не попросить ли в аптеке для него немного мышьячка? — поинтересовался юморист Яков Светлый. — Кстати! Уже серьезно: прошу вынести вопрос о храпунах на заседание парламента!

— Храп — это болезнь, ее не исправишь, — сказал Клюшенко. — С беллетристом Мальцевым, это все знают,

селиться можно вообще через три номера. Недавно, говорят, он в загранпоездке в «Хилтоне» не дал спать иностранцам-соседям по этажу. С утречка, говорят, даже толпились у его дверей, чтобы воочию лицезреть русского богатыря. И были о-ч-чень разочарованы...

— Но давайте же о собаках, — призвал Сеня.

— Давайте. Я вот слышал, что собаки пьяных недолюбливают, — вставил слово бородатенький эссеист Бронштейн. Все знали, что пишет он заумно и пространно, но говорит обычно коротко и по делу. — Тут недавно один работяга из котельной к нам завернул, но был, как говорят, под мухой, так они его до ворот лаем сопроводили.

— А кто здесь не под мухой? — спросили эссеиста.

— И не он ли подбросил отраву?

— Нет. Здешние собак не травят, — возразил Сеня. — А если бы захотели убрать, не стали бы ждать нашего приезда.

— Кстати, пьянство на работе — это в нашей компетенции? — строго спросил профессор Песковский. Многие годы он выступал в печати с остро разоблачительными статьями, доказывая, что население России спивается и деградирует. Понятно, не мог сейчас пропустить свою тему.

— В нашей, в нашей, — подтвердил со своего места Зяма. — Только не сегодня. Уже поздно. А у нас вторым пунктом, уважаемый профессор, как раз потребление спиртного. Лорды, они ведь тоже потребляют. Но, подчеркиваю, не в рабочее время.

— Но, господа, господа! Вернемся к нашим баранам!

— Почему баранам?

— Я хотел сказать к собакам, — поправился Сеня.

— Решение будет такое, глубокоуважаемый лорд,— подытожил Зяма, — Корона защитит собачек, проживающих в королевстве Монпасье, ибо нарушаются их права на существование. Так, ведь, господа?

— Так, — согласились лорды и дружно подвинулись к столу.

— А вот детали проработаем на совете старейшин в ближайшие дни, — заключил Зяма. — Завершая собачью тему, приведу изречение кого-то из древних: у собаки всего один недостаток — она слишком верит человеку.

В застолье, довольно долгом, присутствующие снова вернулись к собачей теме, которая оказалась неисчерпаемой. Шера отчего-то заговорил о собачьей привязанности, которая превыше, чем желание получить со стола сладкую косточку.

— Вы заметьте, когда на пляже к вам ластится бездомный пес, он втайне мечтает, что это будет его новый хозяин, который обласкает и возьмет его к себе домой.

— Но ведь это человеческое качество, не так ли? — заметил проницательный Сеня.

— Да. Я думаю, скорее мужское, — вздохнув, добавил Шера.

Находчивый юморист Яков Светлый сменил тему, пересказав один свой скетч о том, как некий композитор научил собаку сочинять за него музыку. Сперва переводил на ноты ее подвывания, а потом, став благодаря музыкальному таланту пса знаменитостью, запьянствовал и переложил на пса полностью заботу о сочинении шлягеров. Нечаянно, по пьянке, загнал собаку дружку, бездарному поэту, после чего у того обнаружились гениальные стихи.

Поэт Саня прочел стихи одной знаменитой поэтессы, посвященные собачке, а телеведущий Половец поведал грустную историю любимого дога, которого пришлось отдать в чужие руки из-за неожиданно возникшей аллергии. Новый хозяин посадил кобеля на цепь во дворе и тот вскоре от холода, а может от тоски по бывшему хозяину, издох.

— А я в юности собачку съел, — сказал вдруг жалобно Бронштейн.

Присутствующие молча уставились на него.

— Это что, шутка? — спросил кто-то.

— Честное слово. Хотите, расскажу?

— Не надо! Еще не хватало! — отреагировал, морщась, Саня.

Чуткий Зяма, чтобы прервать неприятный спор, попытался отвлечь хозяина разговором о ближайших мероприятиях:

— На очередных заседаниях стоят вопросы взаимоотношений между отдыхающими, ибо поступило несколько доносов, но это потом, потом. Одна поэтесса жалуется,

что музыка из ближайшего кабака не дает ей спать. Есть, и правда, сетования на храпунов. А у кого-то кроссовки с террасы стащили. Он тоже записался к вам, ваше величество, на прием. Требует материальной компенсации. А вообще, — заключил Зяма, — жалобщиков целый полк. Когда велите принять?

— А еще о чем они просят?

— О разном. У кого-то развод, а у кого-то жилищные проблемы. Раньше написали бы в партком, в стенгазету, в ЦК, а теперь вам. Больше, говорят, некому.

— Ну а мне тогда кому писать?

— Всевышнему, — вполне серьезно посоветовал Зяма. — Можно мне, я сам передам наверх. А этим... Ну хотя бы дайте совет. Ваше королевское слово ценится высоко. Вот, кстати, еще просят спонсировать здешнюю лечебницу для больных детей. Запрос направлен королю Непала и лично вам...

Зяма оборвал фразу, заметив, что при упоминании о больных детях хозяин вздрогнул и побледнел.

— А что, король Непала так же богат, как я? — Он попытался пошутить, но вышло как-то фальшиво.

— Конечно. До вас ему далеко, но все-таки...— отвечал Зяма без улыбки. — Простите, ваше величество, но я как, наверное, и вы, полагаю, вечер подошел к концу. — И тут же, покрывая басом общий хор застолья, сообщил об окончании приема.

— Кофе, уважаемые сэры, переносим на завтра. Кстати, по поводу собак. Недавно встретился с приятелем, спрашиваю, отчего он ругает своего пса, он же такая умница. — Какая же он умница, возмутился приятель. — Сегодня утром говорю ему: «Поди, принеси, тапки». А он, недотепа, сварил кофе!

Понемногу стали расходиться. Зяма предложил прогуляться к морю, развеяться, послушать как оно во мгле шумит. Раньше так и делали. Но сейчас хозяин отказался, хотя про себя подумал, что моря-то он, и правда, еще не почувствовал. И не услышал. В прежние-то времена и вещей не успевал распаковать, все бросал и бежал на берег, как не бегал бы на свидания!

— Завтра, — решил он. — И послушаю. И полюбуюсь.

— Да, вот еще что завтра, — вспомнил Зяма. — Директор Николай Васильич, он же Негоголь, просил вас завтра, часа так в два, пожаловать к нему на рюмку чая.

— Визит вежливости?

— Он сказал, что у него чрезвычайно важный к вам разговор.

— О чем, если не секрет?

— Не знаю. Ходят разговоры, что землю под пансионат хотят перекупить. Да и местечко, — протянул со вздохом Зяма, — местечко-то, и вправду, злачное. Даже странно, что это не сделали до сих пор.

— Но разве пансионат не собственность Рабиса?

— А что такое Рабис! — воскликнул Зяма. — Кто им рулит? Вы их хоть в лицо знаете?

— Нет. Жулики? Да?

— Сейчас это называется бизнесом.

— В таком бизнесе я ни черта не понимаю.

— Я тоже в чужие карманы не заглядываю, — произнес ухмыльнувшись Зяма. — Но это одна из новостей, которая взбудоражила здешнее население. В первый день не хотели вас огорчать. Но, как видите, пришлось!

Зяма взял со стола первый попавшийся под руку стакан, плеснул вина и тут же опрокинул в себя.

— Все. Спокойной ночи, ваше величество!

— Да уж какой теперь сон, — отмахнулся хозяин, вспомнив странную фразу девочки из Рабиса о том, что пансионат доживает последний срок. Или сроки. А им-то уж там куда видней. — Давайте-ка, — предложил, — уважаемый лорд-канцлер, еще посидим. Налейте чего-нибудь. Нет, нет, не вина... Вот! Налейте лучше водки!

— Но вам... Простите...

— Да, да, нельзя. Я это уже слышал, — отмахнулся он, залезая рукой в блюдо с соленьями. — Мне даже один врач-пенсионер сказал так: вы слишком рьяно относитесь к лечению, это к добру не приведет. Встреча с медициной гибельна. Примете вы таблетки или нет, а все в руках Божьих! А уж он-то знал, что говорит!

Глава вторая

Монпасье

Александру Семеновичу Соколову всегда было по сердцу приезжать в те места, где уже побывал, где все привычно, все сложилось и с годами не меняется. В своих вкусах, как и во всем остальном, он был консервативен. Вот и сегодня, благо подул остужающий с моря ветерок, с утречка пораньше, пока солнце еще не разъярилось, не накалило асфальт и камни, он прогулялся по парку, чуть запущенному, но еще густозеленому, живому, заполненному птичьим хором; заглянул в чайный домик, в биллиардную, в столовую на первом этаже главного корпуса. На втором располагались медкабинет, читальный зал и библиотека, но туда, как и в столовую, до поры решил не заходить, чтобы не растерять крупиц того счастливого ощущения, которое возможно в такие благостные утра.

На каменном, с утра прогретом крыльце, на своем обычном месте, распластавшись, дремал одноглазый кобель Мишка, положив морду на лапы. Не соизволив подняться, он вяло пошевелил хвостом в знак приветствия, но было видно, что пришельца узнал и даже разрешил потрепать себя за загривок. Шерсть его густая, жесткая, еще больше побурела. Звонкоголосой болонки Зойки видно не было.

— Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня... — промурлыкал Соколов из какой-то песенки и направился к воротам.

Миновав будочку охраны, оплетенную диким виноградом, — в ней давно уже никто не сидел, он шагнул на безлюдную в это время набережную, откуда за железной огораживающей сеткой открывался вид на сверкающее до горизонта море. Оно было спокойным. Воротца на пляж, в это время еще не охраняемые, были распахнуты и не-

сколько фигур маячило у берегового припая. В одной он угадал Клющенко — поджарый, успевший подзагореть, тот делал зарядку.

Но к морю Александр Семенович не пошел. Первый раз с ним надо встречаться без свидетелей. Один на один. Он решил прогуляться влево и вправо по асфальтированной набережной, уж очень его интересовало, из каких это злачных мест всю ночь гремело, гудело, громыхало нечто, никак не похожее на музыку. Но ровно через десять шагов попал в узкий коридор забегаловок: фанерные, саманные, кирпичные, пластиковые, брезентовые — они стояли сплошной стеной, заслонив и горы и море. Работали они, как выяснилось, от утра и до утра. Ни запахов моря, ни шума прибоя — здесь царствовала, точней, безумствовала какофония звуков, долбеж ударников по перепонкам, причем, и справа и слева одновременно, да сизые потоки дыма в лицо, с навязчивым духом подгоревшего мяса.

Как же может красота, подумалось ему, спасти мир, если нагрянули варвары и все подменили: море на забегаловки, природу, зелень, певчих птиц на горелые шашлыки?! И нужно ли было поспешно бежать из шумной столицы на заманчивый юг, чтобы поменять шило на мыло!

Он быстро, стараясь не глядеть по сторонам, вернулся к столовой. Столик свой для завтрака нашел сразу — в уголке застекленной веранды, где обедают избранные. Как бы для ВИП—ветеранов. Но место ему, как всегда, застолбил заботливый Зяма. Кроме него соседями по столу оказались новоявленный лорд, он же сериальщик Сергей и сказочник Шера.

Обычно Шеру на курорт сопровождала жена, прозванная здесь Вассой Железновой, или мадам Тэтчер за крутой нрав, к тому же она постоянно дымила самыми дешевыми папиросами. «И зачем бедному еврею такой дворец!» — произносил с грустной улыбкой Шера в те редкие минуты, когда она отдалялась. На этот раз Шера почему-то был один. Но приезда мадам, кажется, ждали, и ветераны поеживались при ее имени, потому что с первых

минут появления она начнет наводить свой порядок в пансионате, врываясь к директору, на кухню и куда угодно. Знали еще, что Шера смертельно боится своей всесильной жены, которая, в случае неумеренного потребления зелья, может запихнуть его даже в лечебницу, где, по его словам, самое ужасное — это когда двери запирают на замок. У Шеры вечная грусть в глазах и обостренное чувство вины перед остальным миром. Выпив рюмку, он на другой день будет виниться перед каждым встречным отдыхающим, спрашивая со вздохом, не помешал ли он кому-нибудь из них вчера отдыхать. Как раз сегодня у Шеры наступил такой «виноватый» день, и оттого он был особенно тих и молчалив.

Зяма встретил пришедшего с преувеличенным радушием, по одному его виду догадавшись о том, что же могло в королевстве его величество с утра расстроить. Налил кофе, попросил официантку сварганить яичницу, поинтересовался как прошла ночь и не слишком ли досаждала его королевскому величеству музыка с набережной.

— Слишком,— отвечал тот не очень любезно.

— Да, да. А мы как бы уже привыкли. А как вам, ваше величество, море? Сегодня оно особенно ласковое. Сизокрылая голубка!

— А разве тут еще есть море? — огрызнулся гость, утыкаясь в тарелку с закуской. — Спасибо, что сказали. А то за кабаками и харчевнями никак не смог его разглядеть!

— А на пляже... На пляже-то побывали?

— Нет. Но удивляюсь, почему его до сих пор не застроили? Лучше места для казино не придумаешь.

— Хотели, — подтвердил охотно Зяма, — но удалось отстоять. Пока. Да и Николай Васильич Негоголь нас поддержал. А он мужик мафиозный, тут его боятся.

— Неужто готов воевать с шашлычниками? Да они его на шампуры насадят!

— Ну, понимаете...— Зяма дождался пока отойдет официантка и с оглядкой произнес, понижая голос.— У него тоже ресторанчик. Кстати, недурно кормят. А нашим отдыхающим даже скидку делают.

— Вот, как! А «наши», простите, уважаемый лорд-канцлер... «Наши» пэры, сэры, и так далее... Тоже вкушают из директорских ручек? — Александр Сергеевич почувствовал, что начинает закипать. — А отчего бы нам в таком случае не устроить турнир. Ну, к примеру, фехтование на шампурах для развлечения жрущей публики! Весьма и весьма зрелищно! За скидку, конечно. Куда доходнее, скажем, чем писать романы!

Зяма опять оглянулся, пожал плечами.

— Вы слишком раздражены, ваше величество. Но что поделать, королевство Монпасье, как и все, стало другим. Что было, то сплыло.

— Да, это заметно. — Гость отодвинул и чуть не опрокинул стакан. — Может, в поселке уже и почты, и билетной кассы нет? А вместо них какая-нибудь чебуречная?

— Нет, нет, почта и касса на месте, — заверил кротко Зяма. — А вы, простите, не собрались ли обратно? — спохватился он и посмотрел на Сергея и Шеру как бы ища у них поддержки. Теперь все трое, оторвавшись от тарелок, смотрели на гостя.

— Мы, конечно, понимаем, первое впечатление после долгого отсутствия... Но ведь сохранился парк, коттеджи, обслуга... А купаться мы давно уже ходим в голубую бухту. Вы помните голубую бухту, где расположена лечебница для детей? Да та самая, где вас короновали!

Гость промолчал.

— А знаете, что сказал один мудрый человек, — вклинился вдруг Шера, не поднимая глаз от тарелки. — Он сказал, что если мы не в силах изменить этот мир, можем изменить свой взгляд на него. Может, он прав?

— Нет, — буркнул Соколов. Но объяснение счел излишним.

Он достиг того возраста, когда одежда, вещи, мебель, как если бы они были очеловечены, начинают раздражать. С ними он ссорился, злился на них, чуть ли не выяснял с ними отношения, но потом успокаивался, уговаривал сам себя, что это лишь бездушные предметы и ни в чем они не виноваты. Но наступал другой день и все

повторялось. И тогда он понял, что подступила старость. Да нет, наступила — точнее. И вот еще. С возрастом лучше не менять не только образа жизни, но и вещей, и мебели, и, конечно, друзей, которые тебя окружают. То есть, всего того, что проникло в тебя, стало твоей сущностью. Твоими клетками. Вспомнилось, как один из писателей, с которым приходилось общаться, не выдержал, когда на ремонт поставили его дачу, где он безвыездно прожил много лет, а умер как только его перевезли в московскую роскошную, но чуждую для него квартиру. А без ремонта, глядишь, и протянул бы годков пять, если не больше. Дом с его сложившимся годами бытом, мебель, вещи, даже вид из окна — именно они сохраняли ему жизнь.

— Я вообще-то здесь первый раз, — произнес негромко Сергей и посмотрел из-под очков на Зяму, — но мне тут нравится.

— И море, которого не видно? — спросил гость, рассердившись почему-то на голубоглазого очкарика. Этот-то чего лезет со своими впечатлениями. Не он все создавал и не ему переживать.

— Я на море не хожу,— отвечал тот негромко и опять посмотрел на Зяму.

— Да. Как ни странно, наш Сережа не купается, — подтвердил Зяма. — Стопроцентный урбанист. Да он и в парк почти не выходит. Все время строчит за письменным столом.

— Работается здесь, правда, хорошо, — подтвердил Сергей.

— И какие же вы шедевры тут сотворили? — съязвил гость. Спокойный тон очкарика, его мирный, почти благостный вид, вконец его разожгли.

Надо было бы спросить по-иному: «А какие вы тут серии накатали, сэр, от которых тошнит, как от этих торговых лавочек?» Но это было бы уж совсем не по-королевски. Тем более, они теперь соседи по столу.

— Но причем тут шедевры? Ваше величество! — упрекнул Зяма, бросившийся защищать молодого дружка. — Каждый пишет, как сказал поэт, что он слышит. Или как там...

Но Сергей, отставив стакан, решил защищаться сам.

— Ваше величество.— Так он начал, поправив очки. — Простите, если я не так выразился. Я очень вас уважаю. Даже не за то, что вы пишете — я вас никогда не читал. А просто по-человечески. Я даже напросился у Зямы сесть за ваш столик. — Он по-детски шмыгнул носом и добавил. — Но если мое присутствие так неприятно...

Гость посмотрел на Шеру, который неодобрительно качнул головой. Он не любил конфликтов. Стало досадно от своего дурацкого выпада. Любые чувства, но особенно дурные, надо уметь держать при себе.

Он отодвинул тарелку с неопробованной глазуньей и поднялся.

— Не сердитесь, пожалуйста. И простите. Я рад нашему знакомству. Надеюсь, у нас будет еще время потолковать о жизни. — Это как бы в ответ Зяме насчет «обратно». — А сейчас мне надо на почту. Приятного аппетита.

— Но вы будете сегодня у директора? — спросил вдогонку Зяма. — Он ведь вас ждет.

— В кабинете или в его... Как она там... забегаловке?

— В кабинете, конечно.

— Тогда приду.

На почте он дал телеграмму по адресу, который оставила знакомая медсестра Алена из больницы, где он лежал. Сообщил, что доехал, устроился и чувствует себя нормально. Вранье, но это для передачи врачам. Далее, уже в письме, которое тут же накарябал на обороте пустого голубенького бланка для телеграмм, кое-какие подробности о погоде и обратный адрес. Вдруг захочет ответить.

Работница почты, кажется, ее звали Нина, крашеная в яркую блондинку с густо намазанными губами, узнала его, поздравила с приездом и хорошей погодой.

— А вас давно тут не было. Теперь, небось, по заграницам больше?

— Почему по заграницам?

— Ну, сейчас в Турцию или в Черногорию все стали ездить. А к нам не хотят.

— Дел много, — сказал он — А наш Монпасье я обожаю.

— Так все говорят. А не едут.

— А я приехал.

— Я слышала, что вас тут ждали. Я и телеграмму вашу относила про холодную водку. Но вы стали еще... как бы вам сказать... Похудели, постройнели, — кокетливо добавила она. — Откройте секрет. А то я все дамские журналы перечитала и на диету садилась, а вес не убавляется!

— Боюсь, вам мой секрет не подойдет, — отшутился гость.

С почты он прошел на местный базарчик, чтобы убедиться, что ранние фрукты и овощи, какая-нибудь там черешня или редиска еще не сравнялись с ценами в Москве, как утверждали знакомые. Цены были так себе, сносные, зато прибавилось лавочек, где продавался ширпотреб, в основном, китайский и турецкий. Пока он закупал гигиенические принадлежности, один из торговцев, седоволосый пожилой кавказец, прокричал от овощного ряда чуть ли не на весь базар, указывая на корзиночку сочной отборной клубники:

— Ну зачем мимо ходишь, вот, бери! Для тебя созрел!

Александр Семенович приблизился, поблагодарил продавца, сказал, что ему столько не нужно. Ну, если грамм двести, триста. Для пробы.

— Бери килограмм! Бесплатно! Я тебя узнал: ты — король конфет!

При этих словах стали оборачиваться в его сторону другие продавцы и покупатели, хоть было их в этот полуденный час немного. Ему удалось почти насильно оплатить кулек с ягодами и побыстрей убраться прочь. Но на душе чуток полегчало. Помнят же поселковые, помнят, кто он таков, значит, не все стерлось из памяти, что-то еще осталось.

Сам-то поселочек, если заглянуть на окраины, изменился не сильно. Все те же пыльные улочки, пропеченные солнцем, выщербленный асфальт, да среди потока стареньких «москвичей» и «копеек» стали заметны еще не

частые иномарки, иной раз весьма дорогие. Но вдруг на исходе какой-то улочки, за высоким забором обнаружился замок, стилизованный на восточный манер: с цветными витражами, башенками и куполами, аляповато раскрашенными. Среди небогатых, скромно побеленных домиков и наскоро сколоченных хибар он гляделся несуразно, как рекламный ряженный посреди заштатного районного российского рынка. Но его появление было симптоматичным. Шашлычники тоже желают жить красиво. Вот только о красоте у них свои понятия. Если им удастся захватить, скажем, землю пансионата, такие прыщевидные дворцы и замки вырастут на месте парка во всю длину побережья. Так называемая «Золотая миля». Только уже не прозвучит с тревогой чеховское: рубят вишневый сад! Некому озвучить-то... А если и раздастся одинокий голос какого-нибудь чудака, то его не услышат! В космосе звук не распространяется!

Где-то под ложечкой снова, как сегодня утром, заныло, стало холодно, тоскливо, больно, как бывает в минуты крайней опасности. Все это он скоро узнает от директора пансионата в подробностях, но, Господи, как не хотелось разменивать этот пронзительно голубой и ослепительный солнечный день, да еще первый день, на всякие толки и перетолки о жуликах, желающих все кругом ограбить и осквернить.

Он посмотрел на часы и порадовался, что еще какой-то срок, оставшийся до назначенной встречи, сможет ни о чем таком не думать, не знать, а просто наслаждаться, беспечно и бездумно, как это, наверное, делают деревья в их пока что парке.

В конце XIX века, о котором мало кто сегодня помнит, фабрикант из Франции, русский по происхождению Антон Сигайло попал случайно в эти места на лечение, и так они пришлись ему по душе, что он решил построить собственную фабрику по изготовлению мелких цветных леденцов, называемых во Франции монпансье, по имени герцогини Монпансье, известной по романам Дюма как гранд-Мадемуазель. Впрочем, еще ранее, око-

ло тысячелетия назад, это имя встречается в истории создания замка Ла-Рош, который возвели по приказу Сира де Тьерри, лендлорда крепости, именуемой Монпансье, что была в пяти милях от замка. История замка и крепости Ла-Рош насчитывает десять веков и знаменательна многими военными сражениями. Так, в период столетней войны в 1359 году крепость захватили англичане и удерживали много лет, пока король Карл V не приказал герцогу Бурбонскому вернуть крепость Франции. Замок вернулся к своему хозяину сиру де Монпансье, герцогу Иоанну Барийскому, брату короля и любителю искусств. Герцог подарил замок своему камергеру рыцарю Луи де Боредону, оруженосцу и фавориту королевы Изабеллы. Этот фаворит, естественно, вызвал такой гнев ее мужа короля Карла VI, что тот приказал зашить его в мешок и бросить в Сену с пометой: «Да свершится правосудие короля». Впрочем, как сообщает история, и сам король вскоре сошел с ума. А сир де Боредон продал замок в конце XV века Шарлю Опиталю, сын которого был, опять же, советником графини Монпансье. Он затем служил и ее сыну, коннетаблю Франции Карлу Бурбонскому.

Историю знаменитых владетелей замка можно продолжить и далее, вплоть до наших дней, но никто из наследников графини Монпансье уже не носит эту фамилию, а значит, нас не интересует. Но и какую-то связь между именем знаменитого французского рода и простыми цветными леденцами уловить тоже не удается. А мы вернемся к тем годам нарождающегося капитализма в России, когда держава строилась и богатела, в отличие, скажем, от нашего, технически высокоразвитого времени, когда все происходит почему-то наоборот, то есть держава рушится и беднеет. В те далекие годы возникла даже не одна, а сразу три фабрики: в Москве, Перми и в Причерноморье, и все они выпускали дешевые и очень популярные цветные леденцы под названием «Монпасье». Леденцы продавались в красиво оформленной жестяной коробочке, на крышке которой изображались дети, играющие в спортивные игры. Если поспрашивать, то и сей-

час у многих жителей причерноморского поселка Монпасье, возникшего вместе с фабрикой, можно увидеть в домах трепетно сберегаемые фирменные коробочки, в которых люди хранят всякую мелочевку: булавки, иголки, наперстки, нитки и так далее. А некоторые даже бижутерию и ювелирные украшения.

Фабрика — несколько двухэтажных белоснежных зданий — хорошо вписывалась в изумруд зеленых холмов в прибрежной зоне, а ландриновый конфетный дух витал над долиной и поселком, перешибая по временам даже запах моря и цветущей по весне лаванды. Кроме фирменных леденцов, фабрика производила фигурный мармелад, желейные конфеты, цукаты, карамель и другую сладкую продукцию, которая была известна внутри страны и за рубежом. Процветанию сладкой промышленности благоприятствовало географическое расположение фабрики: кругом, на десятки километров простирались сады и виноградники, в изобилии поставлявшие дешевое сырье для переработки.

В Отечественную войну бо́льшая часть фабрики сгорела, и на ее месте вырос двухэтажный стандартный дом, где разместился профсоюзный туберкулезный санаторий для детей. С годами санаторий расширился и превратился в лечебницу, но профиль поменял — теперь здесь лечились дети со всего Союза с тяжелыми сердечными заболеваниями. Мягкий климат, чистый воздух, обилие, как и прежде, овощей и фруктов, вполне профессиональное обслуживание помогало ребятам подлечиться и укрепить здоровье. При санатории была и своя школа.

Что касается особняка, в котором до войны проживал медперсонал, то он чудом сохранился, несмотря на жаркие в этих местах бои, и в пятидесятые годы его передали в ведение работников искусств, а все потому, что секретарем здешнего райкома, по воле случая, оказался известный военный очеркист, из-за ранения легких поселившийся, по совету врачей, в этих местах. Комнаты в особняке были поделены на крошечные клетушки, разделенные фанерными перегородками, так что за один заезд здесь могли, по тем временам, весьма недурно раз-

меститься полтора десятка деятелей искусств. Среди них были художники, литераторы, артисты, музыканты по первым буквам названные шутниками ХЛАМ. Кухня была крохотной, в пристройке, столовая и вовсе под навесом, а все отдыхающие умещались за одним огромным обеденным столом, оставшимся еще от имения управляющего.

В альбоме, сбереженном с тех первых дней существования пансионата и бережно хранящимся в здешней библиотеке, можно увидеть на пожелтевших фотографиях многих, ныне знаменитых основоположников соцреализма, которых бойкие на язык молодые критики нынче именуют «совписы». Одетые в простенькие светлые костюмчики из чесучи, улыбчивые, жизнерадостные, они дружно восседают за тем самым обеденным столом, на котором нет бутылок с горячительными напитками, а только чай.

Уже в шестидесятые годы тут же были возведены два новых корпуса и белоснежное здание столовой. На прилегающей к пансионату огромной территории возник прекрасный парк с цветниками и фонтанами. Обустроили и пляж, оборудовав душевыми кабинками, раздевалками и деревянными решетчатыми лежаками, которые позже заменили на пластиковые.

Но это потом, потом. А в те далекие времена, когда наш герой Александр Семенович Соколов впервые попал в эти места, всей этой роскоши еще не было. Да и отдыхающие сюда особенно не рвались. В творческих домах, возникших после войны в Ялте, Гаграх, Одессе, сервис был несравнимо выше. Здесь же люди по-прежнему жили скученно, на голове друг у друга, любой звук, не только треск пишущей машинки, пронизывал номера как пулемет, а столовка ютилась в том же самом пристрое, где все собирались по звонку за упомянутый барский стол. И хоть были большинство, как и наш герой, в те времена по молодости к бытовым мелочам индифферентны, но чтобы предотвратить неизбежные склоки, именно Александра Семеновича, в молодости просто Саню, выбрали старостой, который мог бы сглаживать конфликты, налажи-

вать контакты с дирекцией, руководством поселка да и вообще помогать собратьям по перу спокойно отдыхать. Отдых, он лишь тогда и отдых, когда не напоминает оставленную коммуналку и дает возможность творцам нетленки отрешиться от заклятого московского быта. Это уж потом, через годы, возникнет палата лордов, а записной балагур Зяма произнесет знаменитую притчу о лошадях, которые потому и не ссорятся, что никогда не выясняют отношений.

Глава третья

Николай Васильевич Негоголь

Два часа спустя Александр Семенович подходил к длинному одноэтажному дому в центре парка, где располагались бухгалтерия пансионата, спортивная база, административные службы, в том числе и кабинет директора. Рядом с домом, на горочке, был выложен цветочный календарь из фиалок, который каждый день обновлялся. Можно было прочесть, что сегодня ВТОРНИК 21 ИЮНЯ. Этот день он запомнит навсегда.

У самого крыльца, прямо из розовых кустов, под ноги выкатился ежик, Соколов едва об него не споткнулся. Ежик недовольно фыркнул и громко топоча, побежал через дорожку. Если бы это была черная или серая кошка, гость бы, пожалуй, отступил и на встречу не пошел, уж больно нынешний год оказался для него невезучим. Но к чему на дороге попадается колючка-ежик, он не угадывал. И может быть напрасно.

Александр Семенович шагнул в прохладную приемную дирекции. Неизменный многолетний секретарь Оксана Ивановна встретила его на пороге, углядев в окне, и тут же объявила, что все собрались, все в сборе, ждут только его. Оксана Ивановна — жена местного начальника милиции подполковника Попова — чуть полновата, обходительна, улыбчива, у нее мелодичный голосок, в котором слышна украинская мова.

Нисколько не задумываясь по поводу брошенных ею слов: «все собрались, все в сборе», а надо было бы, наверное, спросить, кто же эти «все», наш гость чмокнул ее в щечку, преподнес кулечек с ягодами и переступил порог директорского кабинета. Он еще и представить не мог, что с этой минуты начнется для него другая, ни с чем не сопоставимая, почти потусторонняя жизнь. Ах, ежик, ежик!

С Николаем Васильевичем, он же Негоголь, они знакомы много лет, с тех самых пор, когда тот по разнарядке горкома партии был направлен директором к ним в пансионат. До этого Негоголь руководил, и вроде бы неплохо, совхозом, который выращивал фрукты, виноград, делал вино.

Директор был широколиц, по-мужицки кряжист, но достаточно подвижен; цепкий ум хозяйственника сочетался с ловкостью и смекалистостью. В чрезвычайно запутанных творческих отношениях, слава Богу, ничего не смыслил и ни в какие дрязги не влезал. В этом отношении приезд Александра Семеновича, именуемого «королем», для него стал большим облегчением. Но к людям умственной профессии, несмотря на вредность и склочность иных, всевозможные комплексы и интриги, относился с традиционным почтением. Сегодня, смотришь, бродит по пляжу в потрепанных шортах, не поймешь, писатель или бомж, а завтра по телевизору выступает и ручкается с самим руководством страны.

Директор, широко улыбаясь, открыл навстречу гостю свои объятия, поздравил с приездом, произнося, что пансионат и все работники невозможно рады его величеству и завтра же, завтра, состоится, наконец, открытие сезона.

Со словами «мы уж тут вас заждались», он представил гостей. Кроме Зямы, которого Александр Семенович никак не ожидал встретить (наш пострел везде поспел!), в кабинете находились еще двое: представительный, высокий, чуть седоватый мужчина и другой, помоложе, эдакий красавчик с томным, чуть нагловатым взглядом, который попросил называть его просто Димой.

— Вот, значит, зашли... По вашу душу, — как-то излишне жизнерадостно и громко произнес директор, указывая на старшего. — Борис Остапович Соловьев, он же БОС. Так, по первым буквам прозывают его друзья. Коротко и понятно. А это, — продолжил, — как вы, наверное, наслышаны, наш многолетний гость, да уж какой гость, хозяин здешних мест — Александр Семенович Соколов. Нареченный когда-то, не удивляйтесь, королем. Его так и называют: король Монпасье Мармелажка Первый.

Александр Семенович кивнул, рассматривая гостей. На расстоянии трудно было определить возраст БОСа, но, если честно, гость не представлял для Соколова никакого интереса. Мало ли какие приезжие толкутся у директора, желая в сезон получить номер.

— А все-таки, простите, вы просто господин БОС, или вы к тому же еще босс? — поинтересовался ехидный Зяма. Он как всегда был нахален, но на него, такого милашку с широкой детской улыбкой до ушей, трудно было обижаться.

— Ну, вам все сразу! — воскликнул, хохотнув, директор. — А вообще-то у нас говорят, назови хоть горшком, только в печку не ставь!

Сам Борис Остапович лишь сдержанно улыбнулся, никак не участвуя в обсуждении, но Соколов кожей почувствовал, что тот исподволь, но весьма внимательно его изучает. Еще более пристальный, оценивающий взгляд был у его молодого спутника, в отношении которого промелькнула некая догадка о его сексуальной направленности. Но скоро Александр Семенович понял, что ошибается. По опыту он знал, что все наглухо скрытое в поведении начальства обычно легко прочитываются в подчиненных. Этот красавчик не зря, нисколько не стесняясь, так откровенно вылупился на пришедшего, он их чем-то интересовал. Но не своим же мифическим титулом короля многословно разрекламированным директором! Тогда выходило, что встреча у директора вовсе не случайна и надо быть настороже, ожидая какого-то продолжения. Оно, хоть не сразу, последовало.

Он и впоследствии не раз возвращался к этой, самой первой их встрече, поражаясь себе, как это при его жизненном опыте и при том, что сразу уловил сторонний интерес к своей скромной персоне, не смог предугадать дальнейшего. Главного. Никакого импульса, никакого сигнала или звоночка не прозвучало тогда изнутри. Безмолвен был сторожок, который обычно предупреждал о грозящих катаклизмах. А ведь знак-то был, был... Это когда директор простодушно заявил, что вот-де гости явились по его душу. А за душой-то кто приходит?

Да, да. За душой. Кто? И когда?

Вот о чем он вспоминал. А еще почему-то напрягался по поводу внешности БОСа после того, как успел за время встречи достаточно того рассмотреть. Напоминал ему нежданный гость одного из деятелей комсомольских времен. Ну, чуть забурел, стал импозантней. Обрел благородные формы. Но, как выражался Мольер, все мы ходим голыми под своими платьями. Так что, если снять кожурку, не только роскошную одежду, а наслоение времени, отразившееся в седине и легкой сеточке морщин на шее и на висках, то похож. Очень похож. И фамилия вроде совпадала, и остальное. Все, кроме отчества. Тот вроде бы был Евстафьевич. Редкое отчество, нельзя было не запомнить.

Между тем, директор вслух заметил, что его служебный кабинет, хоть и расположен среди благоухающих, чуть ли не заглядывающих в окна роз, никак не годится для дружеских бесед, и по этой причине он заказал, как здесь принято, для честной компашки столик в чайном домике. Это здесь же, в парке, в ста метрах.

Организовывать застолья Николай Васильевич умел. Не случайно в былые годы руководил совхозом, где во все сезоны, но особенно по осени, не убывало всяких заезжих гостей, командировочных и делегаций из района или области, но больше из столицы, пожелавших на практике узнать, как делается добротное вино и каково оно на вкус. Благодаря своей покладистости и гостеприимству, Негоголь во все времена оставался на плаву: такие люди нужны всегда.

Стол в чайной — круглый и просторный, накрытый белоснежной накрахмаленной скатертью, расшитой огненно красными цветами, ломился от снеди, разносолов и маринадов — все свое, из того самого совхоза. Но, конечно, на видном месте стоял особый, разливной, местного изготовления, в хрустальном графинчике, отсверкивающем на солнце червонным золотом, коньяк, каких уж точно не знавали даже избалованные французы, а возможно и хозяева Кремля, а в глиняном кувшине — тоже местное,

прохладное, прямо из холодильника, вино «Изабелла» и к нему влажная, чуть ноздреватая овечья брынза и румяно подогретый лаваш. Украшала стол ваза с отборной темно-глянцевой черешней. Все самое свежее, самое первоклассное, только что доставленное для гостей.

Зяма, привыкший везде и всегда рулить, тут же разглядел редкий коньяк, разлил по рюмкам и произнес неизменное:

— Ну что ж, выпьем и сравняемся интеллектами!

Его поговорочку тут знали наизусть. В какие-то давние времена эти слова произнес пожилой мужичок-рыбак, заметивший с воды на бережке костерок студентов-туристов. Он предложил в обмен на стакан сивухи живую, только что выловленную щуку. Поднимая жестяную кружку, мужичок многозначительно произнес: «Ну, значит, как говорят, выпьем и сравняемся интеллектами!» После этого Зяма по всякому поводу и без повода цитировал того мужичка. Но вдруг выяснилось, что человек, именуемый БОСом, которого Александр Семенович упрямо продолжал называть только Борисом Остаповичем, спиртного не потребляет вовсе, а пьет боржоми или натуральный сок. Да и его помощник Дима принимает в небольших дозах лишь сухое вино. Во всяком случае, в присутствии шефа. Но «Изабеллу» пригубил и похвалил за душистость и гранатовый цвет.

Директор, хлопнув рюмку коньяка и зажевав черешенкой, тут же заторопился по своим делам, напомнив, что он ждет всех присутствующих завтра вечером на праздник в честь открытия сезона. Зяме на ухо шепнул, что угощение оплачено и чтобы никто по этому поводу не суетился. Но вскоре и сам Зяма откланялся, пошутив насчет отдыхающих, которых как ни угощай, а в обеденное время у них срабатывает рефлекс, как у собачки Павлова, и они резво бегут к общепитовской тарелке. Что он сейчас и сделает.

— Кстати, одна обезьяна, сидя с другой в клетке, объясняла ей что такое рефлекс по Павлову. «Сейчас прозвенит звонок,— сказала она, — и эти гориллы в белых халатах принесут нам пожрать!»

Уже вечером, на ужине, Александр Семенович поинтересовался у Зямы, он-то чего торчал у директора, теряя драгоценные минуты отдыха. Тем более, о земле и проблемах пансионата речь так и не заходила. Зяма в ответ лишь хмыкнул многозначительно. Вроде бы хотел поговорить с руководством о судьбе собачек. Но потом признался, что зашел из любопытства, хотел прощупать названного БОСа — не путать со знаменитым губернатором Боосом, — что он за птичка и не он ли тот магнат, что положил глаз на их землю в Монпасье.

— Ну и что тебе подсказывает твоя интуиция?

— Лучшая интуиция — это информация, — отмахнулся Зяма. — Знаю лишь, что такие люди времени на отдых не тратят. Они все трудоголики. А если он к тому же поселился в директорском блатном номере, то все это не случайно.

— Да. Он здесь не случайно, — в свою очередь подтвердил Александр Семенович. Но больше ничего Зяме не сказал. Все, что произошло потом, после ухода Зямы, касалось пока лишь его самого.

Но Зяма уже распалился, стал вспоминать историю со знаменитым поэтом, который чудом не захватил детскую лечебницу. А ведь тоже чуть не проворонили!

— Вы же помните, ваше величество? Помните? Да?

Глава четвертая

Король

Дело было давнее, но об этом помнили ветераны, помнил и сам Соколов. Это ли забыть! Все произошло в тот далекий год, когда сюда нагрянул, уж непонятно каким образом, поэт из небольшой южной республики, получивший незадолго до этого ленинскую премию за поэму, в которой во всей красе отобразил счастливую жизнь своего горного народа. В ту пору он не был еще испорчен славой и за ним не приезжала черная машина из райкома для его обслуживания. Он приходил в столовую в спортивном костюмчике, почти ни с кем не общался, а время проводил в одиночестве на краю поселка, у моря. Там, судя по всему, он и узрел, а потом и посетил детскую лечебницу и, как говорят, положил на нее глаз. А ровно через год Александр Семенович, по прибытии в пансионат, въяве мог услышать от местных жителей, что больных детишек из лечебницы выселяют, а мировой (не менее того!) знаменитости, ведущему стихотворцу из крошечной горной республики на этом месте будет возведен личный особняк в три-четыре этажа. Почему именно здесь, а не на его процветающей родине, можно было только гадать.

Александр Семенович наскоро посетил лечебницу, но растерянные врачи ничего толком объяснить не смогли, лишь разводили руками. «Это наша знаменитость, — говорили они. — Он так захотел, кто же ему может помешать!»

Следующий поход Соколова был в райком, к писателю-фронтовику. Но и тот, выслушав нашего героя, лишь мрачно заметил, что все это исходит не от крайкома, откуда ему лично поступило указание, а из самого центра, то есть Москвы. «Да вы сами понимаете, здешнему руководству иметь под боком человека, который вхож в

Кремль, разве не находка! Вон, Шолохов, один такой на весь Дон, а казаки за ним, как за каменной стеной!»

— А этот... Он что же, будет здесь постоянно жить?

— Не думаю. Но все равно мимо не проедет.

— А детишек куда?

— Ох, детишки, — только и смог произнести писатель-фронтовик.

Был он грузен, тяжело дышал и лицо его, без того красное, от разговора еще более побагровело. Поговаривали, что пьет он по-черному и открыто, несет по матушке советскую власть, которую сам и воплощает. Несет не только местное начальство, но тех, кто куда выше. Он и сейчас достал из холодильника кусок настоящего рыночного сала от кабанчика, откормленного мамалыгой, ловко острым ножом располосовал на нежно-розовые ломти с крупинками соли на кожуре, хлеб грубовато накромсал, потом наполнил из баклажки, настоящей, фронтовой, даже чуть помятой, с облезшей зеленой краской, в граненые стаканы холодной водки.

— Давай-ка, дружочек, за нашу встречу!

Чокнулся, не ожидая ответа, и мигом содержимое опрокинул в себя. И снова налил.

— Ты же по возрасту как бы не успел воевать?

— Нет.

— А что пишешь-то?

— Ничего не пишу.

— Это как же?

— Ну, делаю, как их называют, литзаписи.

— Ага! А не тот ты Соколов, которого чихвостили когда-то в печати? Ты какого-то прошловекового диссидента что ли восхвалял? Было?

— Было. Но давно.

— Значит с тобой все в порядке. — Подняв стакан, добавил. — Воюй, дружок, если еще не все печенки отбили!

Гостя проводил до дверей, заглядывая в глаза, попросил:

— А меня... Бога ради, не суди. Я отвоевался. Мне недолго осталось...

В крайком Александр Семенович уже не поехал, но в Москве разыскал адрес поэта, которому, как выяснилось, дали целых две квартиры на улице Горького. Позвонил по телефону, который с трудом удалось раздобыть в Рабисе.

— А вы кто? — спросил молодой человек, назвавшийся секретарем.

— Вообще-то я член Рабиса.

— Вы поэт? Но мы чужие стихи не консультируем.

— Нет. Я не поэт. Я совсем по другому вопросу.

— Простите, по какому?

— Об этом я могу сказать только лично.

— Хорошо. Я вас запишу. Фамилия?

— Соколов.

— Соколов? Какой Соколов?

— Александр Семенович Соколов.

— Вы что, знакомый?

— Немного. Мы встречались в Монпасье.

— Ах, в Монпасье, — повторил, оживляясь, секретарь. — Ну, это другое дело. Оставьте телефон. Или позвоните через недельку.

Почему «другое дело» Александр Семенович не понял, но догадался, что упоминание поселка чем-то привлекло неведомого секретаря. Он плохо представлял, как и о чем они будут говорить со знаменитостью, уж очень разный возраст, да и их нынешнее положение. Вот уже и секретаря завел, и принимает по записи. Если принимает!

Но поэт принял на другой же день и вовсе не так, как представлялось Соколову. На лестничной площадке великолепного подъезда в доме сталинской постройки его уже ждали двое вежливо молчаливых парней в черкесках, еще двое или трое встречали за дверью. Проводили через несколько комнат, наглухо зашторенных тяжелыми бордовыми тканями и все в коврах, и ввели в просторную, ярко освещенную электричеством залу, где был накрыт большой банкетный стол. Только для них двоих. Никаких других гостей, судя по всему, не предвиделось. Молодые люди бесшумно сновали за их спинами, подавая на стол вина и закуски.

Поэт предложил попробовать вино, присланное с родины, но с вопросами не торопился, лишь молча разглядывал гостя. Но первый его вопрос был, конечно, про Монпасье, какие там новости, кто отдыхает и как там сейчас с погодой. Потом он предложил второй тост за здоровье собрата по литературе, которому благодарен за внимание и за встречу.

Пригубив едва-едва вино, вдруг с улыбкой произнес, что он, в общем-то, догадывается о цели визита, но хотел бы услышать все от уважаемого гостя.

— Услышать... Простите... Даже неприятное? — спросил, смутившись, Соколов.

— Конечно.

— Очень неприятное.

— Да уж я сам решу, насколько оно не по мне. Раз пришли, говорите.

Остренькое лицо хозяина с тонкими усиками и черными, без зрачков, блестящими глазами было полно внимания и терпения.

Соколов оглянулся на молодых людей, и хозяин дал им знак удалиться.

— Видите ли, я много лет посещаю Монпасье, — сказал гость.

— Да знаю, знаю, как же! — воскликнул хозяин.— Вы же там главный человек, не так ли?

— Ну что вы...

— Конечно. А пришли вы по поводу дачи, которую мне там предложили? Так, ведь?

— В общем, так, — согласился гость. — Но дело не в даче.

— А в чем?

— В больных детях.

— Причем тут дети?

— Они там сейчас живут.

— Где они живут? На моей даче?

— Нет. Пока они живут на своей даче. Но их выселяют.

— Из-за меня?

— Из-за вас!

Возникла пауза. Хозяин хоть и хорохорился, что готов к любому неприятному разговору, но, кажется, растерялся. И гость не смог не почувствовать этой растерянности, которая прозвучала в последней реплике собеседника. Тут же были выложены главные доводы, заготовленные заранее. Первый из них, что поэту выделят любой другой участок на берегу, а там есть местечки — пальчики оближешь. При желании он, Соколов, готов помочь в таком выборе. Поэт молод, у него есть или будут дети, с руки ли ему устраивать жилище там, где многие годы гнездились болезни? Это второй довод. И последний... Известно, об этом и кругом говорят, что поэта собираются выдвигать на нобелевскую премию. История может попасть в печать, а там, на Западе, чутко относятся к таким эпизодам...

Поэт был умен, он все это выслушал и не стал спорить. Он наполнил бокалы вином и предложил выпить за здоровье тех самых детишек. На прощанье преподнес гостю бутылку вина, упакованную в небольшую фирменную сумочку, и проводил лично до дверей.

— Не волнуйтесь, дорогой,— сказал на прощанье. — Этот вопрос будет решен справедливо. Слово даю. У нас словом не бросаются.

— А почему вас тут зовут царем? — спросил БОС, чуть откидываясь, чтобы из-за вазы с черешней лучше видеть собеседника.

— Кто зовет?

— Да все. Почти все. И директор вот...

— Наверное, королем?

— Да, да. Какая разница?

— Я все-таки думаю, разница есть.

— Ну, не ловите на слове. Я тоже изучал историю. А все-таки вы не ответили на мой вопрос. Вас назначили? Выбрали? Да?

— Вообще-то, я слышал, королей не назначают, — заметил без улыбки Соколов.

— Я тоже слышал, если, прошу простить, настоящих! — в тон ему отвечал БОС. — Но вы-то, полагаю, не чисто королевских кровей?

— Да, да, — согласился миролюбиво Соколов. — Я никакой не настоящий... Это вы верно заметили.

— Но тогда не надо обижаться. Вопрос может быть и дурацкий, да ведь и предмет разговора не лучше. Так вы сами себя назначили? Да?

— Нет. Я сам себя не назначал.

— А мне кто-то сказал, что это просто игра.

— Ну, в общем, это игра.

— Тогда почему король? А не тот же царь или визирь? А уж нынче — президент?

— Ну, сейчас все президенты. Фирма из одного человека, и тот президент, — заметил Соколов. — Вы же, кстати, тоже президент? Только я не разобрался, чем вы там руководите?

Последнее он вслух не произнес, это было бы неприлично. А БОС ничего не ответил. Хотя в какие-то минуты во время других встреч он, казалось, был излишне откровенен.

Александра Семеновича тогда вышел приветствовать весь санаторий. Дети с балконов бросали цветы. Самые маленькие висли на руках, а кто-то из врачей у центрального входа от имени всего коллектива надел ему на голову бумажную корону, украшенную по окоёму цветными конфетами-леденцами. Потом так же непроизвольно, но, конечно, среди детей, возникло и это: «Вы будете теперь наш король Мармелажка Первый!»

А поскольку с ним явилась в санаторий кучка болельщиков: Шера, Зяма и другие, то было решено тут же вечером продолжить игру и провести коронацию на берегу залива при общем сборе детишек и отдыхающих. Придумывалось весело, на ходу, а кто что предлагал сейчас уже не вспомнить, но, конечно, все было от той литературы, которую знали одинаково и взрослые, и дети: по Марку Твену, Вальтеру Скотту и так далее. (Зяма по этому поводу сострил: «Я не Вальтер, но скот!».)

Тронная речь была выдержана в духе Хартии английского короля Генриха I. Для этого пришлось заглянуть в справочник, который нашелся в библиотеке.

«Знайте, — возглашал он, восседая на дачном плетеном из прутьев стуле, громко, чтобы донеслось до всех сидящих широким кругом гостей. — Знайте, что по Божьему милосердию и с общего согласия баронов, я коронован в короли королевства Монпасье. И все худшие обычаи, которыми было утеснено королевство, отныне уничтожены».

Настоящий английский Король Генрих I, упомянув некогда о «худших обычаях», далеко смотрел. Худшими обычаями, как все понимали, была попытка выселить больных детишек из особняка. А сопровождающие гости, таким образом, стали как бы баронами и пэрами. Игра превратилась в реальность и нашла свое продолжение в пансионате, чуть ли не на другой день, когда понадобилось приструнить одного сплетника и защитить женщину. Но Генрих I — это всего-навсего XII век! Насколько в их время были обычаи «худшие» в сравнении нынешними, сравнивать трудно.

Вскоре состоялся другой ритуал посвящения в короли — тайный! И о нем не знали даже лорды. Однажды ребята из санатория, перешептываясь и хихикая, провели его секретными ходами в подвал дома, мрачноватый и холодный. Посветив фонариком, они попросили подойти к одной из стен, где сквозь полумрак проглядывало что-то светлое. То ли булыжник, то ли кусок цемента от фундамента. Это и была часть фундамента, но какая!

— Лизните, ваше величество,— попросили его шепотом.

Он даже не понял о чем речь. Думал, что ослышался.

— Что лизать?

— А вот это! — И указали на камень.

Он неуверенно приблизился, пощупал камень руками, даже попытался понюхать. Дети стояли вокруг и ждали

— Да не бойтесь! Лижите! Лижите! — заверещали они.

Закрыв глаза, лизнул и поразился: это был жженый сахар. Ну, может не сахар, а что-то обгоревшее, оплавленное, пахнущее дымком. Но ужасно вкусное. И тут он догадался. Конечно же! В подвале бывшей фабрики был складирован сахар, а во время пожара он расплавился и стал частью фундамента дома. Но кто это знал и по-

мнил, кроме проникающих везде детишек? И они придумали игру: ритуально приводить сюда самых посвященных и самых обожаемых, и все они, лизнув паленый сахар, приобщались к главной священной сладкой тайне в их здешней жизни, которую уж никак сладкой не назовешь.

Продолжение же у этой истории было таково. Однажды Александру Семеновичу позвонили домой из секретариата Рабиса (редкий случай, что о нем вдруг вспомнили) и попросили срочно зайти. Обычно такие звонки не бывают к добру. Принял его сам оргсекретарь Союза, грузный мужчина средних лет Федот Федотович. Соколов знал, что всякие сложные конфликтные вопросы, особенно, если вопрос касался идеологии, поручали ему. Чаще это была реакция на очередную «телегу» из провинции, где на выезде молодые члены Рабиса устроили пьянку или драку или же, что было особенно неприятно, кто-то во время выступления читал запретные стихи запретных поэтов. Российская глубинка твердо охраняла устои советской власти и не прощала никому, кто на нее поднимал лапку. А уж ко всякой творческой шпане из столицы, которая набравшись заграничных вольностей, несла на встречах с читателями всякую антисоветчину, местная власть относилась особенно бдительно и соответственно реагировала письмами в ЦК. И тогда уже, засучив, как мясник рукава, приступал к разборке сам Федот Федотович.

В роскошном кабинете с мебелью из красного дерева, увешанном живописными портретами классиков соцреализма, а некоторые из них, в основном из средней Азии, с ликами вышитыми прямо на гобеленах, присутствовал еще один человек, тихий, неприметный, в сером, тоже неприметном москвошвеевском костюмчике. В разговор не вмешивался и лишь по временам смотрел в окно, где посреди палисадника возвышалась бронзовая статуя великого Толстова.

— Вот почему вас позвал,— сказал Федот Федотович. Говорил он не без некоторой одышки, и Соколов сразу

подумал, что ему бы подлечиться надо. Вот хотя бы в их пансионате, где воздух и степной, и морской, и горный одновременно. Как говорят специалисты, целебный коктейль.

— Вы там, говорят, какой-то парламент придумали? — между тем продолжал Федот Федотович. — Что это за парламент такой? И почему парламент?

— Это игра,— ответил Соколов и посмотрел на человека в сером.

— Игра во что?

— Игра в парламент.

— В английский парламент?

— В английский.

— Почему — английский?

Если бы был французский, он, конечно, спросил бы, а почему французский, — подумалось Соколову, но дерзить он не стал.

— Ну, он самый что ли популярный. Если брать историю. Я еще со школы...

— Ну, ладно, ладно, — перебил Федот Федотович. — Но вы там, как утверждают некоторые, решаете всякие вопросы, будто чуть ли не руководите Рабисом. И не только Рабисом.

— А кто это утверждает? — спросил Соколов, — и посмотрел на человека у окна.

— Да вот, люди реагируют. — И Федот Федотович повел руками по столу, указывая на какие-то бумаги.

— И там написано, что мы принимаем какие-то решения?

— Ну да.

— А как мы их можем принимать? Мы же не министерство культуры. Даже не партком. У нас ни прав, ни полномочий, — сказал Соколов.

— Вот и я бы хотел узнать, как вы их принимаете? У вас какие-то заседания? Протоколы? Решения?

— Нет, нет. Никаких протоколов.

— Ну а что же вы делаете?

— Шутим.

— Как вы шутите?

— Ну, почитайте академика Капицу, у него написано, как ученые шутят. Чем же писатели хуже?

— Вот я и спросил, как вы шутите?

— Ну, собираемся... Лорд-канцлер докладывает, что детишки шумят под окнами. И мы просим родителей, чтобы вели себя тише.

— И все?

— И все. Иногда повара ругаем или садовника.

— А сколько у вас таких, извините, лордов?

— Да немного. Кто приходит на стакан вина, тот и лорд.

— А вы, значит, король?

— Как бы король. Но ведь это только игра, — повторил он.

Федот Федотович помолчал и впервые повернулся к человеку в сером. Но тот, как прежде, смотрел лишь в окно. Казалось, его никак не интересовал происшедший разговор.

— Ну ладно, — заключил секретарь, шумно дыша. — Ступайте. Но имейте в виду, я вас хочу предупредить чисто по-дружески, что некоторые игры подобно вашей могут быть неправильно восприняты... Кем-нибудь... И тогда все это примет нежелательный оборот. Вам тогда припомнят и всякое прошлое. Вы меня поняли?

— Да.

Прощаясь, секретарь вышел из-за стола и, пожимая руку, добавил:

— Разумеется, этот разговор останется между нами. — И тут же, после того, как закрылась за визитером дверь. — Пусть играются: детишки, повар, родители... Все лучше, чем заниматься самиздатом!

— Время покажет, — заметил, не оборачиваясь, человек в сером. — А у вас там... Разве нет «своих»?

— Да там «своих» половина! Откуда бы я узнал об этих играх!

— Ну, тогда продолжайте работать.

Произнесено было так, что было ясно о какой работе толкует гость.

Человек попрощался. Усмехнувшись, произнес от дверей.

— Вот уж, английского парламента нам не хватает!

Необходимо вернуться к чайному домику, где наши герои после ухода директора и Зямы остались втроем. Некоторое время молча закусывали. Потом возник чуть натянутый разговор о прекрасной погоде, о теплом море и о здешней щедрой кавказской природе, которая не чета крымской, более выхолощенной, хотя и более сухой.

— А что этот ваш... Зяма, да? Чем занимается? — поинтересовался вдруг Дима.

— Здесь? Или вообще? В Москве?

— Ну, здесь, понятно. Здесь люди отдыхают.

— Он как бы сказать... Он у нас в королевстве занимает пост лорд-канцлера. В общем, мне помогает.

— Еврей при губернаторе?

На легкомысленную реплику Димы Александр Семенович никак не отреагировал. Но добавил, что вообще-то Зяма работает на телестудии, создает программы, творческий, очень активный человек.

— Мы это заметили, — кивнул БОС. — А что, другие деятели у вас так же творчески активны?

Вопроса Соколов тогда не понял, но сдержанно заметил, что завтра на открытии гости смогут увидеть всех скопом и оценить. В смысле выпить, уж точно активности им не занимать.

— А вас действительно интересует их творчество?

Прямолинейно, но по делу. Александру Семеновичу было жалко терять время на пустые разговоры. Красиво сервированный стол ему был безразличен. Кажется, как и гостям. Они были люди деловые.

— Нам все интересно, — воскликнул Дима.

Он оглянулся на молоденькую официанточку, которая все время что-то приносила, уносила, но далеко от стола не отходила. Может ее привлекал сам красавчик Дима, но еще вероятней, что это были уши и глаза директора.

За столом возникла пауза. БОС оглядел рассеянно стол и, сославшись на духоту, предложил немного прогуляться по парку. Где-то в глубине аллеи он остановил-

ся и посоветовал своему молодому спутнику пойти на полчасика размяться. «Наслаждайся, — сказал покровительственно. — Не каждый день в таком раю приходится бывать».

Отослав Диму, повернулся к собеседнику.

— Из всех творческих лиц, — произнес негромко, — сегодня, сейчас нас интересует только одно творческое лицо. Это вы, Александр Семенович.

Глава пятая

БОС

Соколов пытался из своей, не столь уже надежной памяти, выскрести потом хоть часть того необычного разговора, который произошел между ними и который во многом перевернул весь его спланированный отдых. Не только отдых. Но все остальное, даже жизнь.

Начал этот человек как бы даже чуть легкомысленно с фамилий, которые у них похожи. — Вы Соколов, а я Соловьев. Мы оба с вами птички. — И повторил с легкой усмешкой. — Птички-невелички.

Такое игривое вступление ни к чему не обязывало и Александр Семенович мог бы отмолчаться. Но все-таки решил заметить, что птички-то разные. Одна певчая, а другая как бы сказать...

— Хищная, что ли?

— Была же соколиная охота, — напомнил он. — Да и у Брема...

— В таком случае готов поменяться. Я уж точно не соловей. Петь как вам, не дано. Да и вы, я думаю, не охотник. Так ведь?

— Не охотник, — согласился Александр Семенович. — Даже никогда и ружья не держал, разве что удочку.

— Ваше оружие — перо, — заметил собеседник. — И разговор пойдет, уважаемый Александр Семеныч, о нашей с вами книжке.

— Нашей?

— Да, да.

— С вами?

Ему показалось, что он ослышался.

— Не удивляйтесь. Мы поговорим о документальной книжке, на которую вы в конце прошлого года, еще до болезни, заключили договор с издательством «Кулишки». Не забыли?

Кажется, Соколов начинал догадываться. Это было в декабре. Он, и правда, заключил договор в каком-то незнакомом и, видимо, некрупном издательстве на биографическую книгу. Причем, книгу о ком-то, кого ему должны были позже указать, но так и не указали. Впрочем, позже была больница и мысли о книге отодвинулись на задний план.

— У вас это зовется литзаписью? — между тем продолжал собеседник. — Но я бы назвал по-другому. Жизнеописание, скажем. Житие. Летопись. Как-то еще... А в общем, все равно: история жизни.

— Простите... Но чьей жизни?

— Предполагается, что моей.

БОС произнес это просто, как само собой разумеющееся и указал на скамейку. — Присядем, ваше величество. Если вы не торопитесь.

— Нет. Не тороплюсь. Королевство подождет, — отвечал тот, пытаясь за шуткой скрыть некоторую растерянность.

Этот невесть откуда взявшийся человек, и правда, объявился уж слишком внезапно. Как говорят в народе, возник, как черт из-под печки. Но ведь и название загадочного издательства «Кулишки», в просторечии «кулички», то есть, болото, оно же местопребывание чертей. Так и произносится: у черта на куличках! Забавное совпадение!

Но, конечно, Александр Семенович немного растерялся. Очень уж далек он был в этот сияющий голубыми небесами день от московских забот вообще и от каких-то взятых на себя обязательств написать книжку о ком-то, кого он никогда не видел и не знал. Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что... Опрометчиво. Но тогда все казалось слишком несложным и отдаленным, а времени на раздумье не оставалось. Безденежье одолевало и никаких других заказов не предвиделось. В общем, договор был подписан, а деньги, неожиданно большие, что тоже непривычно, почти мгновенно выплачены и так же быстро потрачены.

Кто бы он ни был, даже если и взаправду черт, хотя наш автор и сам бы не ответил, откуда возникло это смут-

ное сравнение и причем тут какие-то «Кулишки»... Но подписанный договор — вексель, который ему так неожиданно предъявили и по которому следовало теперь платить.

Однажды Соколову пришлось оказаться в компании с чемпионом по шахматам. Ныне он рулил общественным фондом и пожаловался, что у них пытаются отобрать офис, арендованный на двадцать лет. «Но вы же гениальный шахматист, — сказали ему. — Как же вы не рассчитали на двадцать лет, то бишь, на двадцать ходов вперед?» На что чемпион признался, что даже в шахматах ему удавалось рассчитывать вперед ходов на пять-шесть. А вот в жизни... Тут и на два хода не получается! Жизнь преподносит такие дебюты, такие шахи, что только успеваешь увертываться, иначе заматуют!

— А между прочим, вы не заметили, мы ведь с вами в чем-то похожи. Не только фамилиями, — продолжал БОС. — Ну, скажем, внешне. И год рождения, и многое другое совпадает! Но, конечно, конечно... — добавил он, — у каждого своя планида. Каждый из нас выбирал свой путь сам.

«А чего же ты, дружок, теперь на мой-то сворачиваешь?» — подумалось неожиданно Соколову.

Спутник будто подслушал его слова. Чуть оскалившись в улыбке, заметил:

— Вы, наверное, решили, что я разочаровался в своей судьбе. О нет, нет! Как любил говаривать господин Гайдар: «Отнюдь»! Кстати, утверждают, — ухмыльнувшись, произнес БОС, — что именно это словцо, малопонятное нашей серой публике, его во власти и погубило. Слишком заумно для простого люда. Им бы по матушке и тогда полный карман восторга. Так вот: отнюдь. Лично я вполне доволен жизнью. А вы?

Соколов пожал плечами. Его обретения и потери никого не касались. А вот самоуверенность БОСа начинала его раздражать. Как и деланная откровенность, требующая такой же взаимности. Но сосед не видел, а может, не считал нужным увидеть, как реагирует собеседник.

— Но для комфорта, дорогой коллега, — продолжал раздумчиво он, — мне не хватает, но это уж всегда так бывает, что чего-то не хватает... Говорят же, кому щи жидки, кому жемчуга мелки. Но я сейчас не о деньгах. Мне не хватает, как бы точней выразиться... Скажем так: приличной биографии. — Он выдержал паузу, наблюдая, как реагирует автор. — Странное желание, не правда ли? Но объяснять я не хочу. В общем, чтобы знали, что мои планы завязаны на вас и поэтому я так откровенен. Без этого нам не осилить будущую книгу. — И снова выдержал паузу.— Не вам говорить, что журналисты народ дошлый, это вы сами знаете. Станут копаться в моем прошлом и до чего-нибудь докопаются. Найдут что было и чего не было. А я хочу сыграть на опережение. Я сам себе назначу, какую мне нужно биографию. Не без вашей помощи, понятно. Иначе мы бы с вами тут не сидели. Как говорил в одноименном фильме красный командир Котовский, отряд которого попал в окружение, а его, кстати, играет прекрасный актер Мордвинов: «Окружение — это наполовину психология, и я хочу этой психологией поделиться с противником. Так вот передайте по телеграфу, что нами, нами! окружен противник...» Вы же смотрели кино в детстве, помните? Ну, вот. А я хочу своей новой биографией поделиться с обществом. И вся психология.

— То есть, можно понимать так, что вы не верите, что мы не вернемся к прошлому? — поинтересовался Соколов.

И уже далее, не вслух, продолжил: «К прошлому, когда от вас могут потребовать моральный ответ за все, что вы натворили, я уж не говорю о нажитых финансах, и вам понадобится правдоподобная трудовая биография...»

— Нет, не так. К прошлому мы не вернемся, — почти мгновенно отреагировал БОС.

— А тогда зачем вам все это?

— Я вперед, а не назад смотрю, — подчеркнул тот довольно категорично. Вопрос попал в точку.

— Так вот чего вы все боитесь? Вы боитесь бунта?! — воскликнул Соколов.

— А вы не боитесь? С вас же и начнут! Первых и сметут! — перебил БОС. — Не ваш ли коллега Чернышевский взывал: «К топору зовите Русь!» Ну, позвали в семнадцатом. До сих пор не очухаемся!

— И хотите сказать, ничему не научились?

— Почему? Как раз учимся! Смотрим в прошлое, чтобы разгадать будущее. Да не просто разгадать, а быть к нему морально готовым. Я давно понял, что история — лучший учебник жизни.

БОС как бы попутно поинтересовался, а правда ли, что Соловьев тот самый скандальный автор, опубликовавший какой-то там исторический роман о беглецешпионе?

— Ну, это когда было!

— Но было?

— Было. Очень давно, — отмахнулся Соколов. Добавил с неохотой: — В прошлом веке. Нет. В прошлом тысячелетии.

— Но люди, оказывается, помнят. Я сам убедился. А международная премия?

— Никаких премий я не получал,— отвечал Соколов нахмурившись. Прозвучало даже резковато.

— Ну понятно, тогда говорили, что это деньги ЦРУ и все такое. Попробовали бы вы взять... Пастернак и тот не решился. Но вас, вроде бы, тоже за это... И не пущать, и не печатать?

— Ну и что? Я тогда студентом был. Много ли мне светило?

— А мне интересно, почему вы избрали жанр литзаписи. Ведь, практически, это безымянный жанр, ваша фамилия ни на одной из ваших книжек не стоит.

— Знаете ли, я стар. Мне уже все равно.

БОС не поверил и не скрыл этого.

— Прежде чем вас пригласить, я ознакомился с вашими книжками. Мне Дима принес. Не все, конечно. Но простите... А сейчас не выдергивают?

— Куда?

— Сами знаете куда.

— Никто меня не выдергивает. Вы же правильно заме-

тили... Кого интересует литзаписчик, который пишет под чужой фамилией чужие жизни!

— Как моя, например?

— И ваша. И другие. Мне все одинаково.

— Но вам самому это занятие интересно?

— Это мой заработок. Моя работа. Я стараюсь ее делать максимально добросовестно.

— Об этом я тоже догадываюсь. Если честно, когда мне назвали ваше имя, я удивился. Я вообще не знал, что вы еще, простите, существуете.

— Да уж как видите. Чуть-чуть подзадержался.

— Но я, правда, не знал. Не обижайтесь. Все, что с вами происходило: и шум вокруг вашего исторического опуса, и остальное. Да и столько лет прошло... И вдруг говорят: вот, рекомендуем. Если он, то есть вы, согласится написать, будет классная книга. Шедевр. Так и сказали.

— А кто сказал?

— Вполне авторитетные люди. Я им доверяю.

— Я не халтурю. Это правда.

— А у вас от этого романа не осталось черновиков? Каких-то страничек? Это же, если память не изменяет о подьячем, который оказался шпионом... Кошкине?

— Котошихине, — поправил, поморщившись Соколов. — А вам-то зачем?

— Любопытно. И потом Дима утверждает, что наши с вами взгляды на историю в целом будто бы совпадают!

— Там не взгляды. Там факты.

— Он, правда, был шпион?

— Это не доказано.

— Но, кажется, разносная о вас статья так и называлась: «В героях у молодого автора шпион и диссидент». А где, кстати, он?

— Кто?

— Я спрашиваю про ваш роман. Вы же его так и не опубликовали?

— Нет. Зато много цитировали.

— А цитаты откуда?

— Вы сами знаете откуда.

— А роман?

— Романа нет.

— Уничтожили? Сожгли? Как Гоголь? Как Мастер Булгакова?

— Нет. У меня бы рука не поднялась. — Его... как бы точнее пояснить...

— Арестовали?

— Да. Забрали.

— И ни одного запасного экземпляра?

— Ни одного.

— Но вы же носили в разные редакции?

— Носил. Там тоже прошерстили. Это нетрудно сделать.

— Но вы расскажете? Потом?

— Извините, но я уже говорил, мне не интересно вспоминать,— раздраженно отвечал Соколов.

Ему вдруг показалось, что БОС далеко не случайно заговорил о пропавшем романе и, вообще, как бы осторожно, но вполне намеренно, со знанием каких-то забытых всеми подробностей, стал выспрашивать о давней истории, о которой, и правда, пора забыть. Этого еще не хватало, чтобы ковыряли в заживающей, почти зажившей ране!

Но, конечно, сам Соколов помнил, очень даже помнил, как все это начиналось. В «Большом мире», — так назывался популярный журнал, секретарша Люся по секрету рассказала, что главный держит рукопись в сейфе, никому не отдает. Но они по ночам доставали рукопись и читали. «Скажу сразу,— посоветовала она, — забирайте. Он все равно не напечатает. Хотя поговорить с ним, наверное, стоит. Он сейчас не просыхает, поэтому отсиживается в Переделкине на даче.

Таким Соколов и узрел его, вершителя литературных судеб, когда тот, хоть не сразу, вышел на крыльцо. Но в дом не пригласил. На нем были какие-то старые калоши и чуть приспущенные из-под плаща домотканые подштанники. На жиденькой бородке блестели капли влаги. Видать, глотнул перед выходом.

— Ну что, дружочек, тебе сказать... — произнес жалобно, после мучительного молчания, ведь надо было вспомнить хоть имя автора. Не вспомнил и заговорил о том, что в журнале план сверстан на два года и нет никакой возможности опубликовать. — Пишите лучше о Сибири, о героике БАМа, вот что сегодня требует от вас народ. А история... Кому она такая клеветническая, все наше российское поливающая грязью, нужна?

Можно лишь представить, что эта формула могла стать решающей, когда затребовали свыше все экземпляры романа. Соколов уже слышал разное о своей работе, но формулу: «клеветническая история», впервые. Бедный Котошихин!

На прощание Соколов не сдержался, задал вопрос, бессмысленный конечно:

— А что вы бы сделали, если бы вы это написали?

— Я бы такое не стал писать,— с ходу ответил главный и поморщился. Уж очень было ему тошно. Даже жалко его стало. И потому что с похмелья, и потому... Да, конечно, потому, что он не захотел бы такое написать. А ведь как-никак, а ведущий... Кому как не ему — перо-то в руки! В литобъединении шутили: есть, мол, писатели ведущие, есть ведомые, а есть невéдомые...

Но до этого Соколов успел еще побывать в «Пламени», там рулила прозой громоздкая пожилая женщина, в простонародном выражении прямо-таки бабища! Говорили, будто она была возлюбленной Блока. Но если бы он сейчас ее увидел, оплывшую, с одышкой, с тупой усталостью в глазах. Бутылка коньяка и воровство красивых папок. А на полях: по сто замечаний на страницу — китаизм, ревизионизм, нацизм!

— Зачем вы это написали? — это единственное, что она спросила. Потом брезгливо отодвинула пачку голых листов рукописи, которую успела раздеть, умыкнув папку, довольно дорогую. И красивую, которую Соколов, несмотря на свою бедность, купил для вящего эффекта. Какая наивность. От Коренихи, так звали редакторшу, ее фамилия была Корень, как выяснилось, наверх тоже пошло письмо о странной рукописи, с формулами: «китаизм» и «ревизионизм».

В поздние времена Соколову довелось снова побывать в Переделкино и, вдруг, когда он проходил по улочке, его окликнули с балкона какого-то коттеджа. Оно, как сперва он определил — нечто бесформенное рыхлое и громоздкое спросило:

— Вы не слесарь случайно?

— Нет, — отвечал он и тут лишь догадался по тону голоса, который не утратил железных ноток, что это точно Корениха. «Господи, — подумалось,— сколько же ей лет, что еще жива?! Отдала бы лучше несколько своих лет Блоку!»

— У нас воду отключили, — между тем вещала она с балкона так, будто в этом был виноват Соколов. И уже вслед ему, менее повелительно: — А может, вы там что-то сделаете, подкрутите? Я на бутылку дам!

Отрешенный от литературы такими вот обитателями коттеджей, он научился, конечно, к этому времени делать все, в том числе ремонтировать бытовую технику. Тем и жил, пока не было заказов на книгу. Он поймал себя на мысли, что в ином случае помог бы даже изнемогающей без воды зверушке, но этой...

— Засунула бы ты свою бутылку знаешь куда, — про себя произнес он. И вдруг, как мальчишка, вскинулся, и крикнул громко в ее сторону:

— Это китаизм!

И тут же в ответ услышал знакомое: «Да, да! Это ревизионизм! Куда смотрит власть, она издевается над писателями!»

— А правда, зачем вы этот роман написали? — спросил вдруг БОС.

У него была особенность, не самая приятная для собеседника, улавливать чужие мысли. Но впрочем, Соколов мог это произнести и вслух. Этот вопрос ему часто задавали. А он не знал, что отвечать. И сейчас ответил, как обычно:

— Не знаю. — И добавил. — По глупости, наверное...

БОС некоторое время молча рассматривал его.

— Ну а представьте, что вышло бы по-другому. Напечатали роман, а в нем только и заслуг, что скандальный.

Вон, как у Дудинцева! Шумели, шумели, а роман-то так себе. Его и не помнят уже.

— Его роман был ко времени. А сейчас уж не знаю,— заметил нехотя Соколов. — Давно не перечитывал.

— Я тоже. Но я о другом говорю... Вашего-то романа нет, а вы как бы на коне.

— Да кто помнит! — отмахнулся Соколов.

— Романа не помнят. А вас еще вспоминают. Хоть секретарь Рабиса в какой-то статье писал, я вот почему-то запомнил... «На обочине жизни». А у нас на Руси страдальцев обожают, — заключил уверенно БОС.— Ну, ладно. Не сердитесь. Будем считать, что роман был замечательный. Рыбаки утверждают, что самая крупная рыба та, что сорвалась с крючка.

— Там уж любой домысел шел в зачет, — подтвердил Соколов. — У того же Котошихина, кстати, в книге приведен перечень бранных слов, за которые еще в средние века наказывали. Язык, между прочим, вырывали!

— За мат, что ли?

— Да нет, какой мат! Ябедничать, например, бесчестить, поносить брехом, фукать... Еще там обозначены слова злые, лайчивые (лаять, то есть), худые, позорные, оглашенные...

— Так вы ничего не забыли, оказывается, — заметил проницательный БОС. — И что еще про вас «брехом фукали»? Язык-то у них, небось, до сих пор цел? В те времена нас перенести, я представляю — не отдельные фукальщики, а уж целые бы редакции газет и журналов колоннами двинулись за свой непрерывный брех в Сибирь! На каторгу!

И БОС заключил, вот уж неожиданно откровенно для первого знакомства.

— Ох, нет... Нет на них батюшки Алексея Михайловича!

Глава шестая

Котошихин

Так ли забылось-то, как он внушал и себе и другим? Помнил, все помнил уважаемый Александр Семенович, как его позорными словами лаяли и оглашали. Да и как не помнить, когда свистопляска вокруг его диплома завертелась такая, что и обличали, и уличали. И обвиняли. Особенно после того, как рукопись оказалась за кордоном и там, вроде бы (а кто читал, кто видел?!), ее фрагменты стали публиковать. Сам он ничего не передавал, конечно, и публикаций не видел. А обвиняли его в том, что он якобы воспел своих молодых литературных дружков Владимова, Кузнецова, Гладилина, еще кого-то, кто свалил на Запад и там пишет и клевещет, как Котошихин на Россию. А то, что герой романа какой-то подьячий, живший в XVII веке, так это все «аллюзии», как говаривал один киношный идеолог, припечатав непонятным словечком скопом всех инакомыслящих. Бежал ваш подьячий из России? Бежал. Позорно бежал. Продался врагам России? Продался. И не за тридцать, а за триста серебряных монет! Накатал там какую-то книжонку, охаивающую свою родину, свой народ. Но, слава Богу, что там, в Европе, быстренько его разбойную сущность раскусили, тем более, что оказался уголовник и убийца. А тут, значит, новый доморощенный адвокат и жалельщик выискался! Думал, раз XVII век, то никто его аллюзий не сообразит! Еще как сообразили!

Надо сказать, что наш автор немало растерялся от шума, который был поднят вокруг его романа. Обратившись к отдаленным временам, он искренно почитал, что выполняет скромную роль исторического хроникера. Писали же великие мастера и о Грозном, и о Петре, о князе Серебряном, о Минине и Пожарском... Отчего же не годился Котошихин?

А в институте происходила подлинная буря. Бывшие товарищи по курсу жаждали, и немедля, крови, а одна девица на собрании махала сухими кулачками и ратовала за тюрьму или даже за смертную казнь: «как у его героя». Мол, оба изменники и нечего с ними чикаться. Кстати, это как раз и была «Сара с револьвером», только была она в те годы много горячей. Сейчас-то они почти рядышком отдыхают, здороваются, встречаясь в столовой. И ничего. Но и тогда страсти понемногу спали и наступила глухая тишина. Ни звонка, ни импульса со стороны. Небытие. Не представлял, что так бывает. Возможно, это и была казнь, воплощенная в безмолвии. Он даже не понимал, исключен он или не исключен из института. Престарелый ректор Владимир Иванович Петраков по кличке «Дед Маразм» вызвал его для беседы в свой кабинет и, тяжело вздыхая, пробурчал по поводу антисоветчины, которая проникла в стены творческого вуза, а ему, вот, позвонили из правления Рабиса и пригрозили отправить на пенсию. Он тут одному студенту в сердцах крикнул, мол, чтобы его ноги не было в кабинете, так тот на руки встал. И так вошел, стоя на руках...

Соколов сочувственно кивал, ему, и впрямь, было жалко старика. Все знали, что за свою творческую жизнь он так ничего и сотворил, да он и писать не умел, а знаменит был тем, что в молодые годы подавал в президиум секретарям Рабиса чай, а, подав, садился сбоку в тот же президиум, чтобы быть на подхвате. Ну, а потом, как бы по привычке, по инерции, сразу шагал в президиум и все почему-то считали, что так и положено. Теперь у него в институте был такой же, на подхвате, бездарный поэт Шаров, про которого студенты декламировали такие стишки: «В институте нет талантов, хоть Шаровым покати!»

Петраков от природы был глуповат и добр. Он помучил, помучил бедного студента и отпустил с наставлением, что тому лучше бы взять академический отпуск и на время куда-нибудь слинять. Вот хотя б на Ангару, где можно написать роман, скажем, о нашей рабочей героической молодежи. И уговорил. Соколову удалось со-

брать деньжат, взять какую-то рекомендательную бумажку от студкома и уехать разнорабочим на стройку, на Ангару. Во времена Котошихина сюда ссылали на вечное поселение. Он сослал себя сам. И это, в какой-то мере, стало спасением. О нем забыли. А один рыбачок ему в тайге, у костерка, за ухой, поведал, как он расправляется с пойманной щукой, чтобы она, зубастая, не сиганула обратно в воду, ей нужно сломать шейный хребет. Для этого тело зажимают, а если огромная, то на нее прямо садятся... А потом зубастую голову гнут изо всех сил вниз, да вниз. Пока, значит, позвонки не хрустнут. Тут ей и кранты. Вроде бы еще живая, а шевельнуться не может, паралич наступил. А у нас и с человеком так бывает...

Может, рыбак намекал на свою судьбу: тут, вдали от центра, разные судьбы промелькивают. Но Соловьев-то примерил щуку на себя, ведь и его гнули. Гнули, гнули, а что если сломали? Он-то еще трепыхается, надеется вернуться в ту литературную водичку, где учился плавать. А книжку Котошихина, редкое издание конца XIX века, вместе с рукописью у него тогда забрали якобы для изучения. Да он ее наизусть помнил, особенно жизнеописание бедного подьячего, с которым так жестоко обошлась родина, а потом и чужбина.

Для острастки несколько страниц были опубликованы в периодике, только БОС чуть название перепутал. Статья называлась так: «Главный герой молодой прозы шпион и диссидент». Это был отрывок из романа: « Русский узник в тюрьме».

«...В южном предместье Стокгольма — Сёдермальме, близ крошечной церкви святой Марии, в темном кирпичном здании доживал свои последние дни бывший подьячий посольского приказа Григорий Карпов, сын Котошихина, известный тут, за пределами Московии, более под именем Ивана Селицкого. Это имя он придумал в одночасье, в ту черную августовскую ночь, когда, обойдя охранный стрелецкий пост, спавший беспробудно после очередного возлияния, перешел вброд крошечную безымянную речушку к западу от Смоленска, верстах в сорока

и ступил, никем не замеченный, на чужую, на польскую землю. И хотя потом был схвачен польскими солдатами и бесстыдно ими ограблен: у него забрали деньги, какие были, серебряный крест с груди и даже заветный сундучок с бумагами, который переворошив и не найдя ничего ценного, бросили к его ногам, — но он свято верил в знаки свыше и в счастливую судьбу, сохранившую тот сундучок с бумагами, которые были для него драгоценней денег и серебра, а может и самой жизни. Первые наметки его будущей книги. А шляхецкое имя Селицкого, названное по наитию, ибо он сюда и бежал, чтобы *поселица*, сохранил за собой и далее, пусть пришлось ему протерпеть и унижения и голодное безденежье во время долгих скитаний по Европе, пока не нашел свое истинно *селицкое* место.

И вот когда, казалось, все складывалось наивыгоднейшим образом он, как бывало не раз с другими русскими, глупо, беспричинно, по пьянке сорвался, натворил немыслимых бед и оказался в этой тюрьме, а судьба занесла над ним роковой топор, готовая по знаку чужеродных и равнодушных судий отсечь бедовую голову.

Право, тут и подумаешь, а можно ли сбежать от преследователей в лице, скажем, Юрия Алексеевича Долгорукого, но от себя-то... От себя куда убежишь? Готовится казнь, расправа без милосердия и за что же? За мгновения безумства, за вспыльчивость, ярость и помрачнение в приступе пьяного спора, последствия которых он и до сих пор до конца для себя не осознал. Хоть и выспрашивали настойчиво через польского переводчика на суде, на свейском языке, которым он так и не успел овладеть, о причинах столь страшной жестокости, за что зарезал человека, за какие такие слова или дела... Он же, потупясь, не отвечал. Не мог ответить! И роясь в потемках собственной души, сам не видел причины для убийства хозяина жилья, где его поселили. В памяти мелькали сцены драки. Как хозяин дома Анастасиус, вцепившись ему ворот и падая, потащил за собой на пол и все душил, не отпуская, произнося при этом по-русски грязные слова, и этот не к месту попавшийся под руку стилет, который он в

безумье и гневе воткнул в соперника... Но как это возможно объяснить? Так и промолчал в течение глупой и многословной судебной процедуры, которая, конечно, дура! Хоть этим западным ублюдкам из суда, восседающим за длинным столом, с их рассуждениями о правопорядке, о нормах поведения, наверное, все казалось *нормальным*, когда выносили смертный приговор. Совершил преступление (преступление, на которое единственно способен русский дикарь с востока) и должно за все нести ему жестокое наказание. Око за око, жизнь за жизнь. Но ведь и на Руси так. Только тут же не Русь, тут как бы цивилизация: они это словцо без конца тычут в лицо! В чем же тогда их цивилизация, в том, что цивилизованно на глазах публики отрубят человеку голову?! Так это и у нас умеют, да еще как! Еще ребенком с мамкой стоял на площади, где рубили голову боярину Шеину. И был на всю жизнь потрясен сценой казни.

Кто менее всего верит в кару, в неминуемую смерть, потирающую сладострастно руки у своей жертвы за спиной? Ну, ясно же кто — сам приговоренный! Невозможно, пока ты живешь и пока молод, еще молод в свои тридцать шесть, представить себя уже не собой, а как бы неодушевленностью, грудой костей и мяса, выброшенных в мгновение равнодушным человечеством на свалку! Да ведь я нужен, Господи, я еще вам всем нужен, слы-ши-те! Не торопитесь, подумайте, вы еще много раз пожалеете! Не вы, так другие, которые милостивее вас, потому что меня услышат. Прочтут. Или сиюминутность и ваши временные игры в справедливость дороже того вечного, что я для вас же и для всех других несу? Господи, помоги! Спаси! Не дай пропасть в расцвете замыслов моих... Ведь ты же один знаешь, сколько я перенес мытарств, начиная от прозябающего писаришки, растерявшего своих близких, и до поры, когда смог обрести себя для своего Главного дела в том уголке Европы, втором и последнем пристанище, чтобы воплотить свои давние замыслы. Сделать то, что никто до меня на Руси не делал и не смог бы, даже если бы захотел. Случаем или проведением именно он,

Котошихин, оказался в центре многих событий на перекрестке истории и, хотя был подмят и выброшен, но и по этому поводу не стоит гадать, везло ли ему или нет, ибо прорыв к главному в его жизни был безусловным везением. Нет худа без добра. Скверно, кто же спорит, неуютно, даже опасно жить в эпоху перемен, но лишь такое время способно дать творцу возможность ощутить историю из первых рук.

Его полукрестьянская, а потом служебная биография, со всеми навалившимися бедами, оборачивалась неиссякаемой золотой жилой в переводе на слова, на строчки, на страницы, на главы будущей Книги. Книги о России. Книги для России. Этим свейским укоротителям его жизни, а значит и его Книги, она-то на самом деле не нужна. Пусть заказчики, говоруны убеждают в обратном, никаким уговорам свейских толмачей и королевских прихлебателей он не верит. А то, что русская родина его отвергла, обозвав походя вором и писаришкой, так мало ли было таких как он, которых тоже отвергали, а потом возвращали, спохватившись и поняв задним, да еще и чужим умом, что они реальные свидетели того, что никому недоступно. Чаще это случалось за пределами их жизней; пророков нигде не любят, а уж на Руси тем более. Им подавай безопасную мертвечину!

Вот Крижанич Юрий, хорват, а может и не хорват, тоже прискакал в Московию с идеями государственного переустройства да всеславянского объединения. Котошихин из интереса разыскал тогда в престольной этого странного гостя: широкие плечи, усишки и маленькая, но умненькая головка. За бутылкой всю ночь о судьбах России толковали. Выяснилось, что тот успел встретиться с мудрым Нащекиным, да и самому батюшке Алексею Михайловичу свои мысли внушал и тот якобы внимал здраво. А кончилось-то чем? Кончилось ссылкой в дальний Тобольск, где захудалым писаришкой на нищенском жалованье без отлучки держат! В вечном голоде да прозябании, да вдали от центра. А кто, спроси, об этом несчастном хорватишке и об его просветительских идеях нынче-то слыхивал? Не только в Хорватии или престольной, но даже в

захудалом Тобольске. Где все, до последнего казака, спились от беспросветности и тоски?!

О шведах и говорить нечего. К чему им Тобольск с непризнанными гениями, им и своих хватает. Так кому, спрашивается, лучше из них двоих, ратующих за будущее России, в котором они из кромешной тьмы хотели увидеть просвет? Ох, не любим, не любим мы тех, кто наперед времени забегает.

— И это, говорите, литература? Это самая вредная агитка! — кричали на собрании.

— Агитация за что? Любая литература — агитка. Главное за что агитирует.

— А вот за то, чтобы знали, как туда бежать. И рукописи тайно перевозить. А потом эти рукописи против нас же навострят. И по «голосам»! И по «голосам»! Да что говорить, это же инструкция для побега, вот что это такое!

— А какой-то Крижанич — кто? Вы вчитайтесь, вчитайтесь... Это же отщепенец Сахаров в ссылке!

— А как он наших союзников поляков выставляет? Сплошь ворами да разбойниками?

— И шведы у него не лучше.

— У него все не лучше, кроме беглого преступника. Тоже нам, герой нашего времени! И автор туда же!

— Да! Да! Он, конечно, и себя Котошихиным ощущает. Сегодня у него роман в сундучке, а завтра, глядишь, вещает уже из Лондона иль откуда еще... Как его дружок Анатолий Кузнецов!

— Ну, вы как бы и правда сроднились с этим Кошкиным? — чуть игриво вопрошал БОС, поглядывая по сторонам. Нарочно, что ли, он коверкал фамилию.— А как вы относитесь к самому Алексею Михайловичу? Занятный мужичок-то был?

Слово «мужичок» резануло слух Соколова, но он понимал, что собеседник эпатирует и отвечал, что относится, в общем-то, положительно. У так называемого «мужичка» был вполне мужской характер.

— Вы хотите сказать, что царь был на уровне? А пишут «тишайший». Так разве бывает?

— Бывает. По своему времени даже очень... Радетель, хозяин, помещик... У него, знаете, сколько в личном владении землицы-то было... Ой-ой-ой! Но дело не только в земле. Он умел печалиться и радоваться. Но в трудное время мог и навести жесткой рукой порядок. На его царствование выпала и чума, и мор, и пожары, и Стенька Разин... Сын Петр от него много взял... Ну этого я не очень... А вот батюшка Алексей жил, как бы сказать, на переломе эпохи. От первых Романовых, еще не до конца осознавших свою мессианскую значимость, к императорскому жезлу... От архаики к новому правопорядку... Жить на переломе от старого века к новому страшновато, ибо не знаешь что впереди.

— Как сейчас? — вставил БОС.

Соколов, не отвечая, продолжил.

— Но спасибо Григорию Карповичу, который, возможно, единственный из современников этот слом во власти смог разглядеть и описать во всех подробностях. Чуток времени не хватило довести до конца свой замысел. Роман-то обрывается на каких-то свадебных обрядах. Уж ясно, что это никак не финал. Финал так и остался в отрубленной публично голове.

— Но может, он и сам до конца не понимал, что нам оставил? Приказали, вот и писал. А если бы не приказали?

— А я думаю, что понимал. Да нет, я сейчас не о нем. А вообще о людях, которые умеют свидетельствовать главное. Кстати, ведь и король, тот самый Карл XI, который в молодости, придя подростком к власти, Котошихина не догадался помиловать и сам в конце XVII века решением риксдага был признан как самодержец, который ни перед кем на земле (так и сказано в указе!) не отвечает за свои действия. Только перед Богом. Весьма и весьма напоминает трактовку Котошихина про своего царя-батюшку! Тот пишет, что после Ивана Васильевича царь обещал быть не жестоким и не палчивым (вспыльчивым, наверное?), без суда никого не казнить, а мыс-

лить с боярами и тайных дел не делать. А нынешний царь, Алексей Михайлович «письма», то есть обязательства, на себя не брал, его разумели «тихим», но правит по своей воле. Это все слова Котошихина, между прочим! Захочет мир или войну учинити, и з боярами, и з думными людьми спрашиваеца о том мало, в его воле, *что хочет, то и учинити может*. Вот его отец, Михаил Федорович, хоть «самодержцем» был, однако без боярского совета не мог делать ничего. Но кого *любит и жалует,* с теми Алексей Михайлович *советуеца*... Вот и спрашивается, не от Котошихина ли в поздние годы воспринял шведский король роль самодержца, после того, как ему перевели труд казненного им подьячего?

— А от кого эти... ну... наши «советские самодержцы» это восприняли? — поинтересовался живо БОС. — А, вообще говоря, ваш Кошкин мне нравится... Он и для будущей книги мог бы пригодиться!

Соколов ничего не ответил.

— А как он на королевскую службу-то попал?

— Как все.

— По блату?

— Ну, тогда говорили по-другому. По протекции.

Как известно из биографии, бежавший в Польшу подьячий посольского приказа Григорий Карпович Котошихин (впоследствии он взял себе новое имя — Иван Селицкий), по протекции рижского генерал-губернатора фельдмаршала Гельмфельда был препровожден в Стокгольм. В письме шведскому королю Карлу XI, тогда совсем еще молодому, подьячий довольно пространно описывает причины своего бегства. «Я родился в России и крещен во имя Отца и Сына, и Святого духа. С самых юных лет служил верно и усердно его Царскому Величеству в Посольском приказе, сперва писарем, потом подьячим, между тем, неоднократно был посылаем с посольствами для заключения мирных трактатов со Швецией и Поляками и однажды послан был послом к Вашему Королевскому Величеству. В последнее время, когда я находился при заключении Кардиского договора, у меня отняли в Москве

дом со всеми моими пожитками, выгнали мою жену и детей, и все это сделано за вину моего отца, который был казначеем в одном московском монастыре и терпел гонения от думного дворянина Прокофья Елизарова, ложно обвинившего моего отца в растрате, что впоследствии не подтвердилось. Я вернулся из Кардиса (деревня между Дерптем и Ревелем) и сколько не просил о возврате моего имущества, никто не озаботился о том».

И это при том, что сам Алексей Михайлович счел, что в переговорах с «искусными и спесивыми дипломатами Речи Посполитой» такой человек — ловкий и деловой, как Котошихин, может быть полезным. Хотя подьячих в посольском приказе было более десятка. Далее Котошихин сообщает, что был призван снова в войско князя Якова Куденетовича Черкасского, которого при отзыве в Москву заменил князь Юрий Алексеевич Долгорукий. Этот князь «...через подьячего Мишку Прокофьева „улащивал", чтобы я согласился написать к нему, что князь Яков Куденетович сгубил войско царское и дал возможность королю скрыться в Польшу... Князь Юрий обещал мне исходатайствовать повышение и клятвенно обязывался помочь дому отца моего. Не веря искренности сладких посулов князя Юрия и не имея ни малейших позывов оклеветать князя Якова, я не захотел против совести писать к первому и быть ему пособником в деле неправом... Быв в таком затруднительном положении, сожалея о том, что не возвратился в Москву с князем Яковом, а еще больше горюя о худой удаче мне на службе царской, в которой за верность и усердие награжден был при безвинном поругании отца моего и, принимая во внимание, что если бы я вернулся к Долгорукому в армию, то меня по всей вероятности ожидали бы там его злоба, а то истязания и пытки за неисполнение его желания вредить князю Якову, я решился покинуть мое отечество, где не оставалось для меня никакой надежды...»

Но мало ли видных и невидных сынов России могли повторить после с горечью эти слова, вплоть до нашего двадцать первого века, покидая навсегда свою неблагодар-

ную родину?! И что же, все они теперь воры и изменники?

А это произошло в конце лета 1664 года. Стоит добавить, что еще прежде, за неточное написание титулов Алексея Михайловича, наш подьячий был бит батогами по личному указу царя. Удостоверим, что так в царском указе и прописано: «...И как к вас сия грамота придет, и вы б впредь в отписках своих и во всяких наших делах, которые будут на письме, нашего ВЕЛИКОГО ГОСУДАРЯ наименование и честь писали с *великим остерегательством* (подчеркнуто Соколовым), а вы, дьяки, вычитали всякие писма не по единожды. А подьячему Гришке Котошихину, который тое отписку писал, велели б за то учинить наказание, бить батоги...»

А после бегства в документах Приказа будет отмечено, что «Григорий Котошихин... своровал и отъехал в Польшу». Имелось в виду, что он прихватил что-то из казны посольского приказа. Но и это была ложь. Как сказал один из современников нашего подьячего князь Хворостин, который в тайной книжке, найденной у него, написал о тоске по чужбине и жаловался, что в Москве людей нет, все люд глупый, жить не с кем... «сеют землю рожью, а живут все ложью». Так вот он еще написал, что облить предателя грязью было у нас, на Руси, во все времена нормой. Бежал, значит, вор. Попробуй, издалито, докажи обратное!

Но прежде, чем беглец достиг Швеции, новгородский губернатор воевода князь Ромодановский потребовал по тому самому «вечному» Кардискому договору изменника и писца (вот уж и унизили и понизили, был-то подьячий!), того самого Гришку прислать с конвоем в Новгород. Где его бы пытали и казнили. Но сметливые шведы переговоры затянули, и Котошихин благополучно достиг Стокгольма, где был принят на королевскую службу с ежегодным жалованьем триста ригсдалеров серебром.

Заботами человека придворного — канцлера графа Магнуса Габриеля де ла Гарди «русский Юхан Александр Селицкий» (где-то в документах из архива он был обозначен как Силицкий, Селицки или даже Зелецкий), был

причислен к штату чиновников госархива и по решению канцлера приступил к работе над книгой о России. Естественно, шведов в первую очередь интересовала не история соседней Московии, а ее экономика, устройство ее армии.

Заказанную книгу Котошихин закончил через полтора года, уже сидя в тюрьме, в ожидании казни, на которую был осужден уголовным судом в конце 1667 года. Но уже невозможно определить, был ли завершен труд, как он замысливался, ибо последняя, тринадцатая глава о житии бояр дает материал лишь о быте москвичей в области угощения и женитьбы. Самые существенные стороны из жизни знати, обещанные в тексте автором, так до конца и не отражены. Но вот что занятно: народные, сочно нарисованные картинки из быта москвичей, приготовление угощения и прием гостей с употреблением зелья, но особенно семейные бранные сцены из последней главы, странным образом совпадают с последующими событиями в заграничной жизни самого автора.

В предисловии к шведскому изданию об этом сказано так: «Достопочтенный Селицкий имел несчастье впасть в непреднамеренное преступление: он лишил жизни своего хозяина Даниила Анастасиуса, переводчика с русского языка в Стокгольме. Самое ничтожное обстоятельство вовлекло его в это преступление. Анастасиус подозревал Селицкого в порочной связи со своей женой Марией Валентиновной и, однажды, это случилось 25 августа, быв оба дома в нетрезвом виде, они заспорили между собой: начались с обеих сторон упреки и брань. Селицкий в запальчивости нанес Анастасиусу четыре смертельных удара испанским кинжалом (стилетом), который в это время имел при себе...»

Далее из судебных протоколов следует, что он бросил стилет на стол и шагал из угла в угол, не собираясь никуда бежать и ожидая охрану. Из его слов на суде следует, что он был готов покончить с собой, но охрана не дала этого сделать. И хотя смертельно раненый Даниил Анастасиус перед смертью, а он скончался через 14 дней, простил постояльца, его супруга на суде заявила, что они

восемь месяцев содержали русского гостя, предоставляя ему все необходимое: постель, свечи, дрова и стирку и она просит суд, чтобы власти учли задолжность Селицкого (из расчета 30 ригсдалеров в месяц), еще выдали деньги, истраченные на похороны мужа, а у нее остались двое малых детей, а также наказали жестокого убийцу по всей строгости.

Суд не принял во внимание обстоятельства, приведенные Селицким, которые бы смягчали его вину. К тому же русский посланник, прибывший в Стокгольм, потребовал выдачи так именуемого Селицкого русским, но ему было заявлено, что к сожалению человек, создавший такой замечательный труд, оказался убийцей и он должен понести наказание. Смертный приговор был утвержден высшим судом. По этому решению Котошихин должен был положить свою голову под секиру палача. Единственно на что он мог после этого рассчитывать, это на помилование короля.

Лихой, видать, человек был наш подьячий. Носил стилет, любил пропустить чарку-другую и, наверное, обожал женский пол. В предисловии к первому изданию на русском языке говорилось «о необузданных страстях и безнравственной жизни бывшего подьячего, которые довели его до гибели». Жестоко, но вряд ли справедливо. Да и где тот суд, который принимал скоропалительное решение по горячим следам?! Века минули, можно и без эмоций бы. Кстати, из архива известно, что король Густав III сообщал о рукописи Котошихина еще Екатерине II, которая будто бы собиралась ее переписать. Не переписала. А жаль. Поиски рукописи отложились еще на сотню лет.

Первоначально труд назывался «О некоторых русских церемониях». Но, будучи переведенный на шведский язык, он обозначался как «Описание московского государства, различного сословия людей в нем находящихся и их обычаев как во время радости, так и во время печали, а также описание их военного дела и домашней жизни». Уже в 1669 году этот труд, как обозначено в предисловии, имел широкое хождение в списках среди

шведской знати. Еще бы, несчастная родина подьячего, не только Швеция, не имела к тому времени ничего близко, подобного тому труду.

Там же, в Упсальской библиотеке, в 1838 году профессором Гельсингфорского университета С. В. Соловьевым была обнаружена рукопись Котошихина и вскоре издана малым тиражом в России. Можно добавить, что в каталоге среди лиц, имевших доступ к рукописи, можно насчитать за пятьсот с лишним лет не более двух десятков читателей и среди них увидеть лишь несколько имен из России. В последнее, двадцатое столетие, вообще единицы, что не странно: кому нужна российская история, которую мы и сами можем пересочинить на любой вкус!

Глава седьмая

Дима

БОС посмотрел на часы, давая понять, что со временем у него туговато. Часы, собеседник не мог не обратить внимания, были знаменитой фирмы «Ролекс». Но и все остальное подстать часам: костюмчик — серебристо-серый в рубчик, легкий, но никак не курортный, белая сатиновая сорочка, яркий шелковый галстук и модные остроносые ботинки цвета парного молока. Лицо собеседника, теперь было время разглядеть, показалось слишком обычным, без особых примет, только чуть анемичное. Если он и улыбался, то вся улыбка была лишь в губах, глаза при этом оставались неподвижно холодными. И этим он снова напомнил бывшего комсомольского деятеля Соловьева, которого видел в молодости Александр Семенович. Видел, правда, из зала, когда тот всходил на трибуну. Ему тогда посмеиваясь, приятели не раз говорили, что он почти двойник Соловьева, разница только в улыбке. У того, мол, мраморное лицо.

БОС по мобильнику вызвал Диму, и тот тотчас явился, будто ожидал за кустами.

— У меня здесь дела, Александр Семеныч. Вы не представляете, сколько дел, — сказал торопливо БОС. — Передаю вас в надежные руки, Дима все равно, что я, Он ответит на все ваши вопросы. Счастливо.

Они присели на ближайшую скамейку возле живописного фонтана. Здесь всегда толкалось много гуляющих, особенно крикливой детворы, но в этот жаркий полуденный час было совсем пусто.

— Ну, в общих чертах о книжке вы уже знаете? — спросил Дима.

— Все это неожиданно. Но я рад, я рад...

Это были первые слова, что пришли Соколову на ум. Заговорил он не сразу и почему-то пустился в длинные объяснения о том, что в подписанном договоре не была указана фамилия будущего героя, и он совсем не представлял о ком и о чем будет будущая книга и это, понятно, смущало. Тем более и в издательстве, где он попросил сотрудников предоставить ему для ознакомления хоть какие-то материалы, например, биографию героя, то есть, насколько он теперь понимает, биографию Бориса Осиповича, тоже ничего не смогли дать. Но теперь, когда все определилось, он сможет, наконец, приступить к работе. Договорные сроки, понятно, будут им соблюдены.

— А вам это сейчас по силам, Александр Семеныч? — вдруг спросил Дима. В его голосе послышалась озабоченность.

Вопрос удивил Соколова. Что имелось в виду? Болезнь? Но о ней знали немногие.

— По силам, — почти сразу ответил он. И повторил. — Мне по силам. Я умею быстро работать. Хотя пишущую машинку на этот раз взять не догадался, компьютер для меня тяжел. Да и ехал-то, извините, отдохнуть!

— Это не проблема, — отмахнулся Дима. — Главное, вы готовы. Тогда будем считать вопрос исчерпанным.

— Не совсем. Но где материалы? Биография? Я смогу от вас что-то получить? И потом...

— Да, я вас слушаю.

— Хотелось бы задать БОСу какие-то вопросы...

— А зачем вам его биография? — спросил Дима с вежливым любопытством.

— Как же иначе? Нужна же какая-то основа для книги? Скажем, воспоминания детства, главные события жизни, родители, дети...

— Да не нужно никакой основы, — довольно категорично перебил Дима. — Садитесь и пишите.

— Что писать?

— Да что хотите! — И помолчав. — А какой вам нужен материал? Ну, ладно, ладно. Я согласен, если таким материалом будет, скажем, чья-то жизнь.

— Чья?

— Ну, к примеру, ваша.

— Моя?! — Александр Семенович даже поперхнулся. — Как это моя? Почему моя? Вы шутите!?

— Нет, не шучу.

Весельчак и улыбчивый красавчик Дима на этот раз, кажется, и правда, не шутил. Странно, но они будто разговаривали на разных языках. Или как глухой с немым. Один про Фому, другой — про Ерему.

Надо бы этому богатенькому чудаку, а они попадались нашему литератору разные: и придурковатые, даже чудные, но не до такой степени, растолковать, разобъяснить, что он, Соколов, профессиональный литзаписчик, а никакой не беллетрист, который все может высосать из пальца. Он не привык, чтобы у него под рукой для работы ничего не было. Это все равно, что строить дом из воздуха вместо привычных кирпичей. Он написал десятки книжек и при разности требований сам принцип работы был одинаков: записывал то, что ему люди рассказывали о себе. Рассказывали, иной раз, ужасно, да еще, если каша во рту. Иногда сочиняли, привирали, дурно придумывали. Или, как нынешние депутаты, были косноязычны и бесконечно болтливы. Но и в этом так называемые герои по-своему самовыражались. Его же задача состояла в том, чтобы рассказанное освоить, переварить, привести в надлежащий порядок и преподнести потенциальному читателю в удобоваримом виде. Но то, что предлагалось сейчас, было не просто несуразным, а абсурдным.

— Уважаемый Александр Семеныч!

Он вздрогнул, когда его собеседник с мягкой доброжелательной улыбкой нарушил долгую паузу. — Бога ради, не считайте меня таким уж профаном, каким, наверное, кажусь. Я, как и БОС, и даже раньше его, прочитал все или почти все, что вы написали. Иначе бы никакого договора на нашу книгу не было. И этого разговора тоже. Понимаете, да? Вы мастер, и нам это известно. Вы умеете кроить и перекраивать чужую жизнь. Подчас делать из, простите, говна —конфетку. Но, в дан-

ном случае... — Он повернулся, вглядываясь внимательно в лицо собеседника. — Да, так вот, на этот раз вы будете лепить образ, то есть создавать героя, как говорят ваши коллеги, с чистого листа. А что, собственно, вас смущает?

— Но биография БОСА вовсе не чистый лист, — возразил Александр Семенович нервно.

— Да? Вы так уверены? А вот подскажите... За Брежнева, за бывшего генсека Леонида Ильича, кто у вас там из летописцев сочинял книжки? Кто придумал его героическую биографию? Вы-то уж точно должны знать?

— Кое-что знаю, — нехотя признался Александр Семенович.

— Но сами-то вы, говорят, писать всю эту бодягу отказались? Или все-таки поучаствовали?

— Нет. Никак не поучаствовал.

— Честно?

— Я лгать не привык.

— А вам, правда, предлагали? Почему же отказались? Сейчас бы все имели. И деньги, и дачу, и машину.

Соколов не ответил.

— И не пришлось бы заниматься поденной работкой. Не так ли?

— Может и так. Но какое, простите, отношение это имеет к нашей книге? — поинтересовался Александр Семенович, внутренне раздражаясь. Но тут же поправился. — К вашей, вашей книге?

— Имеет, — произнес Дима твердо. — Вот не могу представить, чтобы ваш брат сочинитель, кроме официально утвержденной и тоже, в общем, мифической биографии почившего в бозе генсека, что-то имел еще в качестве, как вы называете, материала. Разве что газетные публикации, выхолощенные, как дистиллированная вода. Ведь, признайте, что его так называемая биография создана лишь авторским воображением. Да, конечно, генсек был видным мужиком. Но как теперь признают его сподвижники, ужасно вальяжным и ленивым. Только охоту да автомобили обожал. Про баб не знаю. Оттого и время его правле-

ния современники прозвали «временем болотного цветения». Такая-то биография!

— Но некоторые вспоминают о нем с удовольствием — Заметил Соколов. — С челюстью там проблемы... Спросите, вон, Зяму, он вам расскажет анекдотец про «сосиски сраные», что означало при озвучивании генсеком «социалистические страны».

— Ну вот, уже легенда! — воскликнул Дима.— Говорят иногда про кого-то: «человек-легенда». Это я к разговору о сочинениях и сочинителях. А я утверждаю, что людям свойственно верить в легенды больше, чем в реальность. Вся наша жизнь, как и история, вылеплена из легенд! Хотя бы эта, как вы называете, «игра» в короля Мармелажку! А Василий Иванович Чапаев кто? Герой Гражданской войны, что ли? Он герой анекдотов. По анекдотам его и помнят, а то бы как Щорса или Салавата Юлаева забыли. А Франко, который Испанию от коммунистов спасал? Ну что вы о нем знали, если бы не Хемингуэй! И расхожей фразы «...над всей Испанией безоблачное небо...» А он церковь — мавзолей такой отгрохал в скале, я ее видел, а рядом с собой положил — по одну руку франкистов, по другую республиканцев. Считайте, создал для будущего о себе легенду. Свою легенду. Свою. Не ожидая, когда его распотрошат потомки.

— Но это все спорно, — без энтузиазма, скорей для приличия, произнес Соколов. — Вы знаете, что сказала Анна Ахматова?

— Что она сказала?

— Да есть у нее стихи. Вам интересно?

— Конечно.

— Ну, слушайте: «...Ржавеет золото и истлевает сталь, крошится мрамор, к смерти все готово, всего прочнее на земле печаль, и долговечней — царственное слово...»

— А я что говорю! — воскликнул Дима. — Что я-то говорю. Вот Сталин, не Франко, он сразу понял, что не мавзолей надо строить, а легенду о себе создавать!

— Ну, мавзолей-то он тоже построил,— возразил опять же без особого пиетета Соколов.

— Да. Но главное — легенду! Он не брезговал встречаться с писателями, в том числе с зарубежными. Андре Жиду или кому там еще мозги запудрил. А сколько о нем песен, стихов, пьес, кино и т. д. И все, все легенда же! Как душевно выводил народный хор Захарова: «На дубу высоком, да над тем простором два сокола ясных вели разговоры, а соколов этих люди все узнали, первый сокол Ленин, второй сокол — Сталин...»

Он даже попытался пропеть, но оборвал. Самому стало смешно.

— Каково звучит, а? — спросил, скаля зубы.

— Легенда, — невольно согласился Соколов.

— А вы говорите золото... мрамор...

— Это не я сказал,— возразил Соколов.

— Чтобы вы не написали, все равно это будет легенда, — сказал Дима вставая. Но, понятно, меня устраивает в этом плане не Франко, а прозорливость Сталина. Вы меня поняли? Я о книге!

— Да. Кажется, понял.

— Тогда работайте. Кстати, я буду вашим непосредственным редактором. Мы слишком большое значение придаем этой книге, чтобы кому-то ее доверить. Главное создать, как у нас говорят, социальные условия, годные для работы. И произведем ченч. У нас еще приговаривали: махнемся не глядя. Вы, к примеру, мне историю первой любви, а я вам... Что-нибудь тоже стоящее.

— Это стоит дорогого,— попытался отшутиться Соколов.

— Конечно. Ведь любовь же! Но мы найдем эквивалент,— уверенно подтвердил Дима все с той же улыбкой.— Считайте, что достаточно высоко оцениваю ваши чувства, касаемые первой любви! Есть институты, есть врачи, у которых не возникнет вопроса, где доставать четыре порции крови редкой группы за три дня до операции!

Вот тут Соколов чуть не выругался вслух. О крови-то откуда они знают! Такая буря в душе поднялась, что он чуть не задохнулся, как от неожиданного удара. Только и смог произнести:

— А если откажусь?

— Вольному воля. Но гонорар вы получили сполна и по закону? Он вас устраивал?

— Да. — И чуть помолчав. — Устраивал.

— Так что вас смущает? Ей-богу, вы напрасно комплексуете. Ведь и классики не брезговали торговать святым. «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать...» Сам Пушкин, не так ли? Ваша рукопись, мои деньги.

— Деньги издательства, — напомнил Соколов.

— Оно, ваше величество, нам принадлежит. И аванс вы получили из этих вот ручек. Вот этих самых! — И он хлопнул ладонью об ладонь.

— Значит... И — путевку сюда?

— И путевку сюда. И этот коттедж для секретарей.

— Не знал.

— А вам и знать незачем. Пустячок, между нами говоря. Так что не привередничайте, ваш нелегкий характер всем известен. Идите и погружайтесь. Так у вас, кажется, говорят?

— На дно? — уточнил язвительно Соколов.

— На глубину,— поправил деликатно Дима. — Извините за высокопарность, но разговор-то у нас, кажется, о любви идет, так что можно и так сказать: на глубину души.

Заключил он вполне мирно:

— Память у БОСа еще ничего, но... Его жизнь, действительно, никого не касается... Даже вас... — Он подумал и странно добавил: — вас тем более. Да и с чистого листа, посудите, легче писать. Над вами не будет тяготеть чу-жо-й материал. Ну, а с ва-ши-м ли-ч-ным материалом... — Он помолчал, разглядывая зеленый уголок, где они присели на решетчатую давно некрашеную скамейку рядом с фонтанчиком: гипсовый мальчуган держит за спиной лягушонка, а мама-лягушка, сложив молитвенно лапки, просит вернуть малыша. Мальчик лукаво улыбается, но, конечно, он вернет ей лягушонка. И любой отдыхающий в пансионате ребенок, глядя на животворный фонтанчик, сразу же поверит в чудо свершившейся доброты. Ох, как в нее верил Александр Семенович, попав сюда

много лет назад. Его пятилетняя дочурка, сжимая крошечные кулачки, сердито кричала: «Ну ты, поганец, отдай лягушонка! Слышишь?! Я тебе говорю: отдай! А то я сама возьму!»

Но сейчас не об этом. Только не об этом. Это все из того прошлого, которого наш герой боялся больше всего. Но, слава Богу, и его собеседник позабыл о нем, застопорившись на оборванной им фразе. На самом же деле, в чем мы скоро убедимся, Дима никогда и ничего не забывал.

— С вашим, — повторил он, глядя теперь на собеседника в упор и чеканя каждое слово, — материалом... Я имею в виду лично ваш жизненный опыт. Надеюсь, тут и без меня справитесь. Желаю успехов.

Он попрощался и пошел по аллее, залитой ярким светом — стройный, спортивный, молодой. У него была легкая пружинящая походка, солнце отсвечивало в его кудрях. А Соколов смотрел вслед, но думал сейчас не про Диму, а про БОСа, о котором он не должен бы ничего знать. Но теперь был уверен, что БОС — тот самый комсомольский деятель из времен его молодости. По словечкам узнал. Очень он любил приговаривать: «авторитетные люди нам указали». Солидно, а шут его знает о ком и о чем идет речь. Конечно, Соколова он знать тогда не мог, слишком по-разному они жили. Но вряд ли об этом нужно напоминать.

Однажды он пришел к БОСу на квартиру, чтобы отремонтировать приемник. Было такое голодное время, когда Соколов ремонтировал радио- и бытовую технику на дому. До литзаписей его еще не допускали. Жил БОС и в ту пору недурно: огромная квартира в доме близ площади Маяковского. В простонародье «Дом чекистов». Длинный предлинный коридор и комнаты, комнаты... Встретила его женщина в халатике, приветливая такая, наверное его жена. Провела в одну из дальних комнат, кажется, в кабинет хозяина, где стоял вышедший из строя японский магнитофон. Соколов по виду определил, что, скорее всего, это из распределителя. У секретаря Рабиса Федота

Федотовича в кабинете такой же стоял. А БОС, который тогда был лишь Борисом Евстафьевичем, заглянул и спросил «ну как?» и тут же исчез. Поломка была пустяшная. Соколов дождался хозяйки, принял деньги и ушел. Но пока Соколов ждал хозяйку, успел рассмотреть кабинет. Не каждый день приходишь к деятелям такого ранга, да еще домой. Он слышал, как БОС, собираясь, крикнул: «Анюта, я ухожу. У меня посольство, там какие-то иностранцы прибыли, буду обхаживать и делать улыбку на лице...» Он так и сказал: «иностранцы».

— А что они хотят? — спросила Анюта.

— Хотят видеть нашу Балтию... Ну, у меня там все схвачено. Такое хозяйство рыболовецкое в зоне погранзаставы, чтобы лишних глаз не было. Специально для них организовано: и рыбка, даже угорек, и охота, будут довольны. Главное напоить до усрачки!

— Они разве пьют?— спросила Анюта.

— Это они у себя не пьют, — засмеялся он. — А у нас, да на халяву, хлещут еще как!

— Ну, пусть хлещут, ты сам-то не пей, — увещевала его Анюта. — У тебя сердце...

— Ладно, ладно,— сказал он и громко хлопнул дверью.

Специально или нет, но БОС затронул в разговоре довольно болезненную тему, когда спросил собеседника о том, как создавались книжки Брежнева. «Вы-то должны знать». Он, и правда, знал немало, особенно о самой первой, более знаменитой книжке. Она была вершиной, пиком того жанра, который он много лет осваивал, а ее идея родилась в головах партийных бонз где-то там, на самом верху. Так высоко он никогда не залетал. Но некая небесная благодать, связанная с этой идеей, легким голубиным крылом коснулась на мгновенье и его жизни.

К тому времени он издал с десяток книжек, и за кого только не писал: за маршалов, за деятелей искусств, за директоров фабрик и заводов, и пр. и пр. Этот странный жанр литзаписи родился в нашей стране в далекие тридцатые годы, когда требовалось героизировать действитель-

ность, создавая пафосные книжки о трактористке Гармаш, о шахтере Стаханове, полярнике Папанине и так далее. В силу малой грамотности сами о себе писать они, конечно, не могли, зато могли более или менее внятно поведать подробности своей жизни. Создавалась индустрия литературно обработанных биографий, своего рода мифотворчество, а для этого нужна была армия грамотных обработчиков — ремесленников от литературы. Сюда же примыкали те, кто в силу идеологических проблем и всеохватывающей цензуры не вписывались в общепролетарскую литературу, им разрешалось творить за других и под другими именами. Литзапись существовала рядом с обычной книжной продукцией почти узаконено. Но она позволяла прокормиться тем, кому нельзя было публично высовываться со своим именем. На обложке обычно красовалось имя героя, от лица которого велось повествование.

Вот и в книге о Брежневе, о которой упомянул БОС, автором обозначен, конечно, лично он, Брежнев. Литературные бонзы ему и писательский билет торжественно преподнесли под номером один за его уникальный литературный талант. Но, впрочем, кто-то из литераторов, побывавший в недавние времена в Северной Корее, утверждал, что и там авторства на книгу не существует, ибо именным автором в тоталитарной стране может быть только один человек: верховный вождь. Он же единственный, как он себя назначил, главный писатель.

Александр Семенович не заметил, как в раздумье сделал несколько кругов вокруг фонтанчика с мальчиком и лягушонком. Опомнился лишь, когда появились дети. Первой мыслью было пойти на почту и отписать Алене о ситуации с отдыхом, которая коренным образом изменилась, и о том, что, возможно, он вернется скорее, чем предполагал. Монпасье изменилось, да все поменялось не в лучшую сторону. Но прежде чем что-то решать, надо было принять душ и прийти в себя. Обед прошел, а возвращаться в «Чайный домик» ему не захотелось.

Прихватив плавки, он спустился к морю, сегодня чуть шумноватому. Белые гребешки на горизонте и легкий ше-

лестящий накат на линии прибоя у самых ног. Окунулся, но не ощутил той счастливой радости обновления, которую, наверное, чувствует каждый в момент первой встречи с морской стихией. Народу на пляже оказалось мало, а из знакомых, слава Богу, никого, кто мог бы сейчас узреть тщательно скрываемые под одеждой исколотые в больнице руки и три огромных, в полметра, шрама.

Распластавшись на горячей гальке, попытался отвлечься, как от наваждения, от всего, что сегодня произошло. Та самая история с заказом на книгу о Брежневе, и правда, могла бы стать судьбоносной в его жизни. Но не стала. И вспоминать об этом не хотелось. Сейчас его беспокоила другая книга, та, которую он должен написать. А долг, как известно, платежом красен.

Парторг московского отделения Рабиса Михаил Евгеньевич Бражников вдруг нагрянул к нему в однокомнатную келью, разыскав ее среди тысяч однотипных хрущеб в Черемушках, где он в последнее время проживал. Строения эти в народе еще именовались блочнощелевыми и даже срачноблочными. Про удобства же говорили, что в этих домах сидячие ванны, зато лежачий унитаз. Соколова все эти мелочи никак не волновали.

Михаил Евгеньевич — северянин, к тому же фронтовик, к тому же тяжеловес, с этакой массивной медвежьей статью, войдя в малогабаритку, сразу заполнил ее собой; можно лишь представить, как ему доставалось на передовой ютиться в тесном окопчике. Он прошел всю войну, имел ранения, написал правдивую повесть о ней, но вот словом владел не очень здорово. Раз и другой, сильно смущаясь, просил более опытного Соколова выправить его текст, что тот по дружбе и делал. А тут позвонил торопливо по телефону и довольно скоро объявился; с порога выложил коньяк и баночку красной икры — фантастический дефицит по тем временам, который он мог добывать в отделе распределения ГУМа, где его фронтовой товарищ работал завсекцией.

С порога было видно, что он сильно взволнован. Опрокинув рюмку, потом сразу другую, тут же перешел к

делу. А дело-то необычное: в Рабис поступило по партийной линии указание сверху найти подходящего автора-очеркиста, который мог профессионально написать биографическую книгу о... «Ну, сам сообрази о ком!» И Михаил Евгеньевич поднял палец вверх.

— Я сразу о тебе подумал. Ты сможешь. У тебя, как выражаются, золотое перышко в кармане.

«У меня дыра в кармане, да вошь на аркане», — вот что подумал наш герой, но вслух не произнес. Он выпил и похвалил коньяк. Оба они знали, что у Александра Семеновича кроме «перышка», еще и «фига в кармане». Так о нем кто-то из руководителей Рабиса высказался публично. Давно. Но кому надо, те помнят.

— А я с утра так разнервничался, что не смог ничего делать, — торопился высказаться гость. — Еще представил, что через день-два пройдет слух о халявном заработке, да каком! и ринутся блатные да графоманы, посыпятся звонки. Так я решил сразу к тебе. Сейчас еще выпьем, и я побегу просигналить наверх, что дело сделано: автор уже есть, с опытом и книжками, и готов хоть сегодня исполнить заказ. Ну не сегодня, так завтра!

Соколов не помнил, сказал ли он тогда — заказ, а может наказ, а может — приказ. В армии по такому поводу у них острили: совет начальника — приказ для подчиненных. Будем считать, что это был пока только их совет. Устами парторга ему со-ве-то-ва-ли извлечь из кармана упомянутое стило и быстро-быстро накатать нетленку. А под нее, небось, уже и бумага самая лучшая, финская мелованная на складе, и редакторы на стреме, и рабочие у типографских станков. И все в нетерпении, потирая руки, ждут. Ну когда? Когда? Когда? А ведь кто-то из литературных собратьев в это же время носит годами доброкачественную прозу по редакциям из двери в двери, а ему тычут в лицо фигой: «Вас тут, любезный, не стояло!». Да Соколов и сам, после публичного обличения, бился об эти отказы, как птица о стекло. Иной раз что-то пробормотывали про кризис в стране с бумагой, со сверстанными на ближайшее десятилетие планами, но чаще и не считали нужным объясняться. «Не подошло» —

и весь ответ. И вдруг, гром среди бела дня: книга о Самом! А как она выйдет, можно не сомневаться, они даже собрание сочинений проглотят, все возьмут, если заказная книга понравится.

При самом горячем преклонении перед гениальным Булгаковым не верил Соколов словам, которые как бы имели к нему прямое отношение: «Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут». Он никогда и не просил, но не потому, что ждал, когда же сами придут, а просто не верил, что так бывает. Время другое, когда надо все время ходить и просить. Но, правда, и тогда... Тогда тоже не предложат. И в этом он был уверен. Но вот, предложили же!

— Давай-ка выпьем? — сказал, наполняя рюмки. Разлил и рука не дрогнула.

— Значит, так. Мы договорились? — торопил парторг Михаил Евгеньевич. Принял в себя последнюю рюмку и, шумно вздохнув, вытер ладонью мокрый лоб. Седая шевелюра от возбуждения наэлектризовалась и стояла торчком. Можно было представить, как он, бедный, переволновался. Да было отчего. Случай-то такой, наверное, первый в истории словесности. А что бы, интересно, его герой Григорий Карпович на это ответил? Вот пришли бы к нему от думского боярина и предложили: валяй, мол, братец, хвалебную книжку об Алексее Михайловиче, а мы тебе и дом обратно, и чин, и шубу соболью в придачу...

— Миша! — подал голос Александр Семенович. Очень странно он прозвучал. — А ты уверен, что «они» меня захотят? Что я «им» нужен? Они же не дураки!

Для него, беспартийного, парторг вовсе не был парторгом, а был старшим другом Михаилом, Мишкой, Мишелем, с которым и выпить могли, и за грибами сходить, а за бутыльком на кухне вообще покрыть этого самого будущего героя с его невнятной дикцией нелучшими словами.

И он повторил, но уже чуть по-другому и гораздо увереннее.

— Миша! Они «там» («там»!) начнут копать в моей биографии и все припомнят. Припомнят, что было и чего не было. Неужели ты не понимаешь?

— А что было-то? Дипломная работа об этом шпионе, что ли?

— Да. О Котошихине. Он не был шпионом. Но все равно.

— Пусть скажут! Но они не скажут! Им результат нужен, вот что. А результат, вот он! Книга! Да какая!

Шумно вздыхая, хрипловато, у него от переживаний теперь и голос сел, Михаил Евгеньевич стал убеждать, что это как знак судьбы... Это спасение, прорыв, возвращение из небытия... «И если не понимаешь, просто дурак!»

Да, так и было. Он в тот день чуть не покрыл дружка матом. Он просил, умолял, кажется даже заплакал от обиды. Вот как он переживал. А друг-то, и вправду, такой дурачок, кочевряжился. Напоследок, уже от дверей, он что-то прокричал про фронт и про то, что все вы, молодые — слабаки, и где уж вам защитить страну, если вы себя защитить не умеете!

С тем, хлопнув дверью, ушел. И долго сердился и не отвечал на звонки. А нужного очеркиста они, конечно, быстренько отыскали. И книжка у него испеклась быстро, точно такая, какую заказывали. Александр Семенович ни в жизнь бы не смог такую написать. Ложь на лжи и ложью погоняет. А однажды в буфете, за рюмкой, встретив своего дублера, хотя тот об этом не догадывался, порасспросил для интереса, как ему работалось и трудно ли было сочинять биографию, которая не существует, да еще заочно... Или все-таки удалось, хоть разочек, встретиться с Самим.

— Ну, что вы, что вы, — отмахнулся он, но тон понизил и с оглядкой продолжил, что все делалось через помощников. Примут, прочтут, поправят, опять прочтут. Какие-то записи выступлений, доклады приносили, но что от них толку. В них одни общие словеса. Только все скорей, да скорей. К определенной дате торопились. А как закончил, тут же рукопись унесли.

— И не поблагодарили?

— Почему же. Спасибо от Самого передали. — И автор снова оглянулся.

Как на самом деле отблагодарили, стало известно потом. Посыпались гонорары, переиздания его книжек, заграничные поездки и т. д.

А с Михаилом Евгеньевичем они как бы снова сошлись, но вскоре тот умер. Случилось, что купил «Жигули» и с трудом для своего возраста впервые освоил машину. И вдруг сообщили, что посреди Москвы врезался в бетонный столб и его обнаружили за рулем мертвым. Думали авария. Но врачи констатировали, что смерть случилась раньше, и умер он от инфаркта еще во время движения автомашины. Умер и унес их общую тайну навсегда с собой.

Глава восьмая

Зяма

Открытие сезона приурочили к 22 июня. Трагический день начала войны, но он же народный праздник Ивана Купала, когда наступает равноденствие и бесконечно длинный день переходит в короткую, но густую, даже бархатную южную ночь. И тогда, по легендам, зацветает папоротник, дающий бессмертие, а наши предки, веселясь, прыгали через костер и бросали на счастье венок в воду. Да и не только предки. Соколову пришлось однажды наблюдать, как на празднике Лиго, тоже 22 июня, латышские парни и девушки всю ночь играли с огнем, хотя костер был только из старой автомобильной шины, а еще они устраивали заплыв и бросали в реку венки из полевых цветов.

По той же традиции, принятой в пансионате, застолье продолжалось до полуночи, а потом на пляже происходил футбольный матч между отдыхающими Рабиса и обслугой дома. Ночной футбол при свете долгого заката и позлащенной луны, отраженной в море, приобретал полуреальные мистические формы, когда в сизой мгле видишь все, как в театре теней, а игроки гоняют мяч почти наощупь. Страсти болельщиков накалялись и этому содействовали бесплатные вокруг импровизированного стадиона буфеты с пивом и шашлыками, организованные Николаем Васильевичем Негоголем.

Но в последние годы футбол увял, только столы по-прежнему накрывались в парке, и самые выносливые могли пировать до рассвета, до поры, когда гаснут последние звездочки и легкий бриз с моря напоминает о грядущем дне.

Соколова и новоприбывшего гостя Бориса Остаповича посадили на самое почетное место, рядом с директором. Столы были накрыты белыми простынями, заменившими

скатерти, а отложенный горячий ужин плюс вино, соленья и зелень, доставленные из бывшего директорского совхоза, дополняли угощение. По той же давней традиции праздник должен был открыться королевским словом. Оно было обычно коротким, наполненные рюмки обязывали не растягивать начало. Его королевское величество, на которого взирали из-за столов, кто с любопытством (легенда!), кто, из новичков, с недоумением и даже раздраженно (что за король, детский сад какой-то!), напомнил про святую ночь и сказал, поднимая рюмку, что испытывать судьбу и бросать венок на счастье не будем, счастье уже то, что мы опять собрались здесь и можем выпить за нашу встречу в родовом гнезде Монпасье, которое до сих пор сохранилось и есть надежда, что еще долго будет нас радовать.

При этих словах некоторые из отдыхающих с интересом уставились на гостя, о котором с момента приезда упорно ходили слухи, что он и есть будущий покупатель и владелец пансионата и так называемой «Золотой мили» — дороги, ведущей через их пенаты к дальним горам, где по государственным проектам, шумно разрекламированным, возводится спортивный комплекс для будущих олимпийских игр, а для этого выделены огромные деньги. Но гость был непроницаем, как и его улыбчивый помощник — красавец блондин по имени Дима, восседающий рядом.

— А как сегодня насчет купанья с обнаженными девами? — выкрикнули из-за столов. Видимо, вспомнилось что-то из кино.

— А где вы видели дев? — спросили другие. — Купайтесь с русалками. Сейчас это модно. Хвостатые, но без комплексов!

— А ты пробовал?

— Нет. Но когда крепко выпьешь...

— Когда он выпьет, ему хоть лягушку подавай, лишь бы было влажно.

По столам прошел смешок.

— Ладно, ладно! — громко прервал чуть фривольную дискуссию директор. — Но за милых дам-с наших мужчин попрошу выпить стоя!

— А где здесь мужчины? Покажите! — выкрикнула из-за стола одна из женщин. Это был ответный выпад на реплику с девами.

БОС исподволь, но внимательно приглядывающийся к публике, тихо спросил директора:

— А кто эта громкая женщина?

Но ответил ему всезнающий Зяма, который успел к ним подсесть. Он с начала вечера заметил, что король не в духе и на всякий случай поспешил на помощь.

— Которая? — спросил Зяма.

— Которой не хватает мужчин.

— Ну, это «Сара с наганом». Так ее называют.

— Сара понятно. А почему с наганом?

— Потому что ей нужно с кем-то воевать. Можно сразу со всеми. А еще лучше сразу сделать революцию. Сексуальную.

— М-да. Таких мужчины обычно избегают. О чем она пишет?

— Понятия не имею, — сознался Зяма. — Я думаю, никто не знает. Но речи произносит по любому поводу. У нее, как выражаются, все уходит в гудок.

— А другие дамы?

— Вам их как представить, по жанрам? — спросил, усмехаясь, Зяма.

— Да нет. Женщина, это уже жанр. Только менее предсказуемый. Вот, блондинка рядом...

— Эта приехала за женихами. Возраст обязывает. С ней великовозрастный сынок — огромный, но тупой. Кличка «Ихтиозаврик».

— Так. Далее, весьма миловидная дама.

— Цекушка.

— Как понять?

— Жена бывшего партаппаратчика. Блатная. Тоже с ребенком.

— Что ж, у них не было местечка получше?

— Было, наверное. Но она любит приезжать сюда. А десятилетний сын при ней для надсмотра. Этакий начинающий стукач. Ежедневно отписывает папе, что мама делает и с кем проводит время.

— И много таких... ну, блатных?

— Достаточно. Видите слева трех представительных дам?

— Которые в золоте?

— Да. Это гинеколог, парикмахер и зубной врач. Очень полезные люди для руководства Рабиса.

— А рядом? Тоже громкая...

— Поэтесса с боевой фамилией Козак. Была лидером перестройки, ратовала за свободу, а теперь материт и демократов, и магнатов, но при этом ищет среди них спонсоров для своих книг. Она и к вам обратится, подождите.

— А там еще одна, толстушка...

— Ну, это сценаристка, у нее какие-то фильмы. Известна тем, что хватает слету любую услышанную у писателей историю и тут же вставляет в свои опусы.

— Но это же плагиат? Или нет?

— Один сатирик сказал так: любую чужую мысль по прошествии трех дней можно считать своей! А если серьезно, я готов подарить свои литературные идеи кому угодно. Но ведь это как чужая одежда, будет не по плечу!

— А у вас их так много? Идей? — полюбопытствовал Дима с улыбкой.

— Ну что вы... В моем чердаке только старый хлам в нафталине. Стародавние анекдоты да байки!

— Ну а где же все-таки творцы?

БОС качнул головой в сторону столов, но Зяма небрежно отмахнулся.

— Творцы? Какие они творцы... Мишура. Как выражаются рыбаки, пятьдесят штук на майонезную банку. Вон сидит так называемый режиссер Валерий Хавченко. У него среди киношников кличка «шакал». Ничего в жизни не снял, зато носом чует поживу: оторвет кусок от чужого добра и в кусты. И год-другой его разыскать за долги не могут. Ни фильма, ни режиссера. Он и здесь, думаю, от ограбленных кредиторов скрывается! Или почуял, что можно урвать. Давайте я проведу вам лучше экскурс по жанрам, — предложил, отчего-то развеселяясь, Зяма. — Тогда вы сами поймете.

Но за общим гулом пьющих и закусывающих его не могли услышать. Разве лишь из самых близких, как Соколов. Но он не одобрял базарный треп и даже привстал, чтобы с кем-то чокнуться. Да и директор, который Гоголь, быстро отчалил, чтобы отдать последние распоряжения и присмотреть за хозяйством.

Озирая публику и как бы выдергивая на поверхность отдельные фигуры, Зяма стал перечислять: — Куплетисты, в-о-н в том ряду. «...Чтобы лысый стал не лысым средств я знаю больше ста! В них один лишь недоста... ничего не выроста!»

— А что, остроумно!

— Вот-вот. Далее, чернявый коротышка — репризер для цирка. «Сидит Карандаш на мешке с картошкой в цирке военных лет. — Чего ты тут сидишь? — спрашивает другой клоун. — Так вся Москва на картошке сидит,— отвечает Карандаш — Ха-ха-ха!»

— Эти хиханьки, говорят, ему дорого обошлись? А сочинителю?

— Сочинителю, думаю, не меньше. Далее, толстячок: его жанр — скетчи. Последний называется: «Американские заговорщики».

— С этим ясно. И переводчики есть?

— Есть. У нас говорят так: «Переводят хлеб на дерьмо». Но это от зависти, они как раз белая косточка среди остальных.

Привстав, Зяма повел глазами по одному из столов.

— Видите, в-о-он слева — текстовики. Это когда дублируют кино. Они хоть хорошие картины могут посмотреть.

— А кто вам мешает? Включите телек...

Зяма осклабился.

— Я сам эти программы создаю. Но вы заметьте, круглый день сериалы — наркотик для народа, по всем программам аж до 60 штук, а шедевры начинаются далеко за полночь. Для кого, спрашивается? Для простых служащих? Но они наработались и отдыхают, им рано вставать. Для бездельников и проституток, которые ночью бодрствуют в ожидании клиентов?!

— Наглядно.

— Далее, миманс. В оперном, к примеру, в «Лебедином озере» он сидит на троне, изображает короля. — И ухмыльнувшись. — Почти как мы тут!

— Но вы тут далеко не миманс.

— Как сказать. Играем в парламент, а решаем проблемы быта да судьбу собак и кошек. Вон видите, справа, бородатенький такой, талантливый эссеист, утверждает, что в молодости съел собачку!

— Это как? Живьем, что ли? — оживился Дима и даже привстал, чтобы получше разглядеть эссеиста.

— Да Бог его знает. Но переживает до сих пор. — Зяма снова рассмеялся. — А далее я всех не просматриваю, но знаю, тут присутствуют руководитель ансамбля лилипутов, фотомастера, рекламисты, лозунгисты, шоумены, сценаристы, анекдотчики в духе Петросяна и так далее. Некогда, — добавил он, — Никита Хрущев хотел для пущего контроля всех объединить в общем, едином для всех творческом союзе. Остряки тут же придумали ему название: ВСЕХУИН, что означало бы: Всесоюзная Художественная Интеллигенция.

БОС улыбнулся одними губами. Безмолвный до поры Дима хмыкнул, уставясь в тарелку. А Зяма уже кого-то подзывал к их столу.

— Подождите, — пообещал. — Вам представят еще один жанр. Но какой!

К столу приблизился молодой, рано пополневший блондинчик с какими-то странно сонными глазами.

— Это Степан. Он может прочитать аннотацию на любую серию любого канала. Хотите? — Степан молчал. — Скажи-ка дружок, — попросил Зяма, — что сегодня вечером мы увидим по первому каналу?

Степан завел сонные глаза к небу и без запинки выдал текст.

«Собрание в дирекции информационных программ проходит бурно. Без сплетен и интриг не обходится. Алине не легко, ее нервы на пределе. В коллективе ходят сплетни, что Беляев причастен к похищению жены Бахрушина. Ника пытается вспомнить все подробности со-

бытий перед исчезновением Ольги. Конец восьмой серии».

— Так. А по второму?

«Настя сообщает Петру, что у нее новый муж Коля. Петр шокирован. Он всячески пытается убедить Настю в любви Андрея. Баклан везет Ольгу с деньгами, чтобы разогнать тоску. Но они попадают на то место, где накануне погиб Комов. Конец сорок пятой серии».

— Ну, давай напоследок еще про третий, — разрешил Зяма.

— Я для него не пишу,— отвечал Степан.— Хотите по четвертому или пятому?

— Давай по четвертому.

— Даю. «Федор узнает о причинах ненависти к нему главного врача Варламова и о появлении загадочной девушки у стен тюрьмы. Между Опером и Дедом происходит тяжелый разговор, в ходе которого Опер предлагает Деду уйти по-хорошему из тюрьмы. Опер готов сделать все для его освобождения, дед не верит Оперу и отказывается пойти на сотрудничество. Конец сто пятой серии».

— Спасибо, — сказал Зяма. — Я тобой восхищаюсь. Смотреть всю эту бодягу, да еще каждый день, и не вывихнуть мозги. — И обернувшись к БОСу поинтересовался, кого бы он бы хотел еще увидеть?

— А кто остался?

— Ну, их много. Есть шоумены из «фабрики придурков», очень популярный в народе жанр; есть «фабрика нахалов» (тоже смотрят!), «фабрика негодяев» (рейтинг зашкаливает) и так далее. Иногда жанр последних, верите ли, высвечивается прямо на лице. Вон тот, видите, фамилия, кажется, Мамалыгин. Он в Интернете ведет «сайт ненависти». По своему, но творит. Как у нас выражаются, многим из здешних наговнял. Повонивает, поэтому рядом никто не садится.

— А кого он ненавидит?— первый раз подал голос Дима.

— Я думаю всех, кто успешнее его.

— А он что же? Не успешен?

— Видите ли, он пытался что-то сочинять, не вышло. Теперь преследует тех, у кого что-то выходит.

— А как он это делает?

— Элементарно. Выуживает из газеты материал на автора и начинает собирать досье. Всю подноготную, все помои. Все домыслы и вымыслы. И так в течение месяца. Далее новая жертва. Видите, он как стервятник в поисках падали, шарит по лицам. Как обнаружит жертву, побежит выклевывать печень! Да уже побежал, смотрите! Значит, завтра выдаст компромат!

— У нас бы ему давно «темную» устроили, — пробурчал Дима.

— Рассказывают, его уже в детском саду били и в школе, и даже в институте. И здесь. Не помогло. Вот рыбаки говорят, что волну может поднять и малая рыбка, даже лодку качнет. Но от этого рыбка все равно не станет крупной рыбой!

— Но, простите, вы сказали лилипуты? А они-то причем?

— Ну, а реклама причем? Творят, как вы выразились, и весьма плодотворно. «Не болтай у телефона, болтун находка для шпиона». Чем не шедевр из советских времен? Или: «Летайте самолетами аэрофлота!» Как будто в те времена было на чем еще летать! Ну, а сегодня в жилу вот такое: «Бери от жизни все!»

— Ну, а вы, лично вы, — снова прорвался Дима. — Вы не такой, как остальные?

— Я не куплетист, — отвечал Зяма, чуть подумав. — Это правда.

— Но и не романист?

— Н-н-е-т. Я особая статья. Мой уровень определен навсегда. Но если понадобиться создать на телеэкране жизнь репризера, лилипута или стервятника...

— Да вы уже и сейчас его воспели. И анекдотчика?

— Мне все равно, — согласился Зяма и посмотрел на Соколова. — Вот и его королевское величество подтвердит, что это чисто механическая работа. Помимо души. Как говорил корреспондент на радио: передал и концы в во-о-здух. Ха-ха-ха. Ну, а если вспомнить

классику, мы и правда, все вышли из гоголевской шинели.

— То есть?

— Акакии Акакиевичи, вот кто мы! Что-то перышком карябаем, а все, чтобы заработать на шинель!

— С бобровым воротником? А, по-моему, вы, как бы выразиться... Чуть привираете...

— Конечно, привирает, — врезался в разговор Александр Семенович, появившийся за их спиной. И предложил лорд-канцлеру заняться остальной публикой, которая заскучала без его привираний.

— Яволь, — козырнул Зяма и удалился в свою компанию за один из столов. Оттуда раздалось: — Так вот, еврейские пираты. «Ей, на ли-н-ко-г-г-е! Щец вчерашних не осталось?» — По столам прокатился смех. — «Абрам, подбрось кривые дрова, скоро поворот будет!»

Соколов проводил помощника глазами, поинтересовался у гостей, не слишком ли наш друг им надоел.

— Нет, нет,— воскликнул Дима. — Такой экскурс!

— Между нами говоря, Зяма любит дурака повалять.

— А мы ему тоже подыграли, — произнес БОС, чуть усмехаясь. — Но ответьте нам уже вы... Если без дураковаляния, эта, так называемая мишура, она что, так создана, чтобы быть мишурой? Или она и вправду, обломки других миров? Следы, как у некоторых... Скажем так: следы давних катастроф? Крушений?

— А вы-то как думаете? — Соколов обвел взглядом столы, будто впервые их увидел. И тут же вспомнил Зямино: «Абрам, почему вы на вопрос отвечаете вопросом? — А что?»

— Мы первый раз здесь, — напомнил Дима. — Нам же интересно. Даже про этого, как его... Херченко, Храпченко, Хамченко? Мы как раз собирались заказывать телефильм!

— Значит, прослышал. Ну вот вам и изобразили экскурсию, — продолжил Соколов.— А уж чтобы копнуть поглубже, надо не из окошка автобуса: взгляните направо, взгляните налево. Вы согласны?

— Мы согласны, — кивнул БОС, поджимая губы. Он

не любил, когда его поучали. — Спасибо. Мы так и сделаем. Но у меня возник один вопросик, — добавил БОС, привставая. — Не здесь. Этим столом я сыт по горло.

Воспользовавшись заминкой, к ним наперерез бросилась поэтесса Козак.

— Я прошу меня выслушать! Я от всех!

— От кого, от всех? — поинтересовался Дима, пытаясь телом прикрыть БОСа.

— От коллектива.

БОС был максимально вежлив и, кажется, готов к такого рода наскокам.

— Ну, если от коллектива... Наш коллектив вас слушает. Вот мой помощник. Он даже вас читал.

— Но он не видел мою последнюю книжку. Я вам подарю.

— Спасибо, — сказал Дима.

— Тогда скажите,— это уже к БОСу. — Вы богатый человек?

— Не знаю. А что?

— Хоть кто-нибудь бы нас купил, что ли. Мы ведь можем быть полезными.

БОС оценивающе оглядел поэтессу с ног до головы, посмотрел на Диму. Тот принял сигнал и кивнул.

— Но вы же, дорогие творцы, сами жаждали свободы? Вы же ее получили?

— А жрать-то нечего, — прорвалось в собеседнице чуть грубовато и уж точно не по-женски. Теперь стало заметней, что она сильно под градусом. — Мы тоже хотим жить прилично. Да! Иметь дачи, машины, деньги. Как эти...

— Кто эти? — поинтересовался Дима.

— Ну,— она смешалась. — Кто имеет. С Рублевки! Наверное, ваши дружки!

— Работайте. Вот и весь секрет.

— Кому нужна наша работа, — хохотнула она. Отвечала Диме, но смотрела лишь на БОСа.

— А Бродский нужен? — поинтересовался все так же вежливо, но с прохладцей уже сам БОС.

— Бродский-то гений, — чуть растерянно протянула она, кажется, начиная трезветь.

— Но я ищу гениев. Остальным могу предложить заняться вместо стихов мытьем посуды. С этого начинало немало американских миллионеров. Теперь у них, говорят, и машины, и дачи.

— Значит, так и будем ходить с протянутой рукой?

— Ну, судя по вашему пребыванию здесь... Кое-что у вас есть. А вообще, странно, — добавил он, — впервые вижу творца, с которым приходится говорить лишь о деньгах! Раньше почему-то думал, в вас нечто неземное, от Бога! — И тут же повернулся к Соколову. — Пойдемте-ка к фонтану. Посидим. Я тоже устал от шума. Здесь нам все равно не дадут поговорить.

Поэтесса Козак отвалила. Дима остался за столом.

Они прошли коротким путем по аллее, среди остро пахнущей темной зелени, присели на скамеечку. На ту самую, с которой начиналось их знакомство. Несколько декоративных фонариков по кругу освещали площадку и знакомый фонтан с мальчиком и лягушкой. Только воду из экономии на ночь отключали.

— Вам у нас понравилось? — спросил вежливо Соколов.— Кажется, вы торопились уехать?

— Я не собирался задерживаться, — согласился БОС. — Но не жалею. Морем насладиться не удалось, зато прикупил еще одно местное издательство и канал на телевидении. Ну и по мелочам еще... А вот набережная, которая, как мне сказали, вас возмущает, обещаю, исчезнет. Все эти забегаловки, сколько их, штук сто будет, да? Снесем! Построим несколько классных ресторанов, гостиничные номера на европейском уровне. Ну, сами же видите, как мы с вами живем: профсоюзная здравница шестидесятых годов! Вам нравится мой проект?

Он заглянул в лицо Соколова.

— Проект или прожект? — спросил Соколов.

— Прожекты не по моей части.

— Но эти местные вас укокошат. Вы даже без охраны.

— Охрана — это блеф, — сказал БОС. — Для самоутешения! Никого она еще не спасла!

— Вот и я говорю. Тут один повел себя вызывающе... Из местных... Чего-то не доплатил рэкетирам. Его до сих пор разыскивают.

— Я слышал. Но давайте о деле. Сегодня я кое-кого увидел. Кое-кого услышал. Кое с кем поговорил чуть раньше. И подумал вот что. Не можете ли вы обсудить мои планы на вашем, как его, сенате, парламенте... А что, если назвать, к примеру, ЦК? Или политбюро? А я там выступлю, а?

Эта мысль БОСу понравилась. Он оживился. И даже лицо, особенно глаза, потеряли свой холодный блеск.

— Что мы можем предложить, — продолжил он. — Мы найдем соответствующую приличную форму сотрудничества для ваших ближайших коллег! Ну и, конечно, осовременим вашу корону. Скажем, президент, генеральный директор, председатель совета директоров. Вас устроит?

— Нет, — ответил Соколов твердо. — Я король.

— Ну пусть! Пусть! — согласился БОС. — Это как бы для внутреннего пользования. А для остальных, для моих партнеров — вы будете председателем группы советников при, ну скажем, при руководстве фирмой. Оплачиваемым, разумеется. Поговорите? Если они как эта...— Он, видимо, вспомнил пьяную поэтессу Козак и улыбнулся.

— Ни один из них, поверьте, денег не возьмет.

— Вы так уверены?

— Уверен.

— Ну попробуйте, а вдруг...

— Я их знаю много лет. Потому и уверен.

Идея создать из дружеского творческого союза коммерческую организацию Соколова смутила. Именно смутила, а не возмутила. Идею-то он отверг, но был уверен, что БОС на этом не успокоится. «Челси», футбол, подводные лодки и бункеры его, и правда, не интересуют, он выше этого. Губернаторство? Возможно. Там, глядишь, и новая написанная для него биография сгодится. Интеллигенция

с убогим Рабисом случайно попались на его пути, так отчего ж ее оптом не купить? И сам пансионат впридачу. Жители далеко не заглядывают, они будут счастливы, что не останутся без работы. И если надо пустят под корень этот парк. Но БОС ведь не чета всяким купчишкам, которые банкнотами устилают Лазурный берег! Фонтан из бабочек в ресторане, где каждый экземпляр по прейскуранту 25 долларов, его тоже не интересует. Он именно Лопатин из «Вишневого сада». А значит, за ним (за такими!) будущее.

И этой святой ночью прозвучала исповедь. Только не *уходящего*, а *приходящего* индивида.

— Сейчас не яхты надо покупать и не футбольные команды, это все инфантильность новых мальчиков, на которых свалилось чужое богатство, — продолжал БОС.

— А что надо покупать? — поинтересовался Соколов.

— Я скажу, хотя вы, наверное, удивитесь. Покупать надо воздух и воду. Их скоро не будет хватать.

— Чего же вы не покупаете?

— Откуда вам знать, что я покупаю?

— Догадываюсь.

— Я, ваше королевское величество, покупаю мозги. Это еще ценней.

— Как мои?

— А чем ваши хуже!

Но вопрос у Соколова был иного плана.

— Вы купили мою книгу, — начал он осторожно. — Купили и меня, как говорят, с потрохами. Ведь это правда?

БОС слушал молча. Глаза похолодели. Он даже чуть напрягся.

— Не с потрохами, — отрезал он, — а с вашим талантом.

— Теперь вы хотите закупить оптом моих друзей. Ну земля, участки, рестораны и прочее, я понимаю. Идет передел собственности. Но так называемые творцы-то, писатели и так далее, все это знают, бросовый товар, никому они сегодня не нужны. Как эта поэтесса Козак. Она и стихов приличных не создала и посуду станет так же

скверно мыть. Вам-то она зачем? Вы же не Плюшкин, копить старое тряпье?

БОС ответил не сразу. Но вопрос оценил. Нижняя губа его многозначительно оттопырилась.

— Вы чуть подзабыли, ваше величество, — напомнил он, — что я однажды... Кажется, здесь, на этой же скамеечке сказал, что люблю работать с заглядом вперед!

— Да. Но это касалось истории?

— Это касалось нашей жизни. И вот какая тут история... Земля, как вы сказали, участки, рестораны... Это сегодняшний день. Почти вчерашний. А вот интеллект, мозги... Тот самый бросовый товар, который не помню кто... Ильич, что ли, называл говном, а другой вождь — гнилой интеллигенцией. А Жданов еще как-то. Они правда вас не любили. Так вот, этот товар будет, да уже сейчас есть, чуть ли не главная ценность, золотой запас, валюта человечества. Американцы первыми это поняли, и часть мозгов мгновенно утекла за океан! У них там условия для самореализации, у них деньги. Недавно я побывал на конгрессе именитых ученых в Вашингтоне. Там, среди гениев из Силиконовой долины звучала преимущественно русская речь. Но не всё, не всё они скупили. Кое-что и нам осталось.

БОС посмотрел рассеянно по сторонам, на какую-то парочку, которая искала укромное местечко, но, заметив людей, скрылась за зеленью.

— Но мы-то зачем, когда есть молодые? Мы уже не те мозги, — возразил чуть растерянно Соколов. — Так сказать, реликт двадцатого... Сейчас идут другие, посвежей, покруче, правда, и пожестче. Вот как наш застольник Сергей.

— А нам разные нужны. Ваш застольник нам тоже пригодится. Я с ним поговорил. Специалисты певцам ставят голос, литераторам — руку. Вы же у кого-то учились в литературном?

— Я и сейчас там работаю.

— А зачем? Вы бы дворником, как Андрей Платонов, больше бы заработали. Но тот, правда, по другой причине. Но ведь учите, этих, других, отдаете, что взяли, воз-

можно, у того же Платонова? Паустовского! У Михаила Светлова!

— Ну, те были небожители. Нам до них далеко! — воскликнул Соколов.— Но мне, правда, интересно с молодыми. — Поколебавшись, добавил.— Только не хотел бы их обучать такому ремеслу, как продажа рукописей. Не хочу, чтобы их, как меня, сломали.

— Но они и так продаются, — отмахнулся БОС. — Поговорите откровенно, они сами расскажут, а я знаю точно, как они подрабатывают, клепая дамские романы за всяких там... барышень, чьи имена на обложках, и которых, если копнуть, окажется, что в природе не существует, или они из тех, кто букваря до конца не дочитал. От одного вида их макулатуры, выставленной в витринах, подташнивает.

— Я этого не читаю.

— Я тоже, — завершил БОС, поглядев на часы. Золотой «Ролекс» сверкнул в свете фонарей. — Доброй ночи, ваше величество.

«Это, и правда, моя ночь», — мог бы подтвердить Соколов. Но только кивнул. Хотелось посидеть и подумать.

Глава девятая

Дочка

Он тихо двинулся по темной аллее в сторону моря. Он всегда уходил после полуночи. «Жрал по-русски, ушел по-английски», — как сказал бы Зяма. На набережной сверкали огни, звучала музыка. Но как ни странно, когда он, ступив на шелестящую под ногами гальку, приблизился к морю, звуки отдалились — легкий ветерок с воды уносил их в сторону поселка. Здесь же царила вечность. Звезды и море.

Вдоль береговой кромки, наугад, ощущая правой щекой легкое дыхание огромной водной стихии, прошел в дальний конец пляжа, где во все времена несуразно торчал из земли отшлифованный волнами и ветрами обломок скалы. Здесь было, и слава Богу, не сплыло его потаенное местечко. Гнездо для уединения. Да, они чем-то похожи: оба несуразны, оба одиноки в этом мире. Но это он давненько просек — любой творец обречен на одиночество.

Он снял курточку и подстелил под себя. С удовольствием вытянул ноги и затих. Нет, неправда, что он приходил один. Когда он приезжал с дочкой, любил посидеть с ней у этого камня и потолковать о жизни. В семье они звались так: Котя (жена), Кутя (это уже он) и Катя-Катюня (дочка). Но жена никогда сюда не приезжала. Она не любила пансионат и ей не нравилось, когда знакомые литераторы в пьяных компаниях острили, что все отдыхающие делятся на «сыписей» — сыновья писателей, «дописей» — дочери писателей, жеписей — жены писателей и «мудописей» — мужья дочерей писателей. И вот именно здесь, вдвоем, у моря, они находили с Катькой душевный контакт.

— Ка-тю-ня! — крикнул он, поднимая голову к звездам. И повторил чуть тише, — Ка-тю-ня!

Его призыв поглотила ночь. Если бы кто-то оказался рядом, наверное, решил бы, что он рехнулся.

Вдвоем они ходили на рынок за свежей клубникой, бродили по берегу, собирая красивые камешки. Тогда все были увлечены поисками «куриного бога»: голыша со сквозной дырочкой. В отверстие продевали бечевку и вешали на шею. Выбрасывать находку считалось дурной приметой. Однажды Катька притащила, и как только донесла, огромный булыжник с дыркой посередке. А значит «куриный бог». Отец прикинул, что по весу и объему он займет большую часть чемодана и без того неподъемного, и посоветовал дочке подарить «бога» кому-нибудь из друзей-отдыхающих. Катька, не долго думая, притащила «бога» в столовую и положила на обеденный стол их соседу — сказочнику Шере. «Это вам на счастье», — сказала она. Тот был в восторге от подарка и, доставив огромный булыжник в Москву, водрузил на свой письменный стол. Он всерьез утверждал, что после такого щедрого подарка жизнь у него посветлела.

— Ка-тю-ня!

Господи, он и вправду сошел с ума. Но он-то знал, что тут один и святая, единственная в году такая ночь не выдаст его отцовского сумасшествия. И вот что он еще вспомнил. Дочке вдруг приелось море, многочисленные компании взрослых, даже общение с собаками. Она пошла в библиотеку и где-то среди старых, затрепанных, растерзанных книжек нашла сказки с наполовину выдранными страницами. Сидя в номере, она изо дня в день, старательно, печатными буквами дописывала, додумывала, досочиняла недостающие странички и вклеивала их в книжку. А что-то и дорисовывала. После всех трагических событий он через год или два, приехал сюда, чтобы вот так же, от скалы, от их двойного одиночества, прокричать призывное: «Ка-тю-ня!». Потом забрел в библиотеку, чтобы отыскать ту самую книжку сказок. И зачем они ее тогда сдали! Увезли бы, никто и не хватился. «Так все эти книжки списали и сожгли, — сказала легкомысленно библиотекарша, никак не войдя в толк, что этому странному человеку нуж-

но. — Вот, — сказала она вежливо. — Пришли новые книжки, очень красивые: Коваль, Успенский, Остер... Возьмите что-нибудь».

Он лишь отмахнулся и ушел к своей скале. И там, где его не могли видеть, заплакал.

Это случилось на соседней с их домом улице, очень шумной из-за большого движения машин. Втроем они стояли у проезжей части: пять, десять минут, не находя возможности перейти. Потом жена лихо перебежала на другую сторону и встала напротив, делая призывные знаки. А он все медлил, выжидал, придерживая за руку дочку. Остальное случилось мгновенно, дочь выдернула ручонку и рванулась на другую сторону, к маме. Раздался визг тормозов, женский режущий уши вскрик, и больше он ничего не помнил. Очнулся в «скорой помощи».

Это будет повторяться в памяти тысячу раз, как изо всех сил сжимает детскую ручонку, теперь уже зная все наперед, но все равно, все равно... В мгновение ока детская ручка выскользнет из его руки и раздастся дикий взвизг тормозов, сливаясь с женским криком... И наступает беспамятство. И каждый раз он оказывался с дочкой на этой, навсегда проклятой улице! Чтобы ее никогда не видеть, он срочно, с убытком обменял квартиру на жилье в другом районе.

Была у них семейная песенка про лодочку, он помнил ее наизусть. Слова простенькие, но сочиненные в пору горячей любви. «Лодочка-байдарочка стала нам судьбой, подарили лодочку к свадьбе нам с тобой, нам сказали, в лодочке вам детей качать, плыть вам в этой лодочке, плыть и не кончать...». Да, так все и было в стареньком геологическом клубе на берегу Ангары, друзья-туристы подарили им байдарку «Луч» — изделие казанского завода. Ее так и внесли в собранном виде в залу, где стояли столы и шумели гости. А в байдарку друзья насыпали яблоки, положили вино и два спортивных костюма.

Концовка же у песни была такая: «Лодочка-байдарочка по годам плывет, лодочка-байдарочка годам счет ведет, лодочка-байдарочка, ты любовь моя, лодочку-байдарочку не покину я...». Так, казалось, всегда и будет. Они плавали по Селигеру, трое в одной лодочке, три «К»: Котя, Кутя, и Катя.

После больницы он не поверил, что Катьки больше нет. Она отсутствует, вот что он себе внушил. И на кладбище отказался идти. Покупал ей игрушки, клал на столик любимые конфеты и тихо с ней беседовал по вечерам. Друзья крутили пальцем у виска, но из жалости ничего не говорили. Потом он стал замечать, что жена стала дольше и дольше задерживаться по вечерам у телевизора, ложась в постель лишь под утро. А однажды она вообще не пришла, исчезла, оставив записку о том, что не может выносить такого одиночества и пусть он простит и не ищет: ее тоже больше нет.

Он легко пережил исчезновение жены, потому что давно был одинок. Все в его жизни теперь было подчинено заботам о ребенке. Разменяв квартиру, переехал в Черемушки и в первую очередь оборудовал для дочери детский уголок. К первому классу купил ей учебники и определил в школу поблизости. Потом она переходила из класса в класс и закончила, о чем он с радостью возвестил друзьям, с золотой медалью. Друзья слушали и тревожно заглядывали ему в глаза. Теперь предстоял выбор ВУЗа, и он снова звонил друзьям, чтобы посоветоваться. И они глухо молчали, не в силах вынести эти вопросы. Но институт в конце концов был выбран: юридическая академия на Садовом бульваре, куда она, слава Богу, удачно, по его словам, сдала экзамены. На ее столике появился компьютер и книги по гражданскому праву. А за столом в пансионате, когда он стал об этом рассказывать, блондинистый Сергей, который ничего и знать не знал, наивно стал выспрашивать подробности, какой факультет, да какой курс, да кто ведет, заметив, что он сам учился у Кутафина и многих там знает. И тут Шера и Зяма потупились, чего-то испугавшись.

— Она у меня участник Венского бала, — похвалился Соколов, не замечая, что стол странно затих.

— В Вене?

— Зачем в Вене? Москве!

— Ах да, я читал, — вспомнил Сергей. — Это раз в год венский оркестр приезжает к нам и участвует в церемонии, куда отбирают первых красавиц столицы. Да? Она у вас красавица?

— Она у меня красивая, — удовлетворенно подтвердил Соколов. — Лицо его стало отрешенным, а глаза будто покрылись холодным ледком. Никто не посмел бы его сейчас перебить. — Да, да, — повторил он, — все это происходило в Гостином дворе... Это я про Венский бал вспомнил, мы с Катей были на Венском балу...

Тут голос рассказчика возвысился еще более и зазвучал проникновенно, как сама музыка. — Но вы представьте! Вы только представьте! Концертный зал сверкал электричеством. Гремела музыка. Праздничная обстановка. Черные фраки и яркие бальные наряды, и множество знакомых лиц. Мне издалека показали знаменитого повара из Вены, который готовил нам особые блюда. Веселый, колоритный, улыбчивый. С медалью на лацкане...

Кто-то из-за спины приблизился к месту, где он сидел. Он услышал шуршание гальки и близкое присутствие человека. Но это была не Катька, ее бы шаги он сразу узнал. Она над пляжем летала, почти не касаясь земли, а этот, неизвестный, шагал тяжело, с хрустом придавливая камни. Угадав в темноте своего, грузно присел неподалеку. От него пахнуло сивухой. Но надо сказать, Соколов даже обрадовался, что его одиночество так неожиданно разрушилось, уж очень далеко и опасно погрузился он в воспоминания, которых обычно избегал.

— Послушайте, товарищ царь... Вы можете ответить мне на вопрос,— подал голос пришедший. Он нащупал и швырнул в темное пространство воды камешек.

— Я не товарищ и не царь, — ответил Соколов добродушно. — Да царь и не может быть товарищем.

— Ну а кто вы тогда?

— Король.

— Ну а мне без разницы. Я в этом не разбираюсь. Но, господин король, или как вас... Я не очень помешаю, если задам вопрос? А потом я уйду.

— Не очень. Не помешаете.

— Мне, знаете ли, даже посоветовали к вам не подходить, мол, он всегда в эту ночь удаляется к скале, чтобы подумать о жизни.

— Кто посоветовал?

— Да все знают, что вы здесь. Но я о другом. У меня вопрос о земле, как ее тут называют, о «золотой миле», которую этот... Он был рядом с вами за столом, хочет у нас землю прикарманить!

— И это тоже все знают?

— Конечно. Сам я художник, проживал в деревне, выращивал картошку, овощи, солил капусту, грибы, варил варенье из лесных ягод... Как говорят, на собственном довольствии. И ни от кого я не зависел: ни от царей, ни от королей. Ни от красных, ни от белых. Самодостаточен.

— Как вас зовут-то? — спросил Соколов. Ему рассказывали о каком-то самородке из деревни, немного чудаковатом, но его картины иностранцы ныне расхватывают, как горячие пирожки.

— Да неважно. Картины у меня тоже о деревне... Как пьют, как свадьбы играют, как дерутся... Веселые! Говорят, даже озорные! Но я к вам с интересом о земле. Вот раньше, по весне, приедут студенты, а то и военные, засеют поле... Овсы золотые, чуть не в рост до горизонта, и все потом под снег уйдет. Убирать-то некому. Хоть заключенных присылай. И присылали. А по весне снова, значит, сеют. И никому эта земля не была нужна. Ни-ко-му, — повторил он и замолчал.

Откуда-то объявилась группа отдыхающих, слышались мужские и женские голоса. Где-то в стороне разделись, видимо догола, светлые тела белели на фоне черной воды.

Женщины с визгом, оханьем и аханьем полезли в воду, мужчины остались на берегу, закурили.

— Так, вот, — продолжал художник. — Я там, среди вымирающего от сивухи населения, посчитайте, один такой городской чудак был. Ну, вспоминали местные, что якобы в какие-то времена, до революции, тут два соседа из-за вершка земли подрались, и один убил другого, и пошел на каторгу. Из-за вершка! Не верилось даже, что убивали из-за земли, той самой, где урожай под снег уходит. А теперь вот, в новые времена, на иномарках понаехали, не только к старухам, но ко мне подкатились: продай, мол, дед, землю добром, а то избу спалим.

— Это же уголовщина, — сказал Соколов.

— А им-то что! Глухомань! Закон — тайга, медведь хозяин! Два раза поджигали. И спалили, когда отъехал по делам. Да вместе с картинами. Иконы старые еще там были, документы всякие...

— А что ж милиция?

— Да какая там милиция... Может это они и жгли... Сейчас бы половину милиции пересажать, преступность бы вдвое поуменьшилась. Но я не об этом. Нынче я как бы завис в воздухе, поселился на лето в вашем пансионате. Вот я, господин царь-король, спрашиваю... Это что, везде так, да? Что и нас, и вас с земли гонят? И того гляди, подожгут же! А тут ведь еще и детишки больные...

— Да, детишки...— согласился Соколов.

— А вот вы, как король, можете на них цыкнуть? Вы же однажды спасли детей от таких... Вам же верят!

— Времена были другие. Там еще по совести судили, — сознался растерянно Соколов. — А где сейчас эта совесть? Никто и не помнит, что это за штука такая. Только и слышно: баксы, баксы, баксы! Наемники... И не за тридцать серебренников, а за бутылку любого прикончат.

— А вы приглядитесь к ним. Я нарисую их портрет: тусклые глаза, искривленный рот, бессмысленный взгляд. Покушался на священника, бормочет, что ему антихрист

нашептал кого-нибудь из этих убить. Но ведь не врет. Антихрист давно правит бал и под его музыку танцуют коммерсанты и банкиры, чиновники и мелкие жучки, в бешеном галопе летят они вокруг золотого тельца, ибо «сатана там правит бал!» И некому вдруг протрезвев и оглянувшись, в ужасе прокричать: «Да что же вы стали такими! Да куда же вы ведете всех, ведь на погибель и себя, и детей, и дома свои, какая же цель у вас, если все это рухнет?!» Не слышат, несутся в смертельном вихре, и нет слов о любви, а только, второпях, о деньгах! Золотая миля! Золотая миля! Золотая миля! Ну захапали хоть сто золотых, а дальше-то? Будете своих собственных детишек в Оксфорд отсылать, подальше от помойки, которую у себя под носом развели? Апокалипсис! Это он! И мы снова первые!

Мармелажка молчал.

— Но эти двое?! Я нюхом чувствую, что они тут не зря. И ко мне такие же цивильные приходили. Вроде бы на вид представительные и образованные, а в глаза заглянешь — там лед. Не искорки живой, ни души. Это я уж вам как художник говорю. Я им все время в глаза заглядывал, чтобы понять, кто они на самом деле, люди, или — роботы?

— Ладно. Загляну при случае, — в шутку пообещал Соколов.

Что он мог ответить бедному художнику? Что и сам король-то гол, как эти купальщики. И теперь в большой пребольшой смуте и не знает, как ему жить дальше. Вот у Котошихина, которого помнил почти наизусть, тоже о земле немало сказано. Но одно Александра Семеновича поразило: как батюшка Алексей Михайлович поучал оберегать крестьянина на его земле. В жалованных книгах землевладельцам так и пишется, что им крестьян своих от сторонних людей обид защищать, подати брать по силе, а не через силу(!), чтоб тех мужиков своих из поместий не разогнать и в нищих(!) не превратить, и насильством(!) у них скота и животины никакой и хлеба не имети, а их деревень на другое житие не переводите, чтоб одно место опустошить, а другое обо-

гатить. А если какой помещик начнет поборы великие и приведет к нужде и бедности(!) и будет на него челобитная, все у него возьмут назад к царю и все, что награблено(!) отдается обратно по крестьянам и впредь тому человеку поместья и вотчины не будут даны от века. А если убийство смертное или надругательство (имеется ввиду над теми же крестьянами), и не будет челобитчиков, то делом за мертвых людей (крестьян, значит) бывает истец сам царь.

Вот вам и Алексей Михайлович! Нашим большевикам бы такое царское обращение с крестьянами! А вы все о крепостном праве долдоните!

Но цену-то земле в отличие от наших бывших он знал. Вот у Котошихина в списке главных землевладельцев на Руси числится и сам правитель: у него под Москвой и в городах, и селах — 30 тысяч дворов, кроме бобылей. Да в царских черных волостях 20 тысяч дворов. За патриархом — 7 тысяч дворов. За четырьмя митрополитами (Новгородским, Казанским, Ростовским, Крутицким) — 12 тысяч дворов, да за монастырями 80 тысяч дворов. То есть, поболе даже, чем у царя.

Далее во владельцах числятся бояре, дворяне, мурзы, татары, подьячие и другие люди — по 7–10 дворов в зависимости от чина.

Примечание Котошихина: «А сколько всего за ними за всеми числится того, написать не можно».

Вспомнилось Соколову вдруг, как с родным дядькой из Смоленска поехали они в родную деревню на машине и где-то по дороге, среди поля, дядька попросил вдруг остановиться. Вышел и медленно, чуть горбясь, побрел по краю поля все дальше, дальше, пока не сделал приличный круг и не вернулся к машине. Всю дорогу промолчал и лишь потом сознался, что просит прощения за задержку, но ведь это была когда-то его собственная (собственная!) земля. В молодости он вышел «замуж», как сказали бы нынче, из-за лошади и земли, принял для себя позорно фамилию жены, стал примаком, но все зазря. Вскоре их

раскулачили, и он бежал в смоленскую столицу и там устроился чистильщиком котлов на паровозе. Сорок лет прошло, а он все боялся, что его разоблачат как бывшего кулака. Но землицу-то свою, за которую фамилию отдал, всю до сантиметра помнил.

— Но ведь своей жизнью, не чужой заплатил,— произнес художник с досадой. Крякнул поднимаясь, и ушел. И ночные купальщики убрались. Наступила мертвая тишина. Даже море перед рассветом как затаилось: ни всплеска, ни дуновенья; только звезды побледнели, стерлись. Осознав, что это последнее, что дальше грядет утро, а острая боль от одиночества не только не прошла, как бывало прежде, наоборот, заполнила его до краев, тихо-тихо позвал на помощь дочку.

— Ка-тю-ня, Ка-тю-ня, Ка-тю-ня...

И въяве узрел как летит, летит девочка в цветастом платьице через дорогу, по гудящей от непрерывных машин улице, полная невыразимого восторга перед встречей с призывающей с другой стороны и уже открывшей для нее объятия мамой! И сейчас, сейчас все произойдет... Визг тормозов, женский крик и... спасительная пустота.

На этот раз очнулся он не в больнице, а в своем номере, где каким-то чудом оказался. Но чудо объяснялось просто: незнакомый художник далеко не уходил, почувствовав еще во время их разговора, что «господину королю» явно не по себе, и что оставлять одного не стоит. Он и отвел его в бессознательном состоянии в номер и уложил в постель. Несколько дней Соколов провалялся там, не желая никого видеть. Конечно, его навещали: и директор Николай Васильевич забежал, чтобы узнать, как у него с самочувствием и питанием, и Зяма не миновал, как же без него, и вывалил кучу новостей о том, что многие в ту ночь здорово перепили... Наверное подразумевалось, что их величество тоже чуток перебрал. Но пусть уж лучше так думают, чем догадаются, что случилось на самом деле! А у

Шеры, как всегда, «виноватый» день, а лорды, кажется, вычислили убийцу собак и требуют суда. А от детского санатория приходили посланцы и приглашали его величество на праздник, который они специально в честь короля Мармелажки приготовили...

— Да, забыл совсем, звонили по директорскому телефону из больницы... Той, где вы лежали... — вспомнил не сразу Зяма.

— Кто звонил? — спросил, напрягшись. И почему-то побледнел. Нет, он не надеялся, что позвонит Алена. Но вдруг...

— Ну кто, врачи, конечно. Тоже беспокоятся о вашем здоровье. Вы же у них под контролем? Да?

— Вы хотите сказать — под надзором?

— Ну а как же, — воскликнул Зяма. — Не случайно в анекдоте врачи обсуждают, что делать с больным, мол, будем лечить или пусть поживет.

— Так что? Пусть поживет? — спросил хозяин и заглянул Зяме в глаза.

— Пусть поживет, — согласился тот сразу.

— Тогда посылайте всех подальше!

— И врачей?

— Я сказал: всех! — Но, подумав, добавил.— Кроме одной медсестрички. Ее зовут Алена.

—Вы ее ждете?

— Нет. Но все равно.

— Ну а эти двое? — вдруг с несвойственной ему серьезностью поинтересовался Зяма. — Они-то что к вам приклеились? Им что-нибудь от вас надо? Они на вас наехали, да?

— Переехали. Но о них потом.

Зяма пожал плечами. Ушел, но, кажется, не обиделся. Но Соколов не только от Зямы, но и от себя отодвигал на «потом» вопрос с «этими двумя».

Шера, который тоже заглянул, такой он был пришибленный, замученный, что больше отсиживался и молчал.

И вдруг спросил:

— Поскольку ось во мне тоже сдвинулась, у меня, как гвоздь в сапоге, торчит один вопрос. — Вот сегодня в га-

зете пишут, россияне живут не по доходу. Они набрали кредитов на баснословные деньги, у некоторых — до восьмидесяти процентов зарплаты. Они что, с ума сошли?

— Просто не умеют жить, — предположил, оживляясь, Соколов. — Смотреть вперед, как это делают европейцы.

— А как они вообще собираются расплачиваться? — поинтересовался Шера. И сам себе со вздохом ответил: — Да никак не собираются. В том-то и дело.

— Вы хотите сказать...

— Я хочу сказать, что наши люди вовсе не дураки. Они весьма и весьма практичные. Иначе они бы и в лагерях не выжили. Я и про себя говорю. Но они... Как бы вам сказать... Не верят, что это малина с кредитованием скоро не кончится. Понимаете, что это значит?

— Не совсем, — сознался Соколов.

— Они не верят власти и ждут другую.

— Какую?

— Этого они не знают. Просто другую. Им все равно. Знают, что хорошей власти не бывает. Придет новая власть, которая, как это было раньше, отменит все предыдущие законы и решения. Отменит старые долги. Поэтому надо скорей, пока дают, набирать и тратить халявные деньги.

— Так просто?

— Просто для тех, у кого дубленая шкура и кто уже немало претерпел в жизни при любых властях. И конечно, они берут, если откровенно, то, что у них во время перестройки украли. Они поняли, что иначе, если без бунта, им своих денег не вернуть. А тут, вы же сами видите, все по закону: банки, кредиты, ссуды... — И после томительной паузы, которые случаются после сильного возлияния. — Нет. Не вернут. Ни копеечки не вернут. Вот, посмотрите. А кстати, что те двое, с которыми вы сидели на банкете? Что они от вас хотят? Они денег взаймы не дают?

Соколов, который соприкоснулся с историей, написав про Котошихина задолго до этого разговора, не мог

не подтвердить, что Шера в общем-то прав. Но вести с Шерой беседу по поводу будущей биографии и по поводу нынешней власти не хотелось. Как там написал неведомый стихотворец: «Всяко было, всяко будет, но с каких-то давних пор, выживают наши люди всем властям наперекор...» Народ, и правда, живет, точней, выживает, по своим неписаным законам и вопреки всякой логике. Он полон предрассудков и заблуждений. Но он, единственное, что есть живого, пусть и первобытного в этой России. Народ со своим молчаливым непослушанием или, если выйдет из терпения, с крутой расправой. Да еще если кто-то, не дай Бог, кликнет: «К топору зовите Русь». Топор-то у нашего брата всегда под рукой! Остальное же мертво. Оно приходит и исчезает, оставляя за собой криминальный след да счета в швейцарском банке.

— А что касается народа, — сказал Шера на прощание, почти от дверей, — в истории есть свои «черные дыры», которые надо кому-то затыкать!

Котошихину или вам... Только мы сегодня почему-то называем это успокоительным словом «общественный темперамент». Но никто не сможет объяснить, что это такое!

А эти двое его, и вправду, не забывали. И однажды, на третий, кажется, день, когда позволил себе прогуляться по парку, он нашел на столе пишущую машинку «эрика», старенькую, но исправную, с крупным шрифтом, стопку добротной финской бумаги и две запасные ленты. В машинке, на листочке, было отпечатано послание: «Уважаемый Александр Семенович, надеемся, со здоровьем у вас наладилось, а все необходимое для дела мы вам доставили. Если чего-то не будет хватать, не стесняйтесь, будем рады содействовать вашей работе и, как говорят, Бог помочь! Дима».

«И здесь побывал», — так подумалось Соколову, но без раздражения. И ключи ведь нашел, и бойко распорядился в его номере. Но «Бога» написал с заглавной буквы. — И то слава Богу. И везде «мы», чтобы не подумал, что это все не от БОСа.

Заглянув в холодильник, увидел, что прибавилось несколько бутылок марочного вина и даже бутылка коньяка, а в вазе на столе появилась свежая черешня.

Он развернул машинку к себе, попробовал работу каретки и заложил чистый лист бумаги. Поглядел за окно, вздохнул и проставил номер страницы: первая. Теперь следовало придумать заголовок. Ну, примерно, такой: «Жизнь Андрея Соловьева». Отпечатал, прикинул и густо заштриховал, потому что авторство на обложке и так будет обозначено, а рекламировать самого себя может лишь какой-нибудь Эдичка, живописуя, как приятно трахаться с негритосом. «Житие» сюда и вовсе не вписывалось. Он далеко не святой. А вот если не мудрствуя лукаво, назвать «Мой путь»? Не очень оригинально, зато доступно. Такие варианты бывали и прежде: «Мой путь к звездам» (о космонавте), «Мой светлый путь в будущее» (о ткачихе), «Моя дорога на Берлин» (о знаменитом маршале) и так далее. Сколько же чужих «путей» за свою жизнь он, Соколов, увековечил! С ума сойти! А было бы, наверное, интересно узнать, каков же истинный путь прошел наш герой. Ведь все у него складывалось с молодости как надо, и вдруг исчез. Сидел? Уезжал в Израиль или еще куда? Скрывался от кредиторов? Может, и правда, лучше ничего не знать.

Решив вопрос с названием, Соколов снова уткнулся глазами в окно. Там во всю глубину рассинелось небо и неистовал птичий хор в густых зарослях кипариса. Отвернувшись, почти с ненавистью посмотрел на белый лист. О этот, воспетый многими творцами, страх перед белым листом, когда они приступают к работе. Не зря говорится: начало — половина дела. Найти первые слова, первые главные строчки... А уж дальше, если что-то найдено, пойдет, покатиться, польется как бы само по себе. Но это, если ведаешь, если догадываешься, что там, в твоей неведомой глубине созрело. Не знаю, о чем я буду петь, но песня зреет, как угадывал поэт. А если там, в загашнике, то бишь, душе, нет ничего? А белый лист, когда на него долго смотришь, начинает почему-то напоминать ненавистные больничные халаты, и хочется скорей на

волю, к синему небу, к птичьей стае, где достаточно простого чириканья, чтобы выразить полнокровно свои чувства.

Он перечитал заголовок, и вдруг сам того не ожидая, вывел, с силой ударяя по терпеливым клавишам, даже машинка застонала, на белом вставленном листе заглавными буквами:

НЕ МОГУ! НЕ ЗНАЮ! НЕ ХОЧУ!

Глава десятая

Котошихин

Вопрос БОСа по поводу романа о Котошихине был для него неожиданным. Давненько никто о нем не спрашивал. Да и зачем. Но возвращаться, даже в мыслях, к тем далеким годам студенчества, когда не на шутку увлекся Соколов историей, да так, что чуть ли не все пять лет обучения просидел в «публичке», выписывая целые главы из Соловьева, Ключевского, Костомарова и других историков, сейчас не хотелось. Хотя встреча с рукописью неведомого никому русского диссидента в Швеции Григория Карповича Котошихина стала для него судьбоносной. Он бы и сам не смог объяснить, что могло сблизить, объединить, почти сроднить его, современного москвича середины 20 века и подьячего посольского приказа, жившего во тьме Средневековья, а затем бежавшего на Запад, как выражаются ныне, и там, за бытовое преступление, в тридцать шесть лет обезглавленного. Но его мало кому известная книжица из тридцати глав оказалась чуть ли не первым письменным свидетельством о России и ее правлении, написанным русским человеком, знавшим материал из первых рук, при том, что всяких описаний того времени иностранными, чаще посольскими гостями, было не так уж мало. Но что они могли понять о нашей стране, если мы, тут рожденные, ничего о ней не понимаем!?

В главе шестой автор сообщает, что после международных переговоров, прежде чем передать бумаги наверх, делегаты вписывали всякие «умные слова», которых на самом деле они не произносили. Вопрос: «Почему они осмеливались это делать?» Ответ: «Это происходит потому, что русская нация от природы высокомерный народ, неопытный в вопросах политики, ибо по всей стране нет никакой возможности практиковаться. Русские привыка-

ют только к отвратительным вещам: ненависти, зависти, несправедливости, к которым имеют склонность. Из-за своей безграмотности они очень много говорят (что противно), при этом отрицая сказанное... часто берут свои слова обратно и сваливают всю вину на переводчика. Если бы их слова тщательно протоколировались, они не получали бы никакой оплаты за свою службу, кроме той, которая приведена в 28 пункте» (кнут, ссылка в Сибирь и т. д.).

Что же, Котошихин трезво оценивает личные качества придворной власти, которая подправляет задним числом документы, поступающие наверх, отрицает сказанное и при этом все время лжет. И это ли не Россия? Что тогда, что сегодня.

Как отмечали первые критики, ознакомившиеся с рукописью Котошихина, труд обнимает все отрасли государственного управления, повествует о самых существенных обычаях русской земли и бросает смелый взгляд на внутреннее устройство народного духа. Внутреннее устройство власти, будет точнее. Но еще и шведы отмечали, что рукопись «несет достоинство истины с живостью повествования».

Сам же Александр Семенович, проникшись необыкновенным сочуствием к неведомому творцу, был уверен, что такой труд не мог быть созданным лишь по казенному заказу, хоть за триста или за сколько-то ригсдалеров в год. Уж слишком в нем много живых подробностей, которые мало интересны шведам, зато для русского читателя бесценны. Если к тому же учесть, что за триста прошедших лет мало что изменилось во властных структурах на святой Руси, можно, благодаря Котошихину, кое-что понять и о корнях, и о традициях, откуда произрастает эта самая нынешняя власть. Да и вся Россия в целом.

Уже после разговора с БОСом к этой теме вернулся и Дима, однажды посетив его в номере.

— А что же ваш антисоветчик... Так правду-матку и резал про политбюро? Или как их там?

Спрошено было как бы невзначай, но с широкой и неотразимой улыбочкой. Дима немного ерничал.

— Какой антисоветчик? — Соколов поначалу не понял, что речь снова зашла о Котошихине.

— Ну, подьячий ваш... Вы же о нем писали?

— Да. О нем.

— Вот я читаю сейчас книгу Светония «Двенадцать цезарей»... Знаете?

— Конечно.

— Тоже как бы историческая хроника. Он к тому же архивариусом в Древнем Риме был... Почти как ваш подьячий. Так, вот... Обо всех этих цезарях режет правдуматку, а предпоследнего из них, Доминициана, даже лицезрел в молодости. Тот, по свидетельству Светония, казнил за любой письменный или устный намек в его адрес, ввел цензуру, и он же выслал всех философов из Рима. Так что господин Ульянов не был уж столь оригинален!

— Ну и что?

— Но вы помните, как автор заканчивает свое повествование? Нет? Государству после смерти Домициана обещают счастье и благополучие. «Так оно вскоре и оказалось,— пишет автор,— благодаря умеренности и справедливости последующих правителей». А почему? Да оказывается, он при них это все и пишет. Вот и вам и цена правдивости.

— Зато об остальных-то по правде?

— Компромисс с высшей властью? Ради высшей цели? Так, что ли, это называется? А где же совесть? Вы же, вот, не пошли на компромисс?

Соколов понимал, что Дима провоцирует его на спор, но промолчал. История-то давняя, и спорить никакого смысла нет.

Но Дима с той же невинной улыбкой стал выспрашивать о книге подьячего, которую он хотел бы прочесть, но ее тут в библиотеке, к сожалению, нет. Вы хоть что-то из нее помните?

— Да так, немного, — отвечал Соколов уклончиво. Разговор начинал его тяготить. Хотя Котошихина он по-

мнил почти всего. Память у него была отличная. Это все кругом знали. Знал об этом и дотошный Дима. Во всяком случае, он как бы и не настаивал, но долбил в одну точку.

— Ну хоть немного... Тезисно... Напишите...

— Но вы же совсем другое заказали?

— И другое. А разве история с подьячим не ваша жизнь? Не может пригодиться?

— Нет.

Сказал, как отрезал. И тут же подумал, что в разговоре о литзаписи «эти двое», то есть БОС и Дима, все время врываются в то, что было для него самым сокровенным. Для него и для его жизни. Но он, и правда, считал, что история с подьячим настолько потусторонняя, что тут и спорить нечего. А книжку, при его настырности, Дима все равно достанет.

Вечером, вернувшись с прогулки, он взял лист бумаги и, чуть помедлив, вывел заголовок «Русский узник в тюрьме». Машинкой на этот раз пренебрег. Рука сама помнила текст и клала на бумагу строчку за строчкой. Закончил работу под утро, довольный, почти счастливый, будто снова прикоснулся душой к тому, что до поры лежало в нем подспудно, в убеждении, что ни словца не пропало, все, оказывается, еще живо.

ИЗ КОТОШИХИНА.

Развратие власти.

(Фрагменты рукописи Котошихина в вольном пересказе Соколова, разделенной им для удобства чтения на отдельные подглавки).

Родственные связи.

«Жалует царь по царице своей отца ее, а своего тестя и род их низший возводит на высокие... сподобляет своей царской казной, а иных разсылает для покормления по всем воеводствам в городы, а на Москве в приказы и дает поместья и вотчины, а они воеводами и приказным сиденьем побогатеют.»

Как умирают цари.

Гроб у него деревянный, оббитый в середине бархатом вышневым, а сверху — червчатым... А позади царского тела идет много множества народа, мужеска пола и женска, все вместе, без чину, рыдающе и плачуще. Из тюрем освобожают всех без наказания. «Горе бывают людем будучи при том погребении, потому что бывает многое множество московских и приезжих из городов и уездов и по улицам гробят платье и убивают до смерти... и мертвых людей убитых и зарезанных больше ста человек...»

Дележ власти.

Если царь умрет, одного из сыновей изберут царем, остальным так жить, как и прежде. Им даются в уделы города негосударственные, а царств Казанского, Астраханского и Сибирского и государств Владимирского, Новгородского и Псковского давать опасаются, понеже через великую силу достал их первый царь под свое владение. И тогда бы они брату своему ни в чем непослушны были, и тогда б доходило до великой смуты.

Кто ближе к телу.

Спальники, которые спят у царя в комнате посуточно, попеременно, человека по четыре. Они с царя одеяния принимают и разувают... В основном дети бояр и окольничьих и других, которых царь укажет. А иные в такой чин добиваются и не могут до того притти. Спальников царь жалует, их называет ближними и с ними в думе мыслит тайно. Есть еще Постельничий, который ведает царской постелью, спит в одном с ним покое (когда царь не с царицей), у него есть для скорых и тайных его царских дел печать.

Советчики царя.

А как царю случитца сидети в думе об иноземных и своих делах — бояре и думские дворяне садятся по чинам, от царя поодаль, на лавках; бояре под боярами, кто кого едой выше, околничьи под боярами, а над околничьими — думные дворяне, так как по породе своей, а не по служ-

бе. А думные дьяки стоят, но иногда царь велит им сесть. И о чем случитца мыслити, мыслят с царем... А как царь мысль свою о чем объявит, приказывает, чтобы они, бояре и думные люди помысля, к тому делу дали способ... А иные бояре бороды свои уставя ничего не отвещают, потому что царь жалует многих в бояре не по разуму их, но по великой породе и многие из них грамоте не учились.

Власть в отъезде.

А когда царь уезжает в поход, или в дальний монастырь, или для гуляния, Москву для оберегания оставляет одному боярину с товарищами. И все дела, кроме тайных, посылают царю в поход, а по иным делам сами решают. А всех остальных бояр он берет с собой или велит сидеть в Москве. А кому нужно съездить в свою деревню на неделю, на месяц, даже на два дня, бьют челом, и царь отпускает их со сроком. А без отпуску с Москвы съехать не может никто ни на один день... А если понадобятся раньше срока, им посылают грамоты и велят быть тотчас. Если даже прилучитца им, которого дни друг у друга быть в гостях, или на крестинах, они отпрашиваются по такому же обычаю.

Как вести себя посланцам за границей.

А в чужие страны ехали б тихо и смирно, «без задору». Домов чтоб не разоряли, и не грабили, и не насильничали. А идти к руке надо вежливо и учтиво, речи держать вежливые, разумные поступкам. А пить сперва за царское здоровье, а на обеде у чужого государя сидеть вежливо и не упивалися, и речи разговорные говорили б остерегаяся, с вымышлением, и подумав. А дары давать не жалея, чтобы проезду не было задержания. А чем их, послов, подарят, и те дары показывать царю, и тот у них отъемлет.

Нужно ли ездить за границу.

В иные государства для науки и обычая детей своих не посылают, страшась того, что узнав тамошние веру и обычаи и вольность благую... о возвращении и не помысли-

ли. Тоже и о поездках московских людей, кроме тех, которые посылаются по указу царску и для торговли, ехати никому не велено.

(Соколов: как и у нас!)

...А хотя торговые люди ездят в иные государства, и на них по знатным людям собирают поручные подписи, за крепкими поруками, что им с товарами своими и з животами в иных государствах не остаться (вот-вот!), а возвратиться назад совсем. Который бы человек князь или боярин, или кто-нибудь, сам или сына, или брата своего послал, не бив челом государю, и такому человеку поставлено было в измену (!) и вотчину и поместья и животы взяты б были на царя... А если после него остались сродственники и их бы пытали, не ведали ль они мысли бежавшего сродственника своего... А потом с ними творится расправа...

(Соколов: после бегства Анатолия Кузнецова меня тоже долго выдергивали и пытали, не ведал ли «мысли» бежавшего сокурсника.)

— А вы так наизусть все и помните? — поинтересовался Дима.

— Ну, не совсем наизусть, — отвечал Соколов. — Считайте, что это вольный пересказ,

— ...Но все равно впечатляет. А вы, правда, не понимали, что факты-то весьма зловредные... И много того... схожего...

— Схожего с чем?

— Понятно с чем! — усмехнулся Дима.

— Ну, если так рассуждать, — отвечал без улыбки Соколов, — то вся история, и не только России, что-нибудь да напоминает! Вы же сами о «Двенадцати цезарях» упомянули! А была еще книга маркиза де Кюстина, он приехал из Франции и описал все натуральные подробности о России. Вот уж когда двор поднялся на дыбы, они даже послали в Париж делегацию для контрпропаганды и заказали свою (свою!) книгу в опровержение книги маркиза. А на той книге, что я читал, уж двести лет миновало, да и издана в конце девятнадцатого века, стояло двенадцать

штампов советской цензуры, запрещающих выдавать ее для чтения!

— А откуда у вас, такой странный термин: «биология власти»? Вы на самом деле считаете, что генотип, заложенный в государственном управлении боярами и князьями, из средних веков перекочевал в двадцатые? — спросил Дима.

— Но разве я об этом говорил?

— Да. Так у вас и написано. Про беглецов, например!

— Это пометки для себя, — сказал Соколов нахмурясь.

Послы-жулики.

К ним поставлена вахта, по сто человек или по пятьдесят, смотря какой посол и сколько с ним людей. А в случае если посол и его люди идут гулять или в ряды купить чего, для их обережения от русских людей ходят стрельцы, чтоб им никто не учинил бесчестия и задору. А когда прибывают Крымские или Нагайские, им для встречи готовятся платья, послам шубы атласные золотые на куницах и на белках, да однорядки красные с кружевами, кафтаны камчатые, шапки лисьи высокие, сапоги... Всю эту одежду посылают в день приема и царь руку возлагает на голову и целовать не дает. Подают же им при этом вино кубками и мед вишневый в ковше. А они иногда берут сосуды (серебро и золото) и кладут себе за пазуху, говоря, что если царь дал им платья, то и сосуды теперь ихние. И их царь отнимать не велит, потому что спорить с бусурманом стыд. И для таких бесстыдных послов сделаны нарочно в английской земле сосуды медные посеребренные и позолоченные.

Деньги, как их делают и как воруют.

Делают деньги мелкие, серебряные, копейки, еще полкопейки, еще полушки, четверть копейки. А привозят серебро в прутья тянутое из голанской земли, из Венеции, Любека и Амбурга через Архангельск. Из тех ефимков, переведенных в деньги, царю бывает прибыть великая. Приходят дешевой ценой, выходят дорогой. Но самый

большой доход — от питейных заведений. А вообще расход казны, это куда сам царь скажет.

А денежных мастеров берут из вольных и торговых людей с поруками и крестным целованием, что им, будучи у царского дела, не воровать серебра, и меди и олова не примешивать, и дома у себя ворованных денег не делать, и чеканов не красть. Денежных дел мастера чеканщики, подметчики, тянульщики, отжигальщики... всего 200 человек. А когда идут на двор и со двора, их осматривают донага. А если сыщется, что делал воровские деньги, им бывает пытка, а потом наказание: заливают оловом горло, а иным, смотря по вине, отсекают руки, отрезают уши, бьют кнутом, отнимают дома и животы и ссылают в Сибирь. А в Московском государстве золото и серебро не родится, хотя в хрониках пишут, что русская земля на золото урожайная, однако сыскать не могут. А из других государств могли бы сыскать, но не хотят, потому что стоит это дорого — наладить завод, а как они свой разум окажут, их от промысла и завода тут же отлучат.

(Дописка: а разве в октябре семнадцатого не то же самое было?!)

Как транжирят царскую казну.

Казенный двор, а в том дворе царская казна: золотая, серебряная, сосуды, бархаты, атласы, камка, тафты, ковры и прочее. И из той казны берут к царю и к царице и к царевнам, что понадобится с царского повеления. Случается, что продают из той казны серебряные сосуды, что присланы от бояр и гостей в дни рождения, так те сосуды снова покупают в рядах и вновь подносят к празднику царю... А общий доход двора мильон триста одиннадцать тысяч рублей, окромя Сибири.

Все богатства от Сибири.

Здесь сорок городов, больших и средних, а начальный из них Тобольск. Туда ссылаются преступники на вечное поселение. Из Сибири присылаются ежегодно для казны меха соболиные, куницы, лисьи черные и белые, горностаи, белка, бобры, рыси, песцы черные и белые, зайцы,

волки, барсы. А сколько числом, того описати не в память, а казне приходу в год больше пятисот тысяч рублей. И получается, Сибирь кормит московское царство. И так до сих пор. А для оценки, приема и расдачи меха выбирается Голова и с ним целовальники из торговой братии, после клятв и крестного целования, что им той царской казны не красть и соболей худых в казну не приносить, и не обманывать, и цены лишние не прибавливать, а ставить цену всяким зверям по московской цене. А самые «добрые» соболи, что годятся для царской казны, покупать воеводам и вывозить из государства не велено, а для того поставлены заставы (таможни). А у кого окажутся «добрые» соболя пара свыше 20 рублей, у них отбирают соболей для царя безденежно. Но если какой воевода захочет для вывоза дорогого соболя переделать в платье, то ему в платье удается вывозить. А кто цену солжет или утаит и выйдет больше указанной цены, то бывает наказание и пеня жестокая. Хотя ныне соболей хороших близ Москвы и городов нет, они отпужены, и ловят соболей средних и плохих, но они остались в Сибири и на Лене и оттого очень подорожали перед старой ценой.

Коррупция.

А еще стали делать медные деньги. Крестьяне, видя эти деньги, не стали в городы сена и дров и съестных запасов возить, и скудость начала быть большая. А потом в Москве и городах среди медных денег объявилось много фальшивых. Тогда заподозрили денежных мастеров, ибо до медных денег они жили небогато, а теперь поставили себе дворы каменные и деревянные, и платье себе и жены боярского обычая, а в рядах всякие товары покупали дорого, не жалея денег. Их, подсматривая, похватали и казнили, отсекали руки, их (руки?) прибивали у денежных домов на стенах. Однако те люди на такие великие мучения и смерти и разорения не смотрели. А которые воры были богатые, они от своих бед откупались, давая по Москве посулы большие боярину, царскому тестю Илье Даниловичу Милославскому, да думному дворянину Матюшкину, за которым была прежнего царя Царицына сестра, и они

для тех воров помогали и из бед избавливали (как похоже, заметит Соколов).

И тех дьяков и подьячих допрашивали у пыток, и они о посулах винилися, что имели с большим и думским человеком вместе. (Имелся в виду, наверное Милославский.) И на того боярина царь был долгое время гневен, и думского человека (Матюшкина?) отставили от приказа, но казни им не учинили никакой. Зато казнили подьячих и целовальников, и отсекали руки, ноги и пальцы от рук и от ног, и ссылали в Сибирь.

Смута и насилие.

А тех воров товарищи видя, что боярам не учинили ничего, написали на них «ворованные листы», чтобы учинить в Москве смуту. И те «ворованные листы» прибили в ночи на многих местах на воротах и по стенам. А наутро всякого чина люди идучи в город те письма взяли к себе, пришед на площадь к Лобному месту у рядов, стали те письма читать вслух всем людям. И собралось к тому месту всякого чину людей множество, и умыслили идти в город к царю и просить, чтоб тех бояр выдал им царь на убиение. Но увидели, что в Москве царя нет, они, вместе тысяч с пять пошли к царю, он был на богомолье в селе Коломенском.

Ну а далее пришли они без оружия, но с криком и шумом, и царь в это время молился и велел тем боярам спрятаться у царицы с царевичем, и они сидели запершись в хоромах в «великом страхе и боязне». А их царь уговорил «тихим обычаем» (тишайший же!). А те люди говорили царю и держали его за платье, за пуговицы «Чему де верить?» И царь дал им со своими словами руку, и один человек из пришедших с царем бил по рукам, и пошли к Москве и грабили дом гостя Василия Шорина, который собрал со всего московского царства пятую деньгу... (не мало!). А царь видя, что к нему стрельцы на помощь пришли, велел людей бить и рубить до смерти, а живых ловить. А у них в руках не было ничего. И стали убегать и бросаться в Москву-реку и утонуло более 100 человек. А посечено и половлено более семи тысяч. И у того села

повесили 120 человек, а остальных пытали, жгли, отсекали руки-ноги, клали на лицо, с правой стороны, «признаки» (клеймо) раскаленным железом «Буки», то есть бунтовщик) и ссылали в Сибирь и на Терек, а потом их родственников, жен и детей тоже сослали. А иным того же дни, только в ночи учинили указ завязать руки назад, посадить в большие суда и потопить в Москве-реке.

Как всегда, валили на иностранцев.

А те, кто были казнены и потоплены не все были воры, а прямых воров не больше 200 человек, а те невинные люди пришли за теми ворами посмотреть. И были в том смятении люди торговые, их дети, и рейторы, и хлебники, и мясники, и пирожники, и деревенские, и гуляющие, и боярские люди, а поляков или иных иноземцев, хотя их в Москве множество живет, не сыскалось в том деле ни единого человека, кроме русских (так что ссылка за происки иностранцев не проходила).

А за убийство многих царь наградил. А еще велел у всех, кто умел писать, взять письмо для сравнения, чтобы выяснить, кто же писал «воровские письма», и... никого не смогли найти.

Как кормят во дворце (кремлевские пайки).

Кормовой дворец, ключники, стряпчие, подключники по росписям готовят и варят. А поваров, мастеров, полумастеров, судомоев и водовозов и сторожей 150 человек. Готовят порознь и носят наверх порознь, кому что сделано. А у поставца сидит околничий, или думный, или дворовый дьяк, отпуская царю и другим еду, пробуя сам и все по росписям. И царь, откушав, приказывает кое-что из яств кому-то из бояр подать. И им же во дворы от обеда или от ужина посылаются паденные подачи и истопниками по блюду. А утром, приходив, боярин благодарит. А если кому не принесут и своруют, то бояре жалуются дворецкому, бранят дьяков и ключников и жалуются царю, что они обделены, и царь велит проверить по книгам, какой человек чего не донес и взял себе или уронил в грязь, или пролил, и тот наказывается батогами. А иног-

да царь бывает гневен и посылает дьяков и ключников на день в тюрьму. (Соколов: такая вот обираловка, с нынешней не сравнишь.)

Постные дни при дворце.

Мясо дается во вторник, четверг, субботу, а постные дни: понедельник, среда, пяток. Тогда готовят рыбу и пирожки с деревянным маслом. А в Великое Успенье капуста сырая и гретая, грузди, рыжики соленые, ягоды и т. д. Ест царь в те посты раз в день, а пьет квас, а остальные дни не ест и не пьет ничего. И боярам в те дни ставят то же, что царю. А домой не посылается. А если гости и послы, им тоже дают постное. А самым маленьким дается все, потому что им поститься вредно. А крестьяне, кто хочет, тот воздержателен в бытии, а кто не хочет, тот упиваеца вином и таких не унять и их усмиряют и отлучают от церкви.

Сколько стоит лошадь.

Этот чин можно выделить особо, ибо возглавляет его боярин, кто при царе первый честью и если бы у царя не было наследников, то конюшенный первый претендует на это место. Именно конюшенный Годунов достал царство через убиение царевича Дмитрия. И ныне конюшенного нет, в такой чин допускать опасаются. Но есть Стременные конюхи (содержат лошадей и всегда рядом с царем), Задворные конюхи (ведают овсом и следят за лугами), стряпчие конюхи (кормят, чистят лошадей), все это люди с поместьями и вотчинами. А всего в Москве и других городах для походов и для работы держат 40 тысяч лошадей. В Москве и других городах для их стояния выделены площадки и на каждую лошадь пошлина по возрасту от 3 до 10 рублей и по цвету шерсти (Соколов: транспортный налог). И сделано это для продажи или для поиска, если украдут, а в таких делах бывает много разбоя, грабежу и кроворазлития. А поэтому и пыток. Поэтому при покупке и продаже лошадь пишется в книги и очень жестко штрафуют не записавших. А от Нагайских, Татарских, Астраханским земель к Москве приго-

няют табуны 30–50 тысяч лошадей на год, тут их оценивают и, запятнав (пометив), пускают в продажу. Сперва на царский двор, потом служивым людям (армия), потом другим чинам. Каждая лошадь стоит от 5 до 15 рублей. А покормя месяц, те люди перепродают своей братье тех лошадей уже по дорогой цене.

— И здесь коррупция? Вон как царский тесть боярин Милославский около трона-то шуровал! — произнес Дима не без восхищения.

— А куда без нее?

— Вот, вот. Это все говорят, — подтвердил Дима. — Нефть, золото, газ... Что еще... Да ведь воруют на Руси, как вы пишите, все время, а до сих пор не разворовали. Вы об этом не думали? Предки-то мелочовкой занимались, подумаешь, лошадь! Или — соболья шуба!

— А куда служивому без лошади-то? Это что «мерседес» нынче, — заметил, чуть сникая, Соколов. Разговор был для него скучен.

— Да я не том. Но ведь накопили-то предки в сотню раз больше! И все это взять и профукать!

— Это вы о ком?

— Да просто о времени. А ведь сидя в России да и в той же Швеции, ваш подьячий немало рисковал головой, рассказывая о нравах своих земляков? Может и убийство по пьянке было спровоцировано? Вы не думали?

— Нет, не думал.

— Но семейка-то, у которых столовался, была обрусевшая, она уже верно имела среди московских гостей да приезжих дружеские связи? Значит, и о рукописи посланным шпионить нетрудно было через них выведать? Ну, а дальше — подкуп, тайные интриги, вино, женщина... — Дима даже прищелкнул языком от своей догадки. — А ведь какой можно закрутить сюжет, не уходя далеко от истории!

Соколов с сомнением заметил, что скорей всего там была обыкновенная бытовуха. Убийство по пьянке.

— Но отчего же Москва требовала выдать немедля беглеца, она знала цену его свидетельствам? Тем более тай-

ны царского двора? Могла за ним и поохотиться. За ним или, скажем, за его рукописью.

И Дима повторил не без удовольствия, что боевичок можно слепить еще тот!

— Простите, Ваше королевское величество, — поинтересовался он, — а вам бы не хотелось самому взглянуть на рукопись? Где она, говорите? В Стокгольме?

— Она в университетской библиотеке в Упсале... Это недалеко от столицы.

— И косточки там же?

— Как будто там.

— А я бы хотел взглянуть, — воскликнул Дима. — Да и для нашей с вами книги что-то могло бы пригодиться... А?

— Я об этом не думал, — буркнул Соколов, отложив записи. Вам-то все, что я тут накропал, правда, интересно?

— Ну мой интерес вы сами знаете... Еще и коммерческий. А, кстати, где вы встречали Новый год? Точней, новый век? Да, и тысячилетие? Редкая, между прочим, удача, при жизни пересечь целое тысячилетие! Вы не находите?

Соколов лишь на мгновение задумался.

— Вообще-то, я помню, где это было. А что?

— Хорошо, что помните. Это станет эпизодом, даже, пожалуй, главой в нашей книге. Котошихин и мы. От семнадцатого до двадцать первого... Вы же мостик-то уже перекинули, его только еще укрепить надо!

— *В вашей* книге? — уточнил Соколов. Никакого подвоха в его поправке не было.

— Нет, — запротестовал Дима. — В нашей с вами. А что выйдет, посмотрим.

— А вам это обязательно? Столетие? Тысячелетие? Вы же, насколько я понимаю, живете конкретикой.

— Да. Но важно потому, что мы пересекли границу не только времени, а новой эпохи. Новой... как бы точней выразиться... формации человечества.

— Эпохи торгашей?

— Ну вот, как вы сразу! — Дима хохотнул, оскаливая зубы. — А я ведь про ваших коллег, между прочим.

— Каких же это коллег?

— А тех, которые устроены иначе, чем вы.

— Вы тоже не слишком конкретны, — сказал Соколов.

— Ну, пожалуйста. Пожалуйста. — И после паузы: — Известный руководитель известного театра, не только талантливый режиссер и артист, но умелый хозяйственник и бизнесмен. Известный питерский бард, организатор сети пивных баров... Бард — баров, — повторил он, увлекшись игрой слов. — Известный эстрадный певец — владелец нескольких ресторанов в Москве; то же самое можно сказать про одного из видных кинорежиссеров... Назвать их имена?

— Не надо. Я без того их знаю.

— Не только их?

— Не только.

— И что вы об этом думаете? Что все они торгаши? Продали свое ремесло, свой талант... И немножко совесть, да?

— Я им не судья.

— Ну, бросьте. Вы как раз судья. Я не смог попасть на ваш королевский прием, или как там... не допустили. Но уверен, что к вам обращались как к судье. Ведь так?

— Почти.

— А вот когда... Ну не вы лично, а такие как вы, уйдут совсем, судьями-то будут они. Даже в некотором роде совестью нации. Но только как эту совесть будут понимать в новом веке. И уже никто не станет тыкать в них пальцем: торгаши от искусства! Это они будут приводить вас, ваше поколение, как пример: Раневские из «Вишневого сада». Отжили... Отстали... Способные лишь пассивно прислушиваться, как рубят их сад!

— Но рубят? — всколыхнулся, перебив его, Соколов. — Рубят, да?

— Рубят, — подтвердил уверенно Дима. — И такова логика жизни. А вы цепляетесь за старое, в этом ваша беда. Ну и что от вас останется? Ведь никто не утверждает, что мамонты были не хороши. Но вымерли, а их бивни идут лишь на украшения.

— Ну что ж, потерпите. Вам недолго осталось ждать, — устало отмахнулся Соколов. Он давно понял, к чему Диме

этот агитпроп. Его не устраивало сомнение Соколова по поводу продажи рукописи.

— Зачем же ожидать? — горячился Дима. — Вы нам, пока... Пока! И такими годитесь!

— На украшение?

— Не только. Нам интересно сравнивать себя и вас, чтобы... Ну скажем, чтобы не ошибиться.

Соколов не стал отвечать. Да и понятно, что бесцельный разговор и без того затянулся. Но после визита Димы пришел нужный ответ. Простой и ясный, про который обычно говорят: «доводы на лестнице». О том, что и сам БОС, и Дима, и им подобные, не более, чем такие же мамонты переходного периода. А новые, более приспособленные зверята, отрастив когти, подрастут и выкинут их на улицу. Этим зверятам (Юрий Трифонов еще в давние времена назвал их «железные малыши!») никакие моральные доказательства и никакая оправдательная биография в книжках не нужны. Они буквам предпочтут запах свежей крови.

Мог быть и другой, не менее серьезный довод. А что, если кто-нибудь не захочет быть зверем, а пойдет по нашему пути? Выродок? Ну и что? Мы ведь тоже выродки, в сравнении с чеховским временем. И что тогда? Станете их покупать, а вдруг да не покупаются? И даже брезгуют участвовать в рекламе антиперхоти! Тогда вся ваша теория про людей новой формации, которой вы так озабочены, полетит к чертям собачьим! Дети того же миллионера Форда и других оказались куда сердобольнее папы и даже жертвуют деньги на содержание наших, российских заключенных!

Был случай, когда наш герой вышел погулять в соседний двор, куда обычно заглядывал редко, и увидел вываленную прямо рядом с мусорным баком кучу фотографий, некоторые были даже в рамках. Он не побрезговал поднять их, чтобы разглядеть поближе. Обыкновенные лица, родители с детьми и даже с внуками. Неожиданно подумалось, что, может, эти самые внуки, очищая квартиру от рухляди после смерти предков, выкинули и эту память.

Для кого-то, наверное, очень дорогую. И все. Были и нет. Можно представить, что такие и на могилку не придут. Их память вот здесь, в мусорном баке. Жалко отчего-то стало, хоть эти фотографии и те, кто на них, для него никто и ничто. А жалко. Поколебавшись, Соколов даже несколько штук прихватил домой. Потом куда-то затерялись. Но ведь, и правда, чья-то немалая, и непростая жизнь. Того самого прошлого столетия. И что от нее осталось?

Глава одиннадцатая

Поцелуй Господа Бога

Дима пристрастно выспрашивал о том, как я встретил Новое столетие. А я сказал, что помню. Но что помню, я не говорил. Ни к чему. Но еще бы не помнить: это случилось на даче, когда с дочуней моей поздним вечером смотрел французский комедийный фильм с участием Бельмондо... Но вдруг, не понял, как вышло, что лежу на полу, весь в крови, а надо мной испуганная Катюня склонилась, теребит за плечо и зовет: «Пап! Пап!» А я как бы продолжал смотреть фильм и слышать голоса, и даже видеть цветные картинки, и мне было очень весело. Но это все я потом вспомнил. А тут с помощью дочки стал подниматься и увидел, что её руки, как и мои, в крови и на полу кровь, а голова рассечена от виска к надбровью, и волосы от крови тоже мокрые, а ухо распухло и сильно саднит. Я добрался до ванной, умылся, и прежде чем лечь, попросил дочь не звонить, не волновать маму, а уж я отлежусь.

Катюня йодом обработала раны. Щипало, но я вытерпел и старался думать о чем-нибудь отвлеченном, а в голову лезли странные мысли о том, что удачно упал-то, когда ударился ухом об угол шкафа, если бы виском, тогда, как говорят, прощай, тот самый, двадцатый. Так будут потом говорить про Гришу Горина, моего соседа... Чуть-чуть, скажут, не дожил до нового века. О тысячелетии разговора нет, все равно неизмеримая, а значит, необъяснимая, почти потусторонняя категория, которая годится разве для шутки, мол, в будущем тысячелетии встретимся!

Век тоже необъятен, но не настолько. Перешагнул и доволен. Если перешагнул. И хоть гикнулся удачно и буду ходить с опухшим ухом и черным пятном под глазом, бровь-то почти не видно, но садиться на тот

стул, с которого полетел, долго не мог. Хватит и одного раза.

На следующее утро встал, глянул в зеркало и чуть не застонал: левое ухо распухло, покраснело, под глазом черная вмятина. Но машину до дому довел, а жене, она еще спала, показался не сразу, а сначала, насколько можно, привел себя в порядок. Ухо, господи, не ухо, а свинина, подпудрил, жаль волосы коротки, не прикрыть, и под глазом фингал, какие лишь по пьянке возникают, припудрил, и вид себе придал бодрый, мол, не смотрите, что раненый, зато боевой.

А жена всплеснула руками и стала прощупывать, просматривать, будто чучело какое-то, произнося про водку, которую, небось, пил, если не в тот вечер, то в другой, да и вообще, пора о себе подумать, о здоровье и вообще...

— И вообще, да, — промычал тогда.

И снова подумал о Грише Горине. Мы накануне его смерти гуляли, а он был грустен, немногословен и даже не жаловался, а так, едва посетовал, что сосед Влад шашлычную построил под окном, но все с улыбочкой да присловием, мол, да что ты, Гриша, пользуйся тоже, а если хочешь, то судись, я не обижусь! Но Влад-то знал, что Гриша никогда не подаст в суд и шашлыки жарить не станет, ему хочется лес видеть из окна, вот и все. А тут еще другие соседи, Шишкины, к телефону его без спросу подключились (полгода пользуются, а на упреки лишь: нам нужно было, у нас ребенок), а классик из Переделкино, куда Гриша поехал на вечер Булата, с чего-то напал на него, упрекая в нескромности: в глянцевом журнальчике, которого Гриша отродясь не видывал, кто-то пропечатал из добрых чувств, что Горин, дескать, великий писатель. «Не я же про себя написал», — отвечал на это тихий Гриша громкому Жене, не зная, как ему еще оправдываться.

Так и погуляли мы в тот вечер по ночному Красновидову. Он еще про Германию рассказывал, про Фельдафин под Мюнхеном, куда они собирались, и о Любином, жены своей, здоровье пекся, мол, спад у нее, надо как-то вы-

водить. Была теплая ночь, мохнатые верхушки сосен темнели на звездном небосклоне. Простились, а через два-три дня я узнал: ночью был сердечный приступ, вызвали «скорую», приехала-уехала, но ничего толком не сделала, и под утро Гриша умер.

Я до сих пор мимо квартиры Гриши, с навечно потухшими окнами, не гуляю, а если надо за водой к ручью, стараюсь в сторону его окон не глядеть.

О том, что пережил сам, никому не рассказал. Но понял, что это (это!) совсем не страшно. Вдруг все стерлось, и если бы не склонившаяся в испуге дочка, то ничего и не стало. Даже некое облегчение, что ничего уже не надо: думать о заработке, о ремонте крыши и текущих кранах, о выяснении отношений с соседями по поводу собаки, очередной сучьей свадьбе, которую устроили чиновники Рабиса... Ни-ни-ни-че-го.

Это потом дошло, что семью-то без меня затюкают, как пить дать, никто их не защитит. Как говаривала одна моя знакомая: семья без мужика, что дом без крыши, каждый может подойти и плюнуть. Она была одинока и знала о чем говорит. Но еще и Селигера не будет, и крупных звезд, глядящих в озеро, и утренней румяной зорьки, и рыбьей поклевки под камышами. И грибов и ягод, и острова Хачина, где подружился я с самим лесным лешим, Лесовиком. Ну, а при встрече я научился ловчить и врать по поводу синяков, что дескать ветку пилил на даче, забравшись на сосну, да не удержался. А мне будут говорить, мол, ну, как же вы, надо осторожнее, разве кроме вас некому было ветку спилить? На что отвечал, да что ж тут особенного — ветку спилить, откуда я мог знать, что свалюсь с дерева... Если б знал, где упал, там соломку подостлал!

К врачам сразу не обратился, а поговорил с Юликом Кренделем, он не только литератор, но и врач. Простодушно циничный, как все врачи, но все равно добрый, это и на глазок видно, он сказал, что пора отдохнуть, дать клеткам покой. Ох уж эти клетки, если бы знать, что они такое.

— А что было-то? — спросил я.

— Ну, что... Понятно, что,— протянул он, пожимая плечами. — Такое бывает... Вот у одного нашего... прозаика... Тоже спазм, и готов.

— Значит, спазм? — спросил я. — А не обморок?

— Ну, откуда мне знать, я же не исследовал.

— Но ты же врач? Или не врач?

— Я врач... А ты отдохни, — повторил он. — Чем дольше, тем лучше. Травоядный образ жизни, в общем... Понятно?

Теоретически-то понятно. А у писателя, о котором он говорил, был инсульт, значит, Юлик не случайно его упомянул. Ведь бывает же в жизни момент, стоит подумать и правда, о большем, чем текущие краны и прохудившаяся крыша, и даже гадости по работе. Ведь могло быть и так: «Пап! Пап!» — и Катюня бросится в испуге к соседям, к телефону... Приехала бы, да нет, прискакала, прилетела взмыленная и испуганная мама, вызвали бы врача, констатировали скорую и легкую смерть... Так и не досмотрел бы французскую комедию с обожаемым мной Бельмондо, он там за девицей ухаживает, этакой молоденькой красоткой... Ужасно смешно. А я уже в крови... Моя другая знакомая любила приговаривать, что умереть от инфаркта — все равно, что выиграть сто тысяч! И добавляла, что вообще-то в народе это называют поцелуй Господа Бога!

Еще я вспомнил, что моя сестра, когда телеграфировала про отца, я отдыхал в Монпасье, не могла написать о смерти: такие телеграммы, не заверенные врачами, на почте не берут. Она написала так: «Отец ушел». Булат ушел, Лева Разгон, Гриша Горин... Да многие, многие.

Так гулял по Красновидово и думал, думал. А насчет дерева, с которого свалился, можно, конечно, и поумней что-нибудь придумать. Просто с деревьями у меня особые отношения. В детстве, в пионерлагере, мы все охотились за красными шишками. Бывают такие ярко-красные шишки на ёлках, когда она цветет, но самые красивые из них, обязательно висят на макушке. А я полез, и вместе с веткой ухнулся вниз. Очнулся на спине, а кругом рассыпа-

ны мои красные красивые шишки! Но вообще-то дерево, скорей, символ жизни, а мы похожи на деревья, то расцветаем, то опадаем. А в молодости любили шуточный тост, мол, выпьем за наши гробы, которые сделают из тех деревьев, которые еще не успели посадить! Тогда казалось это даже смешным. Но оказывается, и посадили, и уже подросли.

Когда плохо, можно подойти, и обхватив руками шершавый ствол, попросить: «Дай мне, пожалуйста, силу!» И оно даст. И не просто обычную силу, а животворящую, натуральную, от корней, от земли. Только надо, чтобы никто не смотрел, не пялился, все равно не поймет. Но разомкнув руки и отступив, поблагодари, скажи дереву «Спасибо». Оно тебя услышит.

Но еще потому припомнилось дерево, что генеалогия моего дерева происходит от Смоленщины, а я семечко от него, которое ветром занесло в Подмосковье. Корень того дерева прапрадед Иван (глубже не проглядывается), который участвовал в Крымской кампании и вернулся с медалью, его отец мой еще мальчишкой успел застать! А потом дед Петр с Варварой и семеро детишек, семена от них по смоленской и другим землям рассеяны, да многие ведь в войну погибли. А я от самого младшенького Игнашки... Кажется, последний в роду. Больше никого и не осталось.

— ...Так вы помните, как вы пересекали двадцатый век? — допытывался Дима. Я отвечал немногословно, что помню. Но лишь для себя помнил в подробностях. Санаторий. Новый год. Снег. Врачи.

Среди заснеженных сосен затерялась небольшая ёлочка, увитая гирляндами лампочек, и оттуда, из глубины хвои раздавалась английская рождественская песенка: «Тихая ночь, святая ночь». Несмотря на оттепель, здесь даже чуть подмораживало, и стоило пройти по ярко освещенным дорожкам, чтобы наполниться сверкающим серебристым воздухом, который нам дарил Новый год, а вместе с ним Новое столетие и, что совсем уж малопонятно и неощутимо, Новое тысячелетие.

Следовало понимать так: Понтий Пилат (на Руси даже еще нет варяг), потом — Рюриковичи, это случится лишь через тысячу лет, но, далее, еще через тысячу, уже мы. Это можно объяснить, но дать в ощущении, для чувствования, для души? Двадцатый век все-таки проще.

Тут над самой рекой, на длинных металлических опорах, стоит лифт-подъемник. Зимой он не работает, но отсюда хорошо обозреваются окрестности, заречье, едва угадываемые в зимнем размытом воздухе деревеньки и проходящая по полю дорога. В предновогодний вечер на этой дороге видна непрерывная, бесконечная цепочка огней, люди спешат на свой новогодний — раз в столетие, праздник.

После долгого обследования лечащий доктор Владимир Павлович, обстоятельный, спокойный, усадил меня на стул в своем в кабинете, сел напротив и стал рисовать на листке бумаги шею и голову. Я пошутил, что очень похоже на мою голову, но он юмора не принял, что настораживало. Он начертил сонную артерию, а внутри полости два бугорка с двух сторон: бляшки. Они заизвестковались и не дают снабжать кровью мозг. — Насколько не дают? — спросил я. — Мой заизвесткованный мозг реагировал пока весьма практично. — Доктор отвечал, что процентов на семьдесят. — А на тридцать кровь проходит? — Да. На тридцать проходит. — Это что же, как у Владимира Ильича? — полюбопытствовал я, и мой недоснабженный кровью мозг представил себе картину Ильича в Горках, который, как утверждают очевидцы, на сходе жизни мычал, лаял по-собачьи и ничего не соображал.

Доктору вопрос не то чтобы не понравился, но он не разделил моей странной иронии и отвечал ровно, что пока не до такой степени, чтобы мычать и лаять, но может случиться всякое... если... — Если, что? — Если не сделать операцию.— Срочно? — Да. Лучше быстрее, а пока... Пока нужно хотя бы разжижить кровь, чтобы не получилось какой-нибудь закупорки...

Я поблагодарил за честную информацию, а доктор, как бы извиняясь, пробормотал, что лучше по правде, чем...

— Я тоже сторонник правды, — согласился я.

Прихватил на память листочек с нарисованной головой и сонной артерией в придачу, как будто листок мог быть главным документом для входа в этот начинающийся век. Была надежда, что с тридцатью процентами подпитки, меня туда еще пустят!

Когда вели мы с женой разговор по поводу болезни, у той самой музыкальной ёлочки, теперь нежно звенящей мелодией «Джингл Белз», почти что «Дин-Дон», жена вдруг сказала:

— Но мы же дожили до него... — И через паузу: — А сколько из наших друзей совсем молодыми остались там?

«Там», это в прошлом веке. Это — правда. Когда умирали в пятидесятые годы при нас, молодых, такие же молодые, это было мало объяснимо, хотя причины очевидны: стрессы да пьянство. Да сумасшедшая жизнь.

Тут к месту возникло из Котошихина.

На сытенном дворе ключник ведает царскими погребами с питьем, а также казной с сосудами деревянными, медными, оловянными. Кроме списка расходов у него же список для сыска и расправы с дворовыми людьми, которые сжульничали. Стряпчие отпускают всякое питье по чину и посуточно ночуют во дворе и сидят у погребов для раздачи. Сосуды у них берут по записке. Сытники — то же самое, но в походах возят сосуды с питьем. На питье заведены «памятцы» по дням, по неделям, по месяцам, сколько взято у стряпчих, а те сравнивают с книгами, чтоб воровских не было.

На день выпивают вина простого, двойного и тройного около 100 ведер, а пива и меду 500 ведер. А в праздники, именные и родильные дни вина уходит 400–500 ведер, а пива и меду 2–3 тысячи ведер. Да пива поддельные, малиновые и иные и красные ягодные и яблочные, и романея, то есть рейнские и французские и иные заморские

питья, что на царский расход исходят, того описать немочь. А погребов питейных во дворе более тридцати. И везде питье стоит во льду от марта до марта. А вино подряжаются поставлять уговорщики при дворце, торговые люди и откупщики. Им дается на завод 30 тысяч рублей. А за невыполнение договора у них отберут дом и «животы», а самого накажут кнутом.

Москва и многие города имеют доходы с кружечных дворов 100 тысяч рублей. На них куется оружие, покупаются ружья, карабины, пистоли, мушкеты, бандельеры. А кто продает питие сверх царского указа, тайно наказывают. Те люди бьют царю и им разрешается держать вино за пошлину, но с условием, чтобы на сторону не продавали, а в домах своих корчмы не устраивали.

(Соколов: значит и в те времена водка кормила армию!?)

А как веселие бывает, и на его царском дворе играют в трубки и в суренки и бьют в литавры, а во дворах все ночи зажгут дрова для светлости, а иных игр, и музик, и танцев на царском веселье не бывает никогда...

Была составлена роспись для проведения свадьбы, кому указано быть и где каким чинам сидеть или стоять. А если из-за споров о месте учинят смуту — казнить смертью без всякого милосердия, а поместья его и вотчины взять на царя.

Мой сокурсник Дима Блынский, поэт из Орла, спивался, потом вроде бы завязал, с зашитой капсулой уехал в Мурманск, в командировку от газеты, и там, запершись в гостинице, запил; а нашли его тело через двое суток, вскрыв номер — лицо обгрызли крысы.

Как бы от сердца, в одночасье умер Коля Анциферов, поэт из Донбасса, у него были стихи про шахтера: «я работаю как вельможа, я работаю только лежа...». Он и пил по-шахтерски, по-черному. Или вот поэт Сергей Дрофенко... После многодневного юбилея в журнале «Юность» задохнулся, подавившись куском мяса, его тогда пытался отмассировать Гриша Горин, сам врач, оказавшийся рядом.

А вскоре в Переделкино повесился поэт Геннадий Шпаликов, и тот же Гриша, так уж выпадало ему, при его безотказности, полез на крышу коттеджа, чтобы заглянуть в окно и констатировать самоубийство... Как медик помочь поэту он уже не мог. А Виль Липатов сорвался в свой день рождения, там же, в Переделкино, сперва ходил по друзьям и просил взаимообразно бутылочку, потом вошел в стопор и стал бредить, а девочка, которую он приветил и представлял как новую спутницу жизни, от страха растерялась, сидела рядом и страдала. И плакала. Лишь на третий день ворвалась в номер мама (Виль ее тоже называл «Сара с наганом»), единственная, кого Виль слушал и боялся. Но было поздно. Сара выгнала тихую девочку, перевезла Виля в Москву и там, не приходя в сознание, он умер.

Но я не о количестве ушедших талантов, даже не об их памяти, кому надо, те помнят, я, как сейчас любят выражаться, о тенденции. О том, как ощущали мы растерянно и подавленно потери друзей и ровесников, которым жить да жить, творить, да творить. Но все они остались там, за чертой 20 века.

Потом уже уходили ровесники в наши зрелые годы, в шестидесятые-семидесятые, и мы, опять же на поминках повторяли: «снаряды падают рядом». Это не утешало, не пугало, а вызывало мрачные раздумья о краткости жизни. Так совершенно тихо исчезнувший из жизни (я узнал много позже) беллетрист и певец природы Георгий Семенов как-то сказал, что, по сути, вся литература — это воплощение тоски по краткости жизни.

А потом снаряды стали падать еще гуще: исчезли навсегда Иосиф Герасимов, Юрий Казаков, Юрий Нагибин, Виктор Астафьев, Юрий Трифонов, мой учитель Александр Радов, Булат, Гриша Поженян, Юра Левитанский... Опали, как листья, с дерева литературы, обнажая сухой неплодоносящий ствол, который исподволь, неприметно для остальных, в девяностые годы облепила искусственная ветошь нынешней субкультуры. И никто подмены не заметил.

Сейчас можно произнести, что снаряды падают уже позади. А век, со всем, что в нем пережили, любили, ненавидели, мучительно смутный и опасный, тоже позади. Там осталась лучшая часть нас самих. А впереди у нас целое тысячелетие, с ума сойти, и коли в Рождественскую ночь нельзя без шуток, воспроизведу анекдотец от Зямы. «Какие у вас перспективы на это тысячелетие? — Хорошие. По большей части буду лежать!»

Глава двенадцатая

Рождество

Отвращение к больнице, даже самому этому слову, возникло с той поры, когда семи-восьмилетним пацаном навещал он там свою маму. Отец приводил их с сестренкой под окна большого корпуса в Панках, это на окраине Люберец (потом и отец закончит там жизнь в онкологическом отделении), и они стояли, задрав вверх головы, глядя, как мама высовывается из окна на третьем этаже, и машет им, и даже чуть всплакивает от радости, что может их увидеть, но не может обнять. Следом высовывались любопытные однопалатницы. Вот уж им потом разговору о доме и о детишках на целую неделю! Отец уходит на встречу к маме и приносит от нее конфеты, дорогие, шоколадные, в золотых обертках! Таких дома не покупали ни разу. Кофейные подушечки, в лучшем случае, и то к празднику. Конфеты эти, наверное, от ее профсоюза или от подруг с фабрики, где мама работает ткачихой. Дома отец, на всякий случай, обваривает их кипятком, смывая почти весь шоколад, и хоть на вид они становятся облезлые, но все равно они конфеты, которые мы проглатываем не жуя.

После войны мамы уже нет, заболевает в десять лет туберкулезом сестренка, а потом, в студенческие годы уже и он сам. Начинаются долгие просиживания в коридорах больниц и диспансеров, среди белых халатов, вторично возрожденное к ним неприятие. Слово «отвращение» будет, пожалуй, точнее. Именно в те времена возникли мысли о болезни как личной катастрофе, с которой начинается другое бытие. «Мгновение, — записал он как-то в дневнике, и твоя жизнь превращается в источник боли и кучу смятых простыней!»

Воспоминания о родителях не лучшие, но они спасают от ужаса беспрерывного самопогружения, не только в

постель, но в себя. Еще бы лучше книжка, но это если с утра не привяжут на полдня к капельнице!

И вот уже тут как тут двое в белых халатах. «Ну, что, будем готовиться, да?»

Хирурги любят резать. И к ним попадаешь, как в мясорубку. Да вообще, лежачего человека легче уговорить, он уже перед своими будущими потрошителями беззащитен, ибо повержен и лежит на спине. Это на себе проверено. Дал согласие на операцию, подписал бумажку, что врачи могут резать, вырезать, удалять. А операция многочасовая, всегда риск. И они не боги. Он и к этому внутренне подготовился. Пожалел лишь, что не оставил завещания. Но кому? Катюне?

Утром пораньше встал, побрился, сделал зарядку. Даже кровать прибрал. Вспомнил, как провожали друга, писателя Льва Копелева в хирургию железнодорожной больницы, ему должны были вырезать камень в мочевом пузыре. Он с такой силой всех обнимал, будто хотел от близких получить заряд энергии для противоборства с болезнью.

Раздели догола, сделали укол, положили на каталку, узкую, на колесиках, и куда-то повезли. Сперва еще видишь какие-то коридоры, лифты, белые потолки и огромные лампы над головой... И сразу полная отключка. Все так просто: очнулся, а ты уже в реанимации. Кто-то, склонившись говорит, что все в порядке (а что еще могут сказать в таком случае!), что ты вел себя молодцом, и теперь надо отдыхать. Как может бездыханный человек на операционном столе вообще как-то себя вести? И про какой отдых они глаголят? Эти самые послеоперационные часы смутны и безнадежны. Лежишь, связанный по рукам и ногам капельницами и какими-то проводами, еще трубка изо рта, по ней, при отключке легких, подавали кислород, а в тебя все время что-то вливают, выливают, колют и т д. И даже когда понемногу начинаешь себя и окружение осознавать, первое чувство, что все здесь тебя отвращает, и цвет палаты, и окошки без занавесок, и выхолощенный уют из пластика и железа. Но более всего страшит возможность персонала входить без

стука в любой час, любую минуту и по-хозяйски распоряжаться твоим телом. В шесть утра ты в испуге просыпаешься от грохота дверей и включенного прямо в глаза света... Но это пришли не за тобой, а за твоим телом! А дверь к тому же на каких-то пружинах и стучит, особенно неожиданно со сна, как пушечный выстрел! Повернитесь, будем делать укол. Повернулся, сделали, ушли. На мгновение забываешься. Грохот, свет: вот таблетки, вот овсяный отвар. Через короткое время: протяните руку, кровь будем брать. Протяните другую, надо измерить давление... Но это только начало. Тело твое, как на конвейере, а белые халаты сменяют друг друга. Тут не существует слов: нравится не нравится... хочу не хочу... Да и никто тебя не спрашивает. Занимаются только телом, а дело поставлено на поток.

Почему-то приходит в голову, но, конечно, потом, что режим больницы сродни тюрьме, и пусть она самая лучшая в мире, но золотая клетка ничуть не лучше любой другой. Кто-то из приятелей однажды на слово больница среагировал легкомысленно, мол, полежишь, отдохнешь, книжку почитаешь... Романтическое представление о нынешнем лечении. Лежишь на спине, руки в стороны, распят как Христос, и привязанный с утра до ночи к приборам проводами и трубочками. Левая рука (или наоборот) под капельницей, другая вся исколота и перевязана. И ты еще не знаешь, что у тебя семь катетеров, а мозги, а тело, а душа — в центре боли, а слух направлен лишь на шаги в коридоре, ибо дверей они не закрывают, и неведомо, кто с чем еще сюда ворвется, чтобы еще и еще клевать твое нутро!

Но случилось это уж потом, на пятые сутки, когда разрешили ему подниматься в реанимационном отделении, ночью дошел до окошка и попробовал его открыть. И оно, такое везенье, вдруг открылось. Девятый этаж, он знал, что он на девятом этаже, откуда можно видеть только синее небо, да еще слышать непрерывный гул, как с аэродрома, от ближайшего проспекта. И странные, но вовсе не страшные мысли: что можно сделать лишь одно движение... Одно! И все проблемы навсегда отпа-

дут. Как у него самого, так и его окружения. Впервые это осознается как реальная возможность что-то решать. Окно, которое рядом и которое открывается, может стать спасением от ужасов непрерывного распятия.

И был я существом, а стану — веществом. Как написал Маршак.

А в душе отзвуки все той поющей ёлочки, ее небесные звуки. И следом вспоминается моя первая в жизни елка, в середине тридцатых годов... А до этого, как узнал в поздние годы, праздник Нового года, как и Рождество, были на моей родине под запретом. И вдруг в нашей комнатушке, на стуле у окна, отец поставил мохнатенькое крошечное чудо, пахнущее лесом. Этот еловый терпкий запах потом станет для меня запахом траура: через десять лет, когда я подростком начну работать на аэродроме, нас будут посылать в ближайший лесок наломать еловых веток и грузить на грузовичок, чтобы украсить клуб в дни похорон летчиков, которые погибли в катастрофе. А бились тогда часто. А иной раз посылали собирать их останки. А что там оставалось, можно представить. Но мы, пятнадцатилетние беззаботные юнцы, были так далеки от вечных проблем, что чуть ли бесились от восторга, вырвавшись на природу. Достанется мне ломать елки и на похороны моего старшего товарища Юры Гарнаева, что погиб во Франции на тушении пожаров, и моего закадычного дружка Кости Мамкова, с которым просидел я пять лет в техникуме. Но сейчас я о том, что этот крепкий, назойливый еловый запах убил первое чувство, которое всегда ощущаешь от прихода елки в дом. Оттого я тяготею, хоть это странно, к искусственным елкам. Которые ничем не пахнут! Ни праздником, ни бедой.

Но в первый Новый год меня почему-то удивил, изумил, потряс Дед Мороз, стоящий под елкой в ватном снегу. Про вату я все понимал, и даже про конфеты, которые нельзя было трогать без спроса, хотя очень хотелось, и про звезду на вершине, которая сверкала и переливалась, как настоящая. Но вот Дед Мороз в блестящей одежде с ме-

шочком за спиной, долго занимал мое воображение... Если он настоящий, то почему такой маленький, а если не настоящий, то где же тогда настоящий и почему его нет.

Когда у меня появился ребенок, я придумал ему своего Деда Мороза. В ту пору заказных дедов еще не было, и под Новый год папа демонстративно брал полотенце, чтобы принять душ. Из ванной, в приготовленном костюме, выходил уже в роли Деда Мороза. Я поздравлял детишек (были еще племянник и племянница), вручал подарки и прощался, а потом папа с полотенцем на плече возвращался из ванной, и дети наперебой рассказывали ему, что без него, как жалко, приходил настоящий Дедушка Мороз, и какая у него борода, и какой он сам. Однажды этот момент сняли на любительское видео, и опытный оператор, кажется, это была жена, во время прихода деда Мороза, как бы невзначай сняла тапки, которые потом окажутся у папы после ванной. Взрослые смеялись, но дети, конечно, ничего не замечали.

Но это были дети двадцатого века, им ныне лет под сорок, и у них уже свои дети, к которым приходят Деды Морозы, заказные и платные. И любимый анекдот Зямы про новогоднюю ночь, когда раздался звонок и в дверях объявился колоритный детина с «калашниковым» в руке. «Деда Мороза заказывали? — рявкнул он. Гони, папаша, двести баксов! У нас время!» Растерянный хозяин послушно отдал плату и поинтересовался, а Дед Мороз-то, мол, когда будет? На что детина потряс многозначительно «калашниковым»: — «Сбрендил, папаша, что ли, ты же его „заказал!“»

Но если всерьез, я и сам подрабатывал в поселковом клубе в студенческие годы, играя Деда Мороза четыре смены в день, чтобы подкопить деньжат. Правда, однажды перепутал ребятишек и вручил заготовленный ценный подарок не дочке профсоюзного босса, а другой девочке, и меня с треском из Дедов Морозов вышибли.

А вот на днях приятель рассказал про трехлетнюю внучку. Снегурочка попросила ее прочесть стишки, после которых елочка и зажжется. Девочка иронично заметила, что

Снегурочка глупая и не знает, что елочку можно зажечь, вставив вилку в розетку.

О Рождестве в нашем доме разговора не было, хотя мама была верующей и не могла не знать и не думать о нем. Полагаю, что лишь хозяева нашего дома, у которых мы снимали комнатушку, Гвоздевы, праздновали этот Святой день, потому что они праздновали и Масленицу и Пасху. Именно у них однажды я увидел на столе поразившее меня пасхальное творожное чудо, отпечатанное при помощи дощечек.

Но девицы, населявшие наш теремок-теремок (на семи с половиной метрах семь человек: мы, да еще мамина сестра и ее племянницы), в Рождество гадали; клали под подушку вывернутые наизнанку мужские штаны, бросали за забор валенок, смотрели в стакан с обручальным колечком... И только на зеркалах не отваживались гадать, было страшно.

В поздние времена, проживая вдвоем с сестренкой в маленьком домике возле Люберец — мне было года двадцать три, а ей семнадцать — попробовали мы ворожить на Рождество: сестра взяла веник и стала подметать пол от печки к двери, а надо-то наоборот. И тогда будто бы, по поверью, откроется дверь и войдет суженый-ряженый. Ну, понятно, не он сам, а нечистая сила в его образе, и надо в него швырнуть веником, чтобы он убрался. В одиночку сестренка бы, пожалуй, испугалась, а тут осмелилась мести, и когда домела до двери, вдруг, и правда, раздался стук в дверь. Мы, снедаемые и страхом и любопытством, рискнули посмотреть в окошко и увидели военного, он ошибся адресом. А через год или два сестра вышла замуж за солдатика, который вернулся из армии.

Но это было давно, в прошлом веке. А тогда, в первую мою в жизни елку, понятия о времени не было, а жизнь впереди была безразмерной, беспредельной, такой вечной, что ни края, ни конца. У меня, как позже у моей дочки, никакого понятия о временах года, а точнее о череде месяцев, не существовало. Лишь увидев, это был первый в

моей жизни театр, сказку Маршака «Двенадцать месяцев», я был поражен. Как складно и гармонично в природе все устроено.

Прогуливаясь около музыкальной елочки (дин-дон-дили-дон), мы одновременно с женой вспомнили, как подготавливали детеныша в школу на собеседование, где будут задавать разные каверзные вопросы.

— Начинай, — говорила Катюне жена, — какие ты знаешь месяцы? — «Январь, — перечисляла дочка, февраль... август...» — «Почему же август? У тебя, что же, после зимы наступает осень?» — «Не знаю», — отвечал ребенок. — «Но песенку ты помнишь, вчера пели: И уносят меня, и уносят меня в звенящую светлую даль три белых коня, три белых коня: декабрь, январь и февраль...» — Дочка помнила и даже подпевала... — «Ну, какие же ты теперь назовешь зимние месяцы?» — спросила строго мама. — «Январь, — сказала дочка, — февраль...» — «Ну?» — «Август», — добавила грустно девочка. Видя, что с женой начинается истерика, я взял дело обучения в свои руки. — «Ладно, ладно, — сказал быстро. — Сейчас мы выучим. Это очень просто. А ты, мама, погуляй. Минут через десять мы нагнали маму и решили ей продемонстрировать наши успехи. — Так какие ты знаешь зимние месяцы? — спросила сурово жена. — Январь, — произнесла жалобно девочка. — А еще? — Февраль, — добавила она, вздохнув. — Мы ждали. — Ну, а еще? — Август...»

Она еще долго не могла запомнить месяцы, как и времена года, но разве она потеряла при этом счастливое ощущение вечности, дарованное нам свыше?! Не случайно же кто-то определил мелькание дней, месяцев, годов так: день-ночь, день-ночь, день-ночь... Новый год! И снова: день-ночь, день-ночь, день-ночь... Новый год!

А про август я вспомнил не случайно. Все, что потом случилось с Катюней, и произошло в августе... Она знала.

Вечерком пошел прогуляться по зимним тропинкам, надо было подумать о жизни. Назавтра назначен некий врачебный консилиум, который и вынесет решение. Со-

сны стояли чуть влажные, роняя с веток снег, было совсем тихо. Из-за реки потянуло ветерком, но лишь на мгновение, и белый ком, сорвавшись с ветки и рассыпаясь на лету, шмякнулся у моих ног, заставив вздрогнуть, как от нанесенного удара.

Я свернул к своей поющей елочке, она тихо пела, но огни не бежали в такт мелодии. Осмотрев гирлянду внимательно, я обнаружил две вывернутые лампочки, кто-то варварски нарушил музыкальный строй. Схулиганили и тем испоганили праздник.

— Ну ладно, — утешал сам себя, — поет же, что еще надо... Да ничего не надо. Но ведь лес-то сосновый, который окружал пансионат, продали под личные дачи, так что некуда пойти на лыжах; на детской площадке для санок кто-то вывалил мусор, хотя рядом корзина для мусора. И вот, две лампочки... Которых так не хватает, чтобы в Новом Веке звучала зимняя музыка.

Все просквозило, промелькнуло, рассыпалось... Откуда-то возникло библейское: у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один год. А сколько прошло лет, веков, тысячелетий с тех пор, как возник в реанимации из небытия? На второй день (это он потом узнает, что был второй), когда, казалось, что все невыносимо и хватит, хватит этих опытов с распятием, ведь уже было с кем-то и когда-то и тоже закончилось не лучшим образом,... он сквозь кисею сознания, зыбкого, неверного, почти нереального, разглядел женщину. Молодую, светлоглазую, почти воздушную. И не в белом, а почему-то в голубом халатике. Она молча расположилась рядом, глядя на него с мягкой улыбкой, и приложила руку к раскаленной от жара голове. Рука была прохладной, и стало легче. Он попытался сказать, чтобы она не убирала руку, и она, кажется, услышала.

— Ты кто? Ты — мама?

Сказал одними губами, но она поняла.

— Нет,— отвечала с той же улыбкой.

— Ты моя дочь — Катя?

— Нет.

— Кто же ты? Ангел? Ты за мной?

— Я к тебе... К тебе пришла, — отвечала она, наклоняя к нему голову. — И завтра тоже приду.

Потом она появилась опять, и теперь он ее узнал, она та самая сестричка из хирургического, что готовила к операции. Кажется, зовут Аленой. Она, как положено, накануне выбривала волосы на лобке, на животе, и хоть руки у нее были нежны и ласковы, он ужасно стеснялся, что он перед ней так обнажен, как не бывал обнажен даже перед женой. Господи, подумалось, как эти сестры терпеливы и не брезгливы к людям, которых они впервые видят. Или они свыше, самой природой предназначены любить всех страдающих? Ведь должны же быть такие? А он бы сам-то, сам, смог таким быть?

Однажды на Волге экскурсионный теплоход задержали на полчаса, потому что ждали туристов, причем немцев-инвалидов. Их привезли на самом шикарном автобусе-мерседесе, парализованных, в каталках, и расположили на верхней палубе для лучшего обзора. И когда он чуть отодвинулся со своим шезлонгом, чтобы не мешать, сопровождающая их девица громко и сердито произнесла в его адрес, что он неприлично ведет себя, побрезговав соседством с больными!

И еще он подумал, что будь он сам инвалидом на каталке, смог бы он надеяться, что его привезут в Германию, чтобы прокатиться по Рейну на экскурсии? И не оттого ли такое уважение к любой жизни, что гуманизм у этих самых немцев не случайная самодеятельность, не служебная формальность, а норма жизни, в то время как у нас... Да, у нас это как Божья благодать, при случае, если повезет... встретить вот такую медсестричку. А если не повезет?

— Как ты сюда попала? — вот что он спросил.

А она лишь кротко улыбнулась и ответила, что она тут у себя, и ей разрешили полчаса с ним побыть. Разрешили... Он лишь потом узнает, что никому такого в реанимации не разрешают.

— А почему такой грохот? Почему музыка? — еще спросил он. — И почему никто с утра не приходил?

— Так ведь праздник, — напомнила с той же тихой улыбкой.

— Праздник... Какой?

— Женский. Сегодня Восьмое марта, — и добавила тише: а у нас ведь женский коллектив.

— И никто не придет?

— Но я же пришла.

По выходе из больницы он увидит в каком-то популярном журнале статистику, что треть послеоперационных больных оставляют белый свет на третий день. А еще чаще в праздники. А праздник гудел по больничным коридорам до ночи, аж стекла дребезжали, и только одна женщина не отходила от него ни на шаг. Возможно, о ней даже забыли, и оттого она смогла просидеть дольше обычного.

А на шестой или седьмой день он проделал дорогу на узкой, дребезжащей железными колесиками каталке в обратную сторону, с девятого этажа на седьмой, в свою желтого цвета палату. Но и тут, снова, уколы (сколько их!), анализы, так что живого места нет на руках, и каждое утро капельница, увешенная, как новогодняя елка, бесконечными пузырьками с растворами.

Но окна здесь, он дотянулся, проверил, были накрепко заперты.

Вдруг появилась худенькая женщина в халате и платочке и сказала, что при больнице есть церковь, там служит бывший афганец, отец Василиск, и он может причастить пациента. А после обеда появился священник, молодой чернокудрый красавец, с острой бородкой, напоминающий итальянца с картин Возрождения. Он прочитал молитву, положил на стол просвирку, попросил пригубить из серебряной чаши вина.

— Желаете ли исповедоваться?

— Да. — И повторил более решительно, что он очень хочет исповедоваться. И сразу, чтобы не раздумать, заговорил:

— Знаете ли, — сразу как выдохнул, — я плохой отец, не помогаю дочке, которая теперь одна.

— Сколько ей лет?— спросил отец Василиск.

Соколов смутился.

— Маленькая.

— Дети всегда будут для нас маленькими.

— Но в нашем районе такое движение машин... И я опасаюсь... Я очень опасаюсь... — Священник слушал. Кивал. — Это ведь опасно?

— Да. Это опасно.

— А она может... Она может перед машиной перебежать дорогу.

— Мы будем молиться, чтобы этого не случилось, — сказал отец Василиск. И прикоснулся к руке больного. Он, кажется, все угадал. Не зазря прошел Афган. — Ей будет там хорошо, — добавил он.

— И еще... грех, мне даже больно говорить... Я давно не посещал могил родителей... Да и близких друзей, которые недавно ушли. Все думал, успею.

— Ну, вот, вы выйдете и посетите, — утешил священник.

— Выйду? — спросил он и вдруг заплакал. — Вы думаете, выйду?

— Конечно, выйдете.

— Но у меня ведь еще одна операция?

— Да. Но вы же видели Свет? На Сретенье?

— Видел. Прямо в глаза.

— Ну вот. Это вам знамение. Все кончится хорошо.

Это случилось накануне. Было Сретенье, и к нему пришла Алена. Как всегда сидела, чуть в отдалении, долгих разговоров не заводила, знала, что это для него утомительно. Но также знала, что ее молчаливое присутствие ему приятно, и когда он сказал, что устал и хочет подремать, кивнула: «Ну конечно, поспите. А я тут посторожу».

Сколько он дремал, не знает, но вдруг пробудился от яркого света. Прямой сильный свет в лицо, он даже не смог сразу открыть глаза, только в полусне раздраженно попросил, пытаясь отвернуться: «Ну, зачем включили лампу? Выключите! Выключите, пожалуйста!» А потом про-

снулся, открыл глаза, увидел лишь полутемную палату и Алену, которая по-прежнему сидела в кресле с журналом в руках.

— Ты включала свет? — спросил тревожно он.

— Какой свет? — удивилась она.

— Да, да, — пробормотал он, окончательно приходя в себя. — Это был не такой свет, как от лампы... А как луч от прожектора... Прямо в лицо.

— Ну, вот, — произнесла уверенно Алена. — Вас услышали. Значит, все у вас будет хорошо.

Еще вчера его мучила такая тошнота, так мутило, что он не мог ничего есть, даже видеть поднос с едой, который ставят на столик. Да и вообще испытывал отвращение к жизни. А сегодня проснулся до рассвета с чувством обновления, будто приехал из отпуска. Необыкновенная свежесть в теле и голове. Ну то есть тело пока, как у постороннего, оно по-прежнему ему не принадлежит, а вот на душе стало благостно, как во время праздника. Он вдруг подумал, что почему-то очень хочет редиски.

Когда пришла Алена и тихо-тихо, как мышка, присела в углу на свой стул, он спросил, впервые так робко:

— А меня могут отпустить? Если на сутки?

— Я дежурю в субботу, — сказала она после некоторой паузы. — Можете уйти. Никого в выходные из врачей не будет. Только дежурная сестра.

— А тебя за это...

— Ну, не казнят.

— Но ты не боишься потерять работу? Кстати, сколько тебе платят?

— Немного. Но в других больницах еще меньше.

— Эта — блатная?

— Конечно.

— А как же ты устроилась?

— Конечно, за деньги.

Она произнесла это так, будто по-другому и не бывает.

— Да, кстати. Я тебе ничего не должен?

При этих его словах она встала и вышла. Но от дверей сказала:

— Я вернусь.

Но в этот день уже не вернулась. Обиделась.

В этот вечер вдруг позвонили по телефону из информационного телецентра. Приятный женский голос сообщил, что это опрос телезрителей, и они хотели бы знать, какие передачи он любит смотреть, а если смотрит сейчас, то что именно. Вопрос его немного рассмешил. «Я вас вообще не смотрю, — отвечал он вежливо. — Единственная передача, которую я принимаю на спортивной волне, там, где показывают рыбалку. А все остальное, по-моему, опасно для здоровья. Да, кстати, вы позвонили в больницу». Девочка тут же положила трубку. А он включил свою программу, где блистала и переливалась на солнце речка, голубело небо, сверкала серебром живая рыба, и подумал, впервые, что отдал бы еще килограмм крови и вытерпел все, только чтобы в темнозорь посидеть в лодочке на Селигере.

Как-то на турбазе в очередь за лодками стояла за ним немолодая женщина, которая попросила оставить ей единственную здесь большую лодку «Фофан». Ялики были легче, но менее удобные для рыбалки. Он поперву заупрямился, но уступил, узнав, что женщина привезла на Селигер неходячего инвалида в коляске. Женщина вкатывала коляску в лодку и вывозила мужа на рыбалку.

Сбежал он в воскресенье, чтобы не подводить Алену. Сперва в парикмахерскую, к своей знакомой Гале, которая стригла его много лет и знала, как из обезьяны, такая была у него шутка, сделать человека. Он даже ее поторапливал, пока не сообразил, что день-то теперь весь его, кто его может вернуть обратно? Дежурная сестра? Да и зачем он ей нужен?

Покинув больницу, зашел в «стекляшку» подкупить продуктов. Отвык от цен и удивился, что упаковка молока стала стоить дороже, как и батон хлеба. Значит, давненько не покупал. И как-то неожиданно для самого себя вышло, расплачиваясь на выходе, вдруг какой-

то девице на кассе сказал, что мол, вот, только из больницы... Зачем? А шут его знает зачем, может, искал сочувствия. И тут же поймал ее недоуменный взгляд, взгляд затырканного непрерывной работой человека, который впервые оторвался от кассового аппарата. Выходя из дверей вдруг подумал, что никогда и никому не жаловался, а про больницу и вовсе молчал, а тут, в казенном месте, захотел услышать что-нибудь человеческое... Где уж там!

Редиски, которой до смерти хотелось, в магазине не оказалось. Он купил творожный сырок, авокадо и груш и приехал домой. И в первую очередь сварил кофе. Не так давно, разговаривая по телефону с одной знакомой, спросил, не помешал ли своим звонком, не оторвал ли ее от завтрака... В ответ услышал: «а я уже прихлебываю кофе». Ох, как ему захотелось прихлебывать кофе, которого месяц не пробовал! И вот теперь в своем доме, за своим столом, сидел и, по-дурацки улыбаясь сам себе, прихлебывал кофе, заедая любимым сырком. Вот что такое оказывается счастье.

Алена же объявилась в понедельник и молча затаилась в уголке. Даже ничего не спросила. А когда он объявил, что здорово гульнул и теперь готов к новым подвигам, сказала, что операцию ему назначили на осень, сейчас все равно он не вытянет, еще слаб... И почему-то спросила, а знает ли он, что ему с трудом, тогда в марте, доставали кровь...

— А это так трудно?

— Это трудно, — подтвердила она. — У вас отрицательный резус, а в институте крови запаса не оказалось. Есть у них один постоянный донор с вашей группой крови, но запил еще в день защитника... В феврале...

— Ну и что?

— Алкоголь же в крови... Но, слава Богу, нашлись какие-то ваши друзья или коллеги, не знаю...

— И я не знаю, — сознался он. — Я никому не звонил.

— Значит, сами узнали. Достали три порции, хотя надо было четыре.

Последний разговор с Аленой был, когда он выписывался. Она почему-то пришла с букетиком цветов. Он сразу объявил ей, что уезжает на море. Врачи, конечно, запретят, но ему все равно.

— Хотите, я приеду? — вдруг спросила она.

— Зачем?

Ах, какой он был глупец, разве это спрашивают после того, что пережито.

— Не знаю, — сказала она. — Тоже... Хочу отдохнуть.

— Но ты хоть знаешь, что со мной?

— Знаю. И даже больше, чем вы сами.

Сказала и, наверное, тут же пожалела.

— Не все, конечно. Я только медсестра.

— И это тебя не останавливает?

— Конечно, нет. Вы даже не представляете, насколько я вас знаю. Еще до палаты. Мне кажется, я знаю вас всю жизнь.

Это уже звучало как признание в чем-то большем, чем он мог ожидать, и он растерялся.

— Сколько же тебе лет?

— Тридцать. И у меня ребенок.

— А муж?

Она промолчала. Но не потому, что хотела скрыть. Просто ее об этом никто раньше не спрашивал.

— Я воспитываю ребенка одна, — и добавила: — У меня давно нет мужа. И я никого не хочу. Правда.

— А тебе известно, сколько лет мне?

— Конечно, известно. — Она засмеялась — Я же говорю, что о вас знаю больше, чем вы сами! У меня мама преподавала литературу, я от нее много чего узнала. И книжки читала, которые запрещены. Даже Солженицына.

— Но если все так откровенно... Осенью еще одна... Самая сложная... Что меня ждет?

Она молчала.

— Ты же медик... Ты должна все знать?

Она продолжала молчать, только голубые глаза ее, чистые, без признаков хоть какой-то, хоть мельчайшей лжи, напряглись и повлажнели.

— Встретимся... там... Поговорим.

Она поднялась, молча написала на листочке свой адрес и телефон и вышла. И даже не появилась, чтобы проститься, когда он с вещами покидал больницу. Цветы, принесенные ею, он оставил на столе. Из больницы цветов не забирают.

Глава тринадцатая

Тексты

Дима, хоть и постучался, но вошел в комнату, как к себе домой. Но, правда, с широкой улыбкой и со словами о здоровье и самочувствии. И тут же выставил на стол, развернув бумажный замасленный пакет, пластиковую тарелку, доверху наполненную золотыми, источающими пронзительный горячий аромат чебуреками.

— С пылу-жару, вот... Как, говорят, летел... Чтобы не остыло! — как-то очень громко и радостно объявил он. Но тут же: — А как наша нетленка? — и уставился на лист, вставленный в пишущую машинку. Но слава Богу не тот, где до болезни Соколов что-то в отчаянии отбарабанил, это был другой, совсем чистый лист. Но он-то и отражал, более всего другого, творческий настрой автора. Зяма сказал бы: творческий запой. Была у него еще одна формула, ставшая расхожей среди коллег: с утра выпил и весь день свободен.

Дима опытным глазом охватил стол и, конечно, не смог не увидеть, что стопка заготовленной им бумаги не убыла, а значит, никакого движения с будущей рукописью нет. Разве что о Котошихине, но ожидалось и что-то другое. Но, кажется, он и до этого догадывался, вглядываясь в лицо Соколова, там, на недавнем банкете, какие смуты происходят у того в душе.

— Не пишется? — энергично спросил, усаживаясь за стол и придвигая к себе машинку. — А тут и писать-то не надо, она сама все напишет! Вы не читаете этих дамочек? Уж не знаю, как их обозвать. Писухи? Еще как? Недавно одна из них объявила, что за полгода успела накатать всего четыре романа! Не работалось тоже!

Соколов засмеялся. Могло показаться, что ему в этой жизни все дается легко.

— А кстати, почему у вас такие грамотные люди, а говорят о произведениях «тексты?» «Я ваши „тексты“ получил. Я ваши „тексты“ прочел». Для них что, рассказы Чехова или романы Толстого — «тексты»?

— Ну, думаю, — сказал Соколов, — это пошло от наших молодых режиссеров, которые вообще глуховаты к слову. Для них даже Чехов — лишь материал для самоутверждения. Есть, мол, «текст», нечто наподобие глины, а есть его виденье «текста», то есть, возможность что-то из этой самой глины вылепить.

— А вы... Простите, в нашей книжке... Тоже будут «тексты»?

— Конечно.

— Занятно. Ну что же, начнем с «текста» первого?

И он снова засмеялся.

Соколов, полулежа на диванчике с интересом наблюдал за действиями Димы, отметив про себя легкость, с которой тот вписывался в любые жизненные обстоятельства. Кажется, это зовется мимикрией. С таким характером он сможет равно служить и дьяволу и Богу. И даже получать от того и другого удовольствие. Кто же он на самом деле, и кто тот, которому он сейчас служит?

— Давайте начнем вот как, — объявил, чуть сосредоточившись, гость и резво застучал по клавишам. — Детство и юность Андрея Соловьева были нелегкими. Но именно в эти годы выковывался его упрямый, целенаправленный характер: детдом, ремеслуха, техникум, первые шаги в трудовой деятельности на производстве.

— На каком производстве? — поинтересовался Соколов, стараясь скрыть удивление. Уж очень складно у гостя все выходило.

— А вы на каком?

— Я работал на стройке.

— И он на стройке.

— Я Братск строил.

— Он тоже. Его любимая поговорка: «Всевышний создал землю, а все остальное сделали строители». Тем более что наш герой занимается строительством до сих пор. Здесь, например, на побережье. Еще в Болгарии, возле

Несебра, там наш практичный коллега полберега отхватил... Но и мы не оплошали. В Греции, опять же в Испании. А потом он поедет в Черногорию...

— И это все писать?

— Нет, — ответил Дима, не восприняв юмора.— Я говорю про Братск. Ну еще Усть-Илим. А можно и Богучаны прихватить, хотя они недостроены. Вы же там были?

— Был.

— Вот и отлично. Жаль, Чубайс об этом не знает. Сейчас это актуально. В общем, продолжайте в том же духе. А первый камень в фундамент, считайте, я вам заложил.

— А если кто-то начнет сверять? Журналист какой? Покопается в Интернете и обнаружит несоответствие... У вас, небось, и врагов немало?

— Это наша забота. Мы работаем на опережение. Фильм «Котовский» видели? — И он повторил слова БОСа про врагов, которым нужно навязать свою психологию.

Дима допечатал какую-то часть текста, и, откидываясь на стуле, добавил, но так, будто обращался не к оппоненту, а к самому себе:

— Нам важно, уважаемый Александр Семеныч, никогда не забывать, что с Соловьевым было все, что было с вами. А эта биографическая книга станет эталоном, образцом, первоначальным источником для тех, кто потом захочет о нем что-нибудь рассказать. А никак не наоборот.

— А если в мою, извините, биографию, что-то не вписывается?

— Что именно?

— Ну что-нибудь... Больница, вот...

— Нет, больница не того... Люди про болезни и страданья не любят читать. Разве что садисты...

— А про что люди любят читать? — спросил, поднимая голову, Соколов. Он даже присел на своем ложе, настолько его заинтересовал ответ. — Я ведь, Дима, человек потусторонний, старомодный... Нынешних читателей не знаю.

Дима не мог не догадаться, что его собеседник несколько блефует или валяет дурака. Но не обиделся, не рассердился.

— Читают про секс, — сказал он со знанием дела, — про убийства, если приличный детектив, про скандалы со знаменитостями... Ну а всякая чертовщина всегда в моде.

— И все? — искренне удивился Соколов. — А Чехова и Толстого не читают?

— Ну, так себе. В школе. А вот от Гарри Потера сходят с ума.

— Но ведь это литература... Для дебилов. На уровне комиксов. У меня ничего подобного нет... И вроде бы не предвидится.

— Уважаемый Александр Семенович! Дорогой наш автор! Мы вашу биографию выучили назубок. И много раньше, чем встретились в издательстве. Иначе бы мы выбрали дру-го-го. У нас было из кого и из чего выбирать. Даю вам честное слово.

— Я догадываюсь, — согласился Соколов.

— Вот я слышал, как вы произнесли, что важно, мол, сохранить душу. Мы эту идею у вас покупаем. Теперь она будет нашей идеей. Единственно, что нам не пригодится, так это ваша фамилия. А ваша душа, но уже под знаком Соловьева, будет выглядеть не хуже, поверьте! Мы ее соответственно упакуем и преподнесем.

— Душу?

— Да, душу. Фауст и Мефистофель не более чем образы, созданные гением поэта... Но мысль, идея просто великолепны. Вы не находите?

— Как же, нахожу... И эту идею уже покупаю я, — произнес, вдруг оживившись, Соколов. — Образы Фауста и Мефистофеля мне совсем не приходили в голову до встречи с вами. Особенно сцена в кабачке у Ауэрбаха, где он блестяще поставил на место пьяных гуляк!

Дима даже онемел от такого пассажа. Некоторое время недоуменно рассматривал собеседника, а потом громко расхохотался, аж звякнула посуда на столе. Он готов был оценить шутку. Если это только шутка.

— Так что я должен описывать? — спросил живо Соколов. — Свое детство? Юность? Учебу в школе, в институте? Службу в армии?

Дима с ходу отверг это предложение.

— Нет, нет. Вы не пишите биографию Брежнева или как ее... «Малую землю». Это правда, не вы ее писали?

— Правда. Не я.

— Жалко. А сварганено-то лихо... Для того времени! А кто же этот ловкач?

— Понятия не имею.

— Ну, так я вам и поверил!.. Да мне не важно. Но мы пойдем другим путем. Тоже не помните, кто сказал? Ладно. Наша с вами книга будет вовсе не стандартная биография. Даже вовсе не биография. Мы не отдел кадров, да и скучно это. Хотя как-то в Варшаве я был на спектакле, который пользовался у поляков невероятным успехом, а назывался он, кажется, «Картотека». Ну то же что анкета. Не слышали?

— Нет. Меня за кордон не пускали.

— Ну, сейчас-то...

— Сейчас не знаю. Но у меня даже заграничного паспорта нет.

— Вот как!

Дима оживился. Тут же сказал, что это не проблема. Сработаемся, будет и загранпаспорт и все остальное.

— У вас ведь ровная дата осенью?

— Я не люблю ровных дат, — отвечал, чуть нахмурясь, Соколов.

— Но ведь можно и без упоминания возраста... Какой-нибудь красивый вечер с поздравлениями там... Напомнить о себе... Ну ладно, — заключил гость. — Будет день, будет и пища.

— Будет книга, будет и пища? — переиначил как бы невинно хозяин.

— А почему бы нет? — подтвердил, не смутясь, Дима. — Будущую книгу, дорогой автор, мы с вами будем делать в виде вопросов и ответов.

— Вы будете задавать вопросы? — поинтересовался хозяин.

— Нет. Вы будете сами себе задавать вопросы... И сами же будете на них отвечать.

— Как же это? Не очень понятно.

Соколов и вправду чуть растерялся, уж очень необычным было предложение. Хотя, написав десяток книжек,

можно было бы привыкнуть ко всему. Но его вопросы к самому себе касались только его. В этом он был уверен.

— Да, это не стандартно,— подтвердил его догадку Дима. — Есть вечные вопросы бытия, которые стоят перед каждым человеком. И люди, в меру возможностей, на них отвечают. И я... И вы тоже... Ну, скажем, о предательстве, о дружбе, о врагах (вы не случайно о них помянули), о бедности, коммуналках или очередях... Не вам напоминать, сколько ваше поколение выстояло в очередях!.. Но и о смерти... О любви...

— Но я же не Толстой, не Чехов, в конце концов, чтобы отвечать публично на вечные вопросы! — воскликнул Соколов. — Я привык, как положено!

— А как положено?

— Ну как... жизнеописание, как вы сами определили. Родился, бегал, играл, взрослел...

— «Детские годы Багрова-внука»? «В людях»? «Мои университеты»?

— Ну, примерно.

— Ладно. Подумайте на досуге. Я же предлагаю творческий вариант, он же для вас должен быть куда интересней, чем примитивная анкета. Вот вы упомянули семью... Так? Пишите! Домашний быт и всякие там патриархальные радости греют читателя, ему не хватает в сегодняшнем мире тишины и тепла.

— Их всем не хватает, — охотно согласился хозяин.

— А вы не заметили, что шеф неравнодушен к женской теме... Нет, нет, не то, что можно подумать. Не секс, не раздевание, а просто желание понять нынешнюю женщину. У него к ним особое, даже чуть возвышенное... Я бы сказал, ста-ро-мод-ное отношение. Откуда это исходит, не нам судить. Но достойно уважения. И вот, давайте что-нибудь этакое, романтическое. Ему понравится. У вас, кстати, память о маме вашей осталась? Ну, чувство какое-то, как она вас ласкала, целовала... Любила?

— Да. Но это никого не касается, — резковато отреагировал Соколов.

— А жена... А дети...

— Тоже.

— Решите сами, — ничуть не обидевшись, миролюбиво произнес Дима. У него были крепкие нервы. — А сейчас поднимайтесь, а то чебуреки остынут. А я, если вы не против, еще вас навещу.

— Конечно, конечно, — почти доброжелательно согласился Соколов. — Если двери не заперты... Вот Шера... он боится закрытых дверей. А я боюсь открытых...

— Почему? — Дима постарался не понять намека.

— Всю жизнь прожил в общежитиях. Кто хочет, зайдет... Кто хочет, включит на полную громкость радио... Или сядет прямо на ноги тебе выпивать, да еще попросит подвинуться, если ты спишь...

— А вы можете перечислить, где вы проживали?

— Вам это интересно?

— Нам — да. И вам, наверное, интересно припомнить. Но только попрошу... Об одном...

— О чем же?

— О каждом таком проживании всего эпизод, что более всего запомнилось. Вот как вы сказали, садились прямо на ноги спящему...

— А вашего шефа я не смогу повидать? — спросил Соколов неожиданно.

— Ну почему же, — отвечал гость, — сможете. Только когда он вернется. Он, как я вам рассказывал, весь в делах. Будет хорошо, если мы встретим его тоже делом.

Глава четырнадцатая

Мать

Старые малым говорят так: вам не видеть нашего начала, нам не видеть вашего конца. Но это все девятнадцатый век. Сейчас же жизнь так перевернулась, что старые провожают в последний путь молодых, а их самих и вовсе некому проводить. Соколову ли об этом не знать!

Свою маму он, в те времена его звали Санёк, помнил отрывочно. В памяти возникают лишь какие-то цветные лоскутки, никак не соединяющиеся в единую картину, именуемую домом. Помнил, например, как на кухонке, это была общая кухня, мама на керосинке пекла блины, намотав на вилку тряпицу и макая ее в блюдечко с маслом, но когда она еще месила тесто, разрешала ему с ее рук, с ее пальцев это вкусное тесто объедать и при этом громко смеялась.

Еще помнил, что у мамы на спине, на уровне поясницы, была родинка в виде шарика, и когда ему позволяли побыть с мамой на их большой родительской кровати (счастливые минуты!), а так он спал на диване, этой родинкой-пуговкой разрешалось поиграть. Но мама тут же остерегала, чтобы трогал поосторожней, если эту родинку нечаянно оторвать, мама истечет кровью.

Еще в памяти осталось, как ходил с мамой в баню, она несла в руках эмалированный тазик с каким-то бельем, которое можно в бане постирать. В доме вода была на колонке, куда он ходил с бидончиком, а туалет на улице. Еще бывал он с мамой в керосиновой лавке. И в бане и в керосиновой лавке надо было стоять в длинной очереди, в которой были почему-то одни женщины. То есть стояли не сами женщины, а стояли в очереди, что мальчика всегда занимало, их тары: бидоны, бутыли, канистры, в то время как их владелицы кучковались на улице, пересказывая всякие городские новости. Во время болез-

ни мама вязала, и после нее, как рассказывали люди, остались дивные кружевные скатерти и покрывала, которые раздали ее подругам и соседям.

Умирала она тяжело, после нескольких операций на легких, и последнее время не могла подняться даже к столу. Но когда он на Рязанском шоссе попал под телегу с лошадью, запомнил, как она с растрепанными волосами, устремив безумный взгляд в пространство, бежала по дороге, чтобы ему помочь. Страх за ребенка оказался сильней болезни.

Санёк, он же Соколов, не любил задерживаться в их коморке с единственным занавешенным окном, где лежала в последний год мама, он был предоставлен сам себе, и эта самостоятельная уличная жизнь ему ужасно нравилась. Но однажды мама задержала его и стала что-то говорить о его будущей жизни без нее. Он ничего толком не понял и ничего не запомнил, слишком был погружен в свой, заполненный мелкими, но заманчивыми подробностями, микромир. Мама на то и мама, чтобы быть всегда. Только в позднем возрасте, заимев ребенка, он смог прочувствовать, что должна была переживать его мама в свои тридцать лет, зная, что скоро уйдет, исчезнет, и не сможет уже ни-ко-гда ни помочь, ни спасти свое дите от всего, что грядет для него в полной опасности будущей жизни, которую она, как женщина, предощущала.

Он попробовал представить, как это возможно, не только, лично, про ту маму, которую он помнил, а вообще, про любую маму, которая навсегда оставляет этот свет, испытывая мучительную потустороннюю тоску от своего расставания с беззащитным ребенком.

Первые слова его были: «Жила одна мать...»

«Жила одна мать, а потом она умерла еще в молодые годы, но перед тем дала жизнь ребенку. Последним ее чувством был этот ребенок, мальчик, который как бы и не был собой, потому что ничего не знал и не понимал, но в нем была ее кровь, очень теплая и быстрая, и эта кровь неотвратимо вела его к зрелости, уму, красоте. И, почув-

ствовав, хотя и не узнав, сына, мать перестала что-либо чувствовать и даже бояться саму смерть, потому что единственно, кто ее не боится, это те, кто через нее прошли. Для живых же смерть не тем страшна, что умирают, а тем, что не воскресают. О Христе мы не говорим. И хотя утверждают, что на земле перебывало семьдесят семь миллиардов человек, так было всегда, кроме одного-единственного случая и этот случай произошел с матерью, о которой я пишу.

Вышло так, что ровно через двадцать пять лет, среди бесконечности небытия, в ней раздалось то странное чувство, которое жило в ее плоти, теперь уже не существующей. А так как память нематериального вещь исключительная, то и события дальше произошли тоже исключительные, которые не могли бы нигде, кроме этого рассказа произойти.

Мать пришла к Богу, существу вечному, а потому доброму и бескорыстному, но, кажется, и беспомощному, потому что отсутствие возможности за что-то бороться лишило его воли и внутренней силы.

— Я вспомнила, что у меня был сын, — сказала мать тихо.

— Ну что ж, — ответил Бог, — все живое дает жизнь и уходит. Только зачем ты это вспомнила?

— Не знаю. Я только знаю, что у меня был сын. И я хочу знать, какой он.

— Я тебе все расскажу, — проговорил доброжелательный и терпеливый Бог. — Я даже могу рассказать о годах его старости, о смерти, а также о его внуках и правнуках, которых он и сам не знает.

— Нет, — сказала мать, и ей стало тревожно и больно. — Меня не волнуют внуки и правнуки, а что мой сын умрет, я и без того знаю. Он умрет потому, что он родился. Ты пойми, я хочу лишь одного: знать, какой он сейчас. Дай мне взглянуть на сына, Бог!

— Этого не бывает, — сказал очень добрый и беспомощный Бог.

Он никак не мог найти такие слова, чтобы они убедили эту упрямую женщину.

— Дай мне глаза! — попросила мать взволнованно, и почти неслышно. Но так как во всем потустороннем мире кроме этого, единственного в вечности разговора, не было ни одного звука, Бог ее расслышал и ответил растерянно, что ее глаза давно превратились в грозовые облака и сейчас выпадают дождем на дикие камни Тибета.

— Но даже... Даже если я соберу их по капле и солью в прохладные овальные формы, — добавил Бог, — для них нужно же иметь еще лицо?

— Тогда дай мне лицо, — попросила бедная мать.

— Но за этим потребуется и голова, и шея, и само туловище, ты же это сама хорошо понимаешь...

— Понимаю. Но не понимаю.

Мать и Бог замолчали. Но и тот и другой знали, что единственный происшедший такой разговор не может закончиться ничем, потому что мать не должна была, по вечным законам вселенной, носить в себе неосуществленную мысль о сыне. Но она же ее носила. Носила.

И тогда Бог сказал:

— Конечно, мне все это до предела странно. Но раз это произошло, я не могу бездействовать. К тому же я единственный, кто может что-то сделать.

И с тем он начал собирать мать по частям, очень легко, потому что все они, хоть и были к тому времени землею, деревом, влагою, живой гусеницей, и даже печенью рыбы, — но каждая частица помнила еще свою прежнюю форму и свое место в матери целиком.

Так она и сложилась, и вышла бы из этого только мертвая плоть, если бы в матери не было страстного желания, свойственного лишь живым, — видеть своего сына.

Проделав все это, хоть это было в первый раз, и потому непривычно, Бог произнес удовлетворенно:

— Как видишь, я старался, но я и сам не понял, почему все так удачно сложилось. Теперь ты живая и иди к живым. Знать всё — для меня дело более привычное, чем самодеятельность по воссозданию плоти, и я точно знаю, что твой сын должен проехать в вашем городе на первом номере трамвая несколько остановок. Иди и садись в тот

трамвай. Он ходит по кругу. Ты сможешь там увидеть своего сына. Но подожди, — крикнул вдогонку Бог. — Как ты его узнаешь?

— Я его почувствую, — ответила мать, улыбнувшись. Она поняла, что этого чувства не знает даже Бог, а знают лишь матери.

— Ну тогда торопись, идут сроки, и сын твой за время нашего разговора может состариться, — предупредил Бог.

А мать села в указанный трамвай и стала смотреть на входивших и выходивших людей. Если бы она взглянула в окно, то увидела бы перемены, происшедшие на земле и в их городе. Хотя много она знать не могла. Она, например, не знала, что после нее была война, и люди засевали городскую землю вдоль тротуаров и трамвайных рельсов картошкой, чтобы не умереть с голоду, а все заборы и деревья пошли в холодные военные зимы на отопление. Потом картошку сажать перестали. Дети, а среди них наверное был и ее сын, с песнями и в красных галстуках вырыли ямки и посадили в них маленькие деревца, а эти деревца незаметно подросли и превратились в зеленые аллеи. Затем здесь стали рыть котлованы для фундаментов больших домов, и многие деревья порезали и поломали и даже выкорчевали бездушными экскаваторами. Но поднялись дома и вокруг них снова вырыли по осени в красной глине квадратные лунки и другие дети с другими песнями, но так же весело и энергично посадили саженцы.

Этого ничего мать не знала, она не смотрела в окно. Если она возродилась, то только ради одного мгновения — увидеть своего сына, и теперь она смотрела лишь на двери, которые открывались и закрывались с металлическим грохотом, пропуская пассажиров. Но сына среди них не было. И от напряжения у нее медленно выходили слезы. Она не решалась их смаргивать, чтобы не пропустить сына, а многие стоящие рядом люди думали, что женщина плачет с горя, и сочувственно вздыхали, не зная, как ей помочь.

А трамвай ходил кругами мимо домов, где росли деревья, мимо пустырей, где только начиналось строительство,

и тех мест, где ничего не строилось, но когда-нибудь что-нибудь будет построено. А пока здесь росла трава и паслись коровы. А сына все не было.

Но однажды он появился, ввалившись с другими пассажирами на остановке. И мать почувствовала горячую волну в груди и сильный толчок под сердцем, означавшие, что она не ошиблась, узнав его, хотя он был совсем не похож на того сына, которого она представляла в мыслях. Но она сразу же увидела, что у него распахнуто пальто и нет никакого шарфа на голой шее.

И мать подумала: „Он даже не чувствует, как дует в трамвае, но боже, как это хорошо, что он здесь".

Сын между тем бросил монетки в автомат, небрежно оторвал билет, и мать увидела, как монетки задрожали на дне прозрачного ящика, когда тронулся трамвай... А он повернулся к красивой молодой женщине, которая была рядом с ним, и стал что-то ей рассказывать, веселое и интересное, и при этом наклонялся к ней так близко, что касался губами ее волос.

А мать смотрела и размышляла, жена она ему или не жена. А если жена, то у них могут быть и дети. Люди они здоровые, и заработок, судя по одежде, приличный, отчего же им не иметь детей. Но женщина вдруг заторопилась к выходу, прощально махнув ее сыну рукой, и мать поняла, что она вовсе не жена, а может быть возлюбленная или просто знакомая. Как говорят: товарищ по работе. И мать подумала, что жалко, что он не встал и не проводил эту красивую женщину, они так близко стояли вдвоем, и он, конечно, чувствовал запах ее волос, и смех у нее был такой приятный.

Сын между тем, уже не глядя в окно, где еще можно было увидеть его спутницу, вынул газету и стал читать. Его несколько раз толкнули, но он ничего не заметил. Какой-то человек заглянул к нему в его газету через плечо, и они заспорили, сильно жестикулируя. Мать видела теперь его руки в ссадинах на узлах пальцев. „Конечно, он много работает, — подумала она. — А может быть, водит мотоцикл и ему приходится часто его ремонтировать. Только зачем он сердится, когда спорит, ведь все это ничего не

значит, а времени жалко. Но это тоже хорошо, когда он спорит, кадык у него дрожит, а глаза напряжены как у его отца. Нет, все так прекрасно!“

А потом он вышел, забыв газету на сиденье. И уходя из мира живых мать, затихая, замирая, и совсем исчезая, успела подумать: „Все так прекрасно, все так хорошо и больше мне ничего не надо“.

А ее сын проснулся с утречка пораньше, он торопился на трамвай и на работу, доедая на ходу бутерброд, и все силился понять, как он возвращался от друзей вечерком, будучи под градусом, к себе домой, и никак не мог вспомнить...»

— Сентиментально... Позитивный конец... И при этом берет за душу... Для нашей с вами книги подойдет. А не хотели бы написать что-нибудь про любовь?

— Чью любовь? — поинтересовался хозяин.

— Ну, конечно, нашего героя... То бишь, Соловьева! — Дима громко рассмеялся. — А это что?

— Что?

— Да вот. Узник... в какой-то тюрьме... Новый роман?

— Да какой роман. Так, странички... Набросал для себя... По памяти...

— Вы не против, если для шефа захвачу? — спросил Дима, пробежав глазами первый лист, и не дожидаясь разрешения, свернул листы трубочкой и сунул в карман.

— Да берите, — отмахнулся небрежно Соколов. — Это так... Фантазия для души.

— Для души — это мы ценим, — подтвердил, уходя, Дима.

Глава пятнадцатая

Русский узник в шведской тюрьме

...И хоть верил Григорий Карпович в милосердие судьбы, не могущей дать ему погибнуть в расцвете лет, однако чем дальше, тем более он нервничал, срок проходил, никто не спешил к нему на помощь с утешающими вестями. А ведь дважды писал он самые раболепные, слезливо просящие послания канцлеру, а через него и самому королю, юному Карлу XII. Напоминал о своих заслугах, просил снизойти, понять, простить... Ибо нет здесь у него другой защиты, кроме милосердия короля. Но способен ли мальчик, только взошедший на престол, проникнуться ценностью чужой жизни и подняться выше, чем плата злом за зло?! Способен ли престарелый канцлер граф Де Ля Гарди, проливший на войне с русскими столько чужой крови, вспомнить, наконец, о Всевышнем и не прибавлять к длинному списку своих жертв еще одну, по сути-то безвинную! Ну а если наказывать, то, как на Руси ведется, дальней ссылкой, а не смертью под топором. Изводи, как Крижанича изводят, держа в изоляции, но жизнь-то не бери, она одна!

Было отчего прийти в отчаяние и запить по-черному, как пил у себя на родине, когда вернулся из посольского победного выезда в Кардис и застал в Москве полный развал: отца посадили, дом отобрали, жена в заточении в неведомом монастыре... И детей нет! Продали! И сам раздет и разут... Вот тогда он пустился во все тяжкие... Пил и себя не чувствовал. Как сейчас! А тюрьма молчит, ничьих не слышно шагов, ибо в ней никого нет, кроме русского смертника. Неужто он один во всей свейской столице злодей и преступник? А остальные безгрешны? Загнали волка в кут, там ему и каюк! Хоть зверем вой, никто не прибежит, никто не услышит. Сторож спит, не хуже чем российский стрелец в карауле, храп от его дальней сто-

рожки аж сюда через стены доносится! Даже ближайший из неближних в этом сером городе высокочтимый магистр Гербениус, через которого передал Котошихин свои письма, тихий стеснительный старик, даже он забыл в тюрьму дорогу и не кажет себя вторую неделю. Да уж ясно, отчего не кажет, не с чем казать-то, нет от короля ничего. Может, тогда и лучше, чем с дурной новостью быстро явится?

Устав от бесконечного кружения по камере, падал узник на низенький лежачок с подстилкой из гнилой соломы: Европа, а соломы свежей не имеют! — и валялся, уставясь в узкий проем окна, перекрещенный решеткой, от нее в лунные бессонные ночи отпечатывалась на каменном полу тень крестом. До поры, когда сквозь решетку проникал сыроватый предзимний рассвет. На дворе стоял поздний ноябрь. А как мерк свет, ждать переставал, выучив наизусть манеру здешних обывателей жить, как немцы, по твердому распорядку да по часам. В такие минуты апатия и бессилие сменялись оголтелой злобой, которая постепенно переходила в черную удушающую тоску.

Не в силах владеть собой и ждать, вообще ждать, не только утра, которое неведомо уже, наступит для него или нет, он, чтобы ощутить, что не обезумел, подскакивал к решетке и плевал в ее квадратную пасть. Представляя, что плюет в рожи этих здешних тупых напомаженных свеев, не желающих ни знать, ни слышать, в своих ухоженных, в своих не по-московски обставленных домах с пышными постелями и грудастыми женами, что у них под боком страдает живой человек, заживо похороненный в каменном мешке! В Московии арестантов хоть в деревянном срубе запирали. Не холодит до костей, как тут, а от грубо отесанной стены, прошпаклеванной мхом, можно иной раз слезку смоляную отколупнуть и почувствовать, будто лесом и волей запахнет.

Господи, за что же! И вскрикнув, как от удара, начинал ошалело барабанить в дверь: и плечом бить, и спиной, и ногами, требуя взамен всего, что другим, даже сторожу давала воля — свою меру вина. Это вино, исходя из каких-то неизвестных ему чужеземных законов, по громко-

му требованию, ему приносили. Но именно тогда, когда он чрезмерен и громок был, хоть ясно, никому от его скандала убытка тут нет. Даже туповатому, ослепшему от беспрерывного сна стражу, рыжему увальню, этакому таракану, ибо все они свеи на одно лицо, которое и есть рыжий таракан... Ни гроша эмоций, слезы не выжмешь. А вино даст!

Приносил в деревянном жбанчике, а не в глиняном кувшине. Как подают в здешних кабаках. Небось, высчитали, что от кувшина осколком можно раниться, а жбанчик, он безопасный, деревяшкой себя уж как ни желай, а не порешишь. Вот и видно, что дураки. В Москве один ярыжка за то, что его опили догола, дал деревянной кружкой по башке, тот и кончился, с копыт долой. И сейчас подал, притащил рыжий таракан, хоть и неполный, но спасительный жбанчик живой влаги! Узник припал, вырвав даренье из рук, ибо у этих скандинавов, пока дойдут да протянут, сдохнуть от ожидания можно... Пил взахлеб, так, что на грудь, на порты и на пол стекало. Оторвался, как все русские питухи, лишь когда угли под сердцем стали гаснуть, а грудь свободно задышала. Тогда он в другой раз стукнул в дверь, но потише, уже знал, что страж рядом, за дверью, стоит и терпеливо ждет, когда его призовут для долгого разговора, к беседе всенепременной, повторяющейся после каждого приема вина.

Мог бы и не стоять за дверью, а вообще не уходить, сиделец не из тех, что пьют в одиночку, хоть бывало в запретной корчме за рекой Москвой пили взаперти воровски изготовленное зелье, и в зернь играли, и богомерзкой травкой, за которые носы и уши режут на площадях, баловались. Оттого и баловались, что тайный плод слаще! А как при батюшке Алексее Михайловиче разрешили на Руси курение, так и охота к нему пропала. Если бы не уходил страж за дверь, а посидел бы да выпил бы с сидельцем кру́гом, как на Руси ведется... да еще бы тепло потолковали между собой. Пускай на разных языках... Пускай! Да ведь не может быть, чтобы за вином человек человека не понял. Но в том-то и дело, что пьют эти свеи, как нагляделся на свободе Котошихин, все больше тиш-

ком да по углам, да в одиночку, а в душевной беседе они и вовсе ни бельмеса не понимают. Верно, что они чище живут, а мы так просто грязно живем, на свежий глазок оно заметней, когда походил, побродил он по Европе. И хитрим, и воруем, и работаем из-под палки. Сами у себя воруем, сами казним себя за воровство. Но все как-то простодушней. Без этого ихнего выверта, без хитрожопства, в которых простой человек, не наловчившись их тонкостей, сразу не разберется.

Выставился страж у дверей как по стойке смирно. А ведь если посудить, он теперь тут один — живое воплощение мира и один, кому может что-то сказать заключенный. Замер привычно, воспринимая убористую славянскую вязь, весь цветной набор слов, как слушал бы шум дождя или вой ветра. Шумит, ну и лады. Пущай шумит. Ишь вытаращился таракашка рыжий, небось неведомо ему, как ихнего брата в Кардисе за горло брали, и пикнуть не смели! С Ордынчиком Нащокиным били вас в Лифляндии, били в Латталии, и сам высокородный граф Де Ля Гарди сидел у нас взаперти в Риге. Пусть молит своего паршивенького лютеранского Бога, что мы в тот раз не взяли его жалкую душонку в полон! Решал бы он тогда мою судьбу... Да нет, это я бы решал его судьбу! Ну, скажи, отчего он молчит, отчего не шлет королевских курьеров, чтобы спасти ответно Гришку Котошихина, сиречь Юхана Селицкого от близкой, от грозящей ему смерти?!

На этом запал вопиющего в камере обычно кончался. Он начинал кашлять и хрипеть, привычная истерика переходила в рыдания, а потом в бессмысленное бормотание и беспамятство уже до утра.

«Готов», — произносил смиренно сторож, перекрестясь на угол, и запирал за собой дверь, хотя был уверен, что после всего произошедшего дверей можно не запирать и вообще спать спокойно. Не позовут, не закричат, не станут колотить в дверь ногами. Русские пьют, как убивают себя. Им и казнь не нужна. Они сами себе казнь придумали, какая не ведома никакому цивилизованному западу. И снится Котошихину в такие часы один и тот же сон. Будто по неровным деревянным мостовым везут за Моск-

ву-реку телегу, а в ней вертикальная жердь, к которой прикован цепями боярин Шеин. Породистый мужик, кудри — соль с перцем. А за Москвой на Пожаре — эшафот деревянный и толпа вокруг, и батюшка Алексей Михайлович на особом возвышении среди бояр. Дьяк читает бумагу, а потом боярин Шеин ложится головой на пенек и заплечных дел мастер, один из двадцати в Москве, но самый мастеровитый в этой области, лучший из лучших, деловито примеряет к нему свой топорик...

Страж безмолвно, невозмутимо, как положено скандинаву, выслушал пьяную речь бесноватого московитянина от начала до конца, на неизвестном ему, к счастью, языке. По его разумению и тихому набожному характеру, этих драчливых выходцев с востока и вовсе бы не надо пускать на цивилизованный запад, ибо они, рожденные в болотах, и лесах, не знают нормальных обычаев и не могут к ним привыкнуть в силу своей дикости. Отсюда все беды и даже убийства, как случилось с этим русобородым голубоглазым лешаком. Красив, но убил ведь, пролил чужую кровь, а теперь мечется, кричит от страха, а что кричать, когда дело сделано... Жизнь, что порешил, не вернешь назад! Но пусть себе кричит, скоро у него такой возможности не будет. О терпимости стража к арестанту просил и высокочтимый магистр Гербениус, ректор школы немецкого языка, человек, судя по всему, не бедный, коли платит, не считаясь, серебром для расходов на преступника. Велит не скупиться, и чего бы ни попросил, особенно вина, давать вдоволь. А тот пьет и пьет, и все в него как в бездонную бочку, особенно в последние дни, когда догадался, бестия, кожей почувствовал, что срок подходит его свидания с Богом. Да есть ли у них, болотных леших, Бог-то? Ведь говорили, что будто они молятся на дерево в лоскутах или даже на пень лесной.

А магистр, хоть ученый человек и платье на нем дорогое, заморское, не брезгует между тем заходить в грязную камеру и часами там вести разговоры на чужом языке со смертником. Лишь последние дни перестал приходить, но ригсдалеров, оставленных на расходы, еще доставало. А

значит, доставало терпения у стража переносить все выходки русака. Не ведал ленивый страж, как не ведал и сам Григорий Котошихин, что высокородный граф Магнус Де Ля Гарди, канцлер, от имени несовершеннолетнего короля Карла отверг оба послания о помиловании, а лично его, магистра Гербениуса, как тот ни просил, ни умолял, не принял для беседы.

Неуемный, но мало практичный в делах, магистр Гербениус попытался действовать через молодого королевского переводчика Баркгаузена, человека безусловно порядочного, честолюбивого, но осторожного, весьма и весьма дорожащего своим местом. Но и это безрезультатно. Хотя именно переводчик Баркгаузен, ознакомившись с отрывками из рукописи Котошихина, докладывал о ее несомненной ценности господину канцлеру и этим помог в свое время беглецу из Московии обрести расположение короля и получить выгодную службу в государственном архиве. Притом и дела иного не требовали, как скорой работы над рукописью. И ее завершением. А уж было видно, что работают русские не так, как, скажем, немцы, отсель досель, а как бы по наплыву чувств, с частыми остановками, отвлечениями: то ли вино, то ли женщины, но пропадет на сутки, на двое, ищи его... А когда объявится — помятый, скучный, растерзанный, оглядится, едва узнавая свой стол, шмыгнет и строчит. Глаз от листов не поднимает весь день, да еще и набело строчит, рука не дрогнет. Догоняет уворованное у самого себя время. А то вдруг земляка встретит из гостей-купцов или подобных ему авантюристов, что счастье за морем ищут, и тогда его, как плотину прорвет, не остановишь! Многоречив и шумен делается. А уж известно, когда поток вхолостую утекает, всегда меньше воды остается, чтобы у мельницы колеса крутить!

Как ни подкатывались сослуживцы да и сам переводчик к бывшему подьячему, чтобы целиком его работу обозреть, однако никому листов в руки не давал, лишь из своих рук показывал странички, исписанные мелким красивым почерком и то лишь в редкие минуты хорошего расположения духа. А сейчас-то каков его дух, если он

затылком дыхание смерти ощущает? Зажался, как зверек в капкане, и уж рукопись под собой прячет. Боится, что во сне заберут. А в ней вся жизнь его, а может, надежда на спасение в виде помилования. Вот о том и пытался уже через переводчика просить его королевское величество неистовый магистр, хотел убедить: если уж нельзя отменить казнь, то можно ее отсрочить, ибо ценности от отсеченной головы не будет для короля никакой, а так, глядишь, можно дождаться завершения труда, в котором будет для королевства и правительства несомненная польза. Они получат из первых рук единственную в своем роде хронику государственного, политического и военного устройства Москвы, грозного их соседа и соперника в борьбе за Польшу и прибалтийские земли.

Простодушный и добрый магистр Гербениус казался, наверное, себе очень хитрым, когда придумал этот план; сам же он понимал истинное значение хроники Котошихина как труда исторического, более того — литературного. Но что до литературы королям! Возможно и сам переводчик, по молодости, по сдержанности, был не столь уж пылок в своих доказательствах, во всяком случае, старый граф, от которого зависело многое в судьбе автора, если не все, не захотел даже выслушивать молодого человека. Сухо отвечал, прервав того на полуслове, что Селицкому прежде доверял как человеку мыслящему и желающему жить, как истинный швед, то есть безупречно. Ну а если он не захотел воспринять их образ жизни и взялся, как иные восточные дикари, пьянствовать и убивать законопослушных граждан, то ничем ему помочь нельзя. Тут вступает в права единый для всех священный закон. Он еще добавил, как бы бросил напоследок, уходя, что мало верит словам убийц и тому, что они пишут. Кто бесчестен в жизни, тот бесчестен и в словах! Во всяком случае, труд его, если сочтем достойным, пожалуй, переведем, а ему нужно обращаться уже не к нам, а к господу Богу. В этом, если он пожелает, мы еще можем помочь.

Канцлер намекал, что при желании Селицкого перед смертью ему дадут священника, чтобы привести его к истинной вере. И это было понято переводчиком и магист-

ром как последний акт милости, ибо греческого священника не было, кроме разве торговой русской избы, да ведь оттуда не придут к заключенному, для них Гришка — вор и изменник, так в грамоте белого царя и сказано, когда потребовали они своего бывшего подданного в Москву на расправу. Судя по всему, она была бы не лучше той, что ему готовили на чужбине. Единственное различие, как он понимал, будет в зрителях. Здесь его конец будут лицезреть не более десятка причастных к его судьбе шведов да случайных прохожих, а в Москве соберется толпа, как на праздник, чтобы получить от зрелища удовольствие.

— А согласится ли на принятие нашей веры сам заключенный? — слова «смертник» магистр избегал произносить. — Может вы сможете лучше его уговорить?

Спросил таким тоном, что было понятно: он просит навестить тюрьму без него. После отказа в помиловании у него не нашлось сил встречаться с этим несчастным русским, который ему так понравился, еще после первой встречи в доме переводчика с русского языка Даниила Анастасиуса, его будущей жертвы. Магистр смог оценить прекрасного собеседника и теплого добродушного человека, лишенного той привычной рациональности, которая так претила ему в его земляках. Нужно добавить быстрый, живой ум, великолепную память, когда живописал он о покинутой Москве. И это притом, что покладист, даже мягок, и как бы легко приспосабливается к собеседнику, нисколько не выставляя своих принципов, видно, что проницателен и сметлив, и чуток к чужому настроению. Но это-то, пожалуй, и худо, ибо сейчас, при его особенном, крайне нервном состоянии, когда каждая жилка в нем, каждая клеточка о жизни кричит и молит, он, как неизлечимый больной, ловит в глазах у приходящих ответ на свой вопрос... Не тот, что на языке, а тот, что сокрыт во взгляде, и оттого невозможно будет глядеть в его по-детски чистые глаза, и врать, и врать, и при этом слышать свой до тошноты противный и фальшивый голос с ненужными утешениями! А его зрачок при этом прямо в душу направлен! Последний раз, неделю назад, чувствительный магистр не выдержал, после встречи слег с сердцем.

Но поскольку молодой человек молчал, видимо, еще раздумывал, магистр заговорил о рукописи, которая им как бы пока не принадлежит, ее еще получить надо. Отдаст ли... захочет ли отдать?

— Куда же он ее денет? — спросил в свою очередь переводчик.

— Да куда-нибудь.

— Пустяки, — твердо произнес молодой человек. — Отдаст. Он не менее нас заинтересован, чтобы она не пропала. Обещаю, что отдаст.

И оттого, что так уверенно отвечал, стало понятно, что он согласен на этот трудный визит к заключенному. Добрый магистр с жаром его благодарил и долго жал прохладную, почти неживую руку. Но в то же время вдруг ощутил себя подлым трусом, предателем по отношению к несчастному узнику, которого бросил, так получалось, в самый трудный час его жизни. Усовестившись, хотел было повернуть назад, тем более возникли сомнения, что чуткий и особенно подозрительный ко всему Котошихин не станет доверять этому беспристрастному холодноватому молодому человеку, а без доверчивости, без приязни он рукопись свою не то что не отдаст, но и не покажет. Но переводчик вторично повторил, что он знает, как получить рукопись, и проблем у него с узником не будет.

Магистр вглядывался в бледное гордое лицо молодого человека, чрезвычайно уверенного в себе; наверное, он еще воспринимал свою жизнь как бесконечно долгую, и удачную, и эта удача начиналась уже сейчас с рукописи приговоренного к казни русского.

Войдя в камеру к заключенному в сопровождении молчаливого, чуть неуклюжего, даже мешковатого, как сказали бы на Руси, стража, позвякивающего на ходу медными ключами, королевский переводчик Баркгаузен увидел то, что и предполагал увидеть. Их подопечный валялся на своем укороченном лежачке, на спине, откинув неудобно голову чуть назад и свесив босые ноги. Спал он крепко и не услышал, что к нему пришли.

Переводчик не мог знать, что дурное похмелье, мучившее нашего арестанта всю вторую часть ночи после вчерашнего, еще более обильного возлияния, сменилось к рассвету обморочным беспамятным забытьем; потому и не пробудился от грохота открываемой двери и звона ключей. Но вот молчаливое присутствие в камере постороннего человека он все-таки почувствовал, хоть и не сразу, ибо некоторое время наш гость безмолвно, привыкая к сумеречному освещению, созерцал с любопытством открывшуюся ему картину. В каждом человеке, верно, есть такой сторожок, сохранившийся от далеких пещерных времен, никак не ощущаемый до поры, но в какой-то опасный момент он срабатывает, как самая надежная сигнализация.

Котошихин с трудом разлепил один глаз, потом другой, пытаясь понять, что же его потревожило. Зажмурился, как от боли, а когда снова открыл глаза, стало ясно, что он уже себя осознает, как и окружение, в том числе видит он и человека, стоящего у дверей в странно застывшей позе. В глубине его прояснившихся глаз искрой промелькнул и погас безумный огонек надежды и страха. Такого переменчивого выражения, от сонной одури, от детской беспомощности и тупой, исходящей откуда-то из глубины боли, до трезвого, в мгновение оценивающего все и вся выражения, вплоть до этого звериного, искрой царапнувшего огонька, как у сторожащего свою жертву хищника, наш переводчик никогда не видывал. Но будет потом вспоминать этот случай, нечаянно уловленное состояние человека, ожидающего милости или казни в самый тайный, интимный, распахнуто обнаженный миг его души. Но заключенный и сам осознал свою оплошность. И будто бы для того, чтобы скрыть неприличный зевок, провел рукой по лицу и как бы спрятался за ладонью. А когда, смахивая пальцами остатки сна, отвел руку, ничего в нем особенного не было, этакий лениво зевающий человек, которого оторвали от любимого занятия — сна. Кряхтя, он попытался присесть, снова зевнул, теперь по-настоящему, и, расправляя крепкие плечи и грудь, где виднелся на лычке оловянный крестик, повел рукой по камере, как бы

приглашая заходить, хотя посадить гостя было некуда. А так он весь внимание и готов выслушать, но выслушать сидя, потому как двое стоящих в крошечной камере тоже нелепость.

Молодой переводчик кивнул. Не отходя от дверей, справился о здоровье и без всякого перехода сразу заговорил о том, что ему поручен перевод рукописи и он хотел бы ее сейчас получить в том виде, в каком она есть.

Заключенный, уставя глаза в пол, внимал, он казался сейчас этаким смирным паинькой, встретишь на улице — не поверишь, что такой скромняга мог, походя, сгубить душу невинного человека. А когда выслушал, поднял светлые, по-детски недоуменные глаза и долго в упор рассматривал странного худого, если не сказать больше, тощего юношу. На Руси уж точно нашли бы у него какую-нибудь бледную немочь и попытались бы через ведунью-бабку лечить отварами. Он вдруг вспомнил, что видел этого недомерка в королевской канцелярии, где лапали без конца представленные им листки от начала книги и лаяли по-свойски, то же что по-свейски, решая, судя по всему, его судьбу.

Так вот что означал этот визит: им рукопись нужна! Рукопись! А сам автор, стало быть, уже не нужен?

Тяня время, чтобы переварить внезапную догадку, спросил в упор:

— Стало быть, толмач?

Молодой человек кивнул и тут же сослался на указание высокочтимого канцлера графа Де Ля Гарди, который поручил ему, Баркгаузену, немедленно заняться переводом рукописи Селицкого. Если, конечно, они сочтут, что она достойна такого перевода.

Молодой человек не умел хитрить и все выразил точно так, как было. И это бы хорошо. Но Котошихина раздражал сам визит молодого переводчика, в появлении которого он увидел для себя угрозу. Да еще вдруг неприятно резанула избранная им фамалия — Селицкий. Был Селицкий, подумалось, а стал переСелицкий... А селище-то — тюрьма.

— А кто это «они»? — спросил он хмуро, стараясь до поры сдерживаться.

— Господин канцлер, конечно... Другие ученые...

— А ты — ученый? — спросил в упор узник.

— Нет, я не ученый, — отвечал негромко молодой человек, по неопытности не обратив внимания на особенные нотки, появившиеся в голосе собеседника. — Я королевский переводчик, но служу я недавно. Мне поручена ваша книга, и я за ней пришел. Это моя первая серьезная работа, — добавил он.

Странная картина получалась: Котошихин, будто воевода в съездной избе, сидел, полуразвалясь, допрашивал холопа... Стой передо мной, как лист перед травой! И тот стоял. Хоть нельзя было не услышать за всей его показной вежливостью и смирением скрытой уверенности, что вся их встреча не более, чем форма, а рукопись он непременно получит. И это тоже правда! Ведь он у них в руках, стало быть и рукопись у них в руках. А если еще возятся с ним, так в этом и есть их западное изуверство, отличающееся от российского тем, что руки не выворачивают на дыбе, не пытают огнем, а отберут цивилизованно, по закону. Но отберут же, отберут! Оттого и проснулся в нем зверь, ворочавшийся до поры в груди, что весь этот никчемный разговор, по сути означавший приглашение на казнь, был еще одним издевательством, утонченным. Иезуитским, только уже не над его телом, а над душой. Молодой человек и не догадывался, что исполнял здесь роль палача. Как уберут рукопись, так Котошихин и мертв, ему без рукописи жизнь не нужна. И более того, забрав рукопись, его и казнить сподручней, он сам с готовностью подставит под топор голову... Зачем она?

Так вот не отдаст он рукописи... Убьет ее вместе с собой. Спалит на огне и дело с концом. Сам казнит на огне свое творение. От такой мысли стало вдруг спокойней. Решение, каково бы оно ни было, ставит все на свои места.

— Так чего они («они» выделил особо) от меня хотят?

— Они хотят получить рукопись.

— Через тебя?

— Да.

— Сегодня?

— Да, сейчас, — отвечал весьма самоуверенно молодой человек. — Они сегодня ее ждут.

— Пусть они... Они! Все ваши ученые, или как их... Вместе с высокочтимым графом... идут в зад-ни-цу! — произнес Котошихин медленно, основательно выговаривая слова, чтобы переводчику не пришлось переспрашивать. А ему повторять. — Никакой рукописи они от меня не получат! Шиш им, вот видели? — и Котошихин красноречиво, чуть приподнявшись, указал рукой, куда он всех ученых вместе с их графом Де Ля Гарди посылает.

Высказался, и откинувшись, наблюдал с удовольствием, чуть ощерившись, как меняется выражение лица у этого молодого придурка, как стирается с него глупая самодовольная уверенность, а на смену приходят растерянность и смущение, и красные пятна по щекам... Ведь с ним еще так никогда не говорили. Да ясно, что он не знатного рода, а жил, побираясь по родственникам, пока на копейки закончил школу и Дерптский университет... Но уж практику по языкам ему повезло как стипендиату проходить в Риме и Париже... Он гордился, что свободно овладел пятью европейскими языками, не считая славянских! Работа в королевской канцелярии была для него, по протекции конечно, высшим из возможного, что мог бы иметь, и неудачи в начинающейся карьере просто быть не могло. Этот неистовый русский, видно, не понимал, как нужна ему для жизни, в его-то годы, эта рукопись. Ведь у приговоренного бедолаги выбора-то не было: отдаст он свое творение или не отдаст, его все равно казнят на этой неделе... Так к чему грубые препирательства, вызывающе дерзкие слова в адрес самого графа Магнуса Гавриила Де Ля Гарди?!

И молодой человек, не терявшийся ни при каких обстоятельствах, так его жизнь приучила, смягчая тон, вполне учтиво, но и независимо, повторил, что он лишь передает просьбу своего начальства, но ответ, выраженный в такой форме, он передать не может, а уважаемый господин Селицкий, имевший честь сам общаться с высоки-

ми лицами, должен понимать, что он, Баркгаузен, лишь переводчик, то есть лицо служебное, и ему не дело препираться и спорить с заключенным.

— А ты не спорь, — спокойно отвечал Котошихин на всю эту многословную тираду. — Не отдам я и все. — И, поплевав на руки, стал тщательно, долго приглаживать разлохмаченную шевелюру. Он усмехнулся и добавил, оскаливая крупные белые зубы, что он, и правда, имел возможность видеть и слышать батюшку Алексея Михайловича, как тот на отборном, на крепком русском языке посылал их свейского брата еще подальше. — Так-то вот, господин ученый толмач! — И вдруг захохотал, чуть взвизгивая. Аж мороз по коже у нашего гостя. Громкий диковатый смех русского более сконфузил молодого человека и лишил надежды на положительный результат, чем услышанные прежде грубости в адрес высоких особ. Теперь-то он понимал, насколько прав был достопочтимый магистр Иоанн Гербениус, который заметно трусил накануне и не решался идти в тюрьму. Он-то лучше, видать, разбирался в психологии этих русских!

Переводчик торопливо попрощался, отступая к двери. Но Котошихин и сам понял, что переборщил, напугав визитера своим несоразмерным смехом, причину которого, по правде говоря, он и сам до конца не понимал. Ничего смешного во всем, что здесь происходило, не было.

— Да постой же! — воскликнул он и жестом показал, что просит не уходить.

Если уж по справедливости, ни в чем этот молодой человек не виноват, как не виноват и тот палач, который по приказу свыше отрубит ему голову. Оба, если посчитать, только честные исполнители. Такие же жертвы, как он сам. Ему стало жалко парня, добряка, видать, и трудягу. Увидел в нем вдруг себя, в те далекие годы, когда он, ничтожный писаришка, получил возможность служить в самом что ни на есть важном Приказе, да еще подьячим! А этот дурачок, захотел, наверное, посмотреть на человека, чьим, по его мысли, соавтором он станет; их теперь, и правда, объединяла одна и та же забота: чтобы рукопись имела свое продолжение, чтобы она жила.

Она и может жить благодаря переводчику, в то время как рука, которая водила, еще водит пером, станет мертвой кистью!

Резко приподнявшись, Котошихин заговорил энергично, почти весело и очень громко, что он-де маленько не в себе и был взвинчен... но просит его понять. Рукопись, и правда, пора отдавать и он это скоро сделает. Но ведь он тоже живой человек, имеет свои маленькие слабости... Вот сторож вина не несет, а ему по утрам особенно скверно, когда не несут вина!

— Сейчас скажу, принесут... — отвечал молодой человек чуть напряженно. И недоверчиво, он, и правда, не понимал таких резких перемен в заключенном. Не понимал и оттого не мог обрести нужного тона.

— А кто платит? — спросил с вызовом Котошихин.

— Но они же вам жалованье пишут, — напомнил гость.

— Они? Кто они?

— Канцелярия, — воскликнул переводчик, удивляясь такому недопониманию. — Вы же числитесь в штате государственного архива, разве вы забыли?

Котошихин на это лишь энергично выругался. Но теперь он выругался от злого восхищения здешними законами, где осудить и даже казнить могут, но не забудут выписать жалованье, ибо порядок для них превыше всего. А вот на Руси, где он свои ежегодные двадцать рубликов получал за пометою думного дьяка Алмаза Иванова, и рубль-два совал в руку означенного дьяка на так называемые поминки, дабы в другой раз не обобрал и не задержал выплату.

— Так ты денежки-то принес? Где они? — спросил с надеждой, и глаза узника засветились детской радостью. Ему даже показалось, что в камере стало светлей, чем обычно.

— Нет. Но...

— Но... Какие еще «но»?

Переводчик, не умеющий хитрить, чуть замялся. Как раз сегодня утром шел разговор об этом самом жалованье, которое может понадобиться на похоронные дела. Но как об этом сказать русскому? Не последует ли тогда новый

психоз похлеще старого, а едва налаженный контакт будет прерван? Да и то правда, что деньги живому человеку нужней, чем мертвому, на вино ли и на что угодно. А схоронить могут и без денег.

Не без колебания вынул переводчик кошель и отсчитал звонкое серебро. Котошихин не стал проверять, даже отвернулся, когда молодой человек скрупулезно отсчитывал монету за монетой. Тут же он постучал в дверь, уверенный, что страж рядом, а когда объявился, велел принести вина. Страж взглянул на переводчика, так ли он понял, тот кивнул.

— Лады, — быстро пообещал Котошихин, оживляясь и как-то по-особенному тепло взглядывая на переводчика. — Рукопись они получат. Но не се-го-дня!

— Когда же?

— А куда они торопятся? — как бы наивно поинтересовался он и подмигнул. Они оба знали, куда «они» торопятся. Еще бы вызнать: насколько они торопятся? Да ведь не скажут, наврут. Это делается всегда неожиданно, даже на Руси, хотя там-то казнь оправят как драгоценный камень в короне, превратив ее в торжество, в праздник, в развлечение для горожан.

— Так когда желательно-то? — спросил, не надеясь на точный ответ. Вопросик-то был с подвохом.

— Завтра, — торопливо произнес молодой человек. И тем выдал тайну. Если завтра последний день для рукописи, то послезавтра его казнят?!

Котошихин недобро усмехнулся. Играя в свою европейскую честность, они сами ловятся на собственной игре, забывая, что он-то другой, ему соврать ничего не стоит! Русские врут по любому поводу и без повода, об этом говорил с большим изумлением западный гость Олеарий. Котошихин его видел, когда тот проезжал через Москву в Персию и обратно, и останавливался в монастыре у отца Григория. Немецкое подворье было тогда на ремонте после пожара. Да Котошихину ли рассказывать о переменчивом характере москвитян, где доносят каждый на каждого, и врут, даже перекрестясь... Об этом у него и в рукописи сказано.

Котошихин с *приятной наглецой* — имел такую способность, а сейчас и моральное право — поглядел в холодные, но столь же доверчивые глаза своего переводчика. Дурить так дурить. Пусть потом кусает локти!

— Вот завтра и приходи, — бросил игриво. — Тут для тебя лежать будет. Двести шестьдесят листиков, один к одному! А сегодня ты ему, — и указал на стража, — скажи... Скажи, пусть тащит... Пусть не жалеет! — И почти дружелюбно. — А может хочешь принять за компанию?

— Принять за компанию? Это что значит? — спросил, чуть теряясь, переводчик.

— Ну, выпить же! — сказал Котошихин. — Угощаю!

Тот вдруг понял и замахал руками, пятясь к двери.

— Нет, нет, — бормотал, — они так не могут... У них это делается по-своему... В другое время...

— Вот за это вас и не люблю, — спокойно подтвердил Котошихин и указал рукой на дверь, чтобы гость, если не способен уважить человека, убирался бы подальше. Без него больше достанется.

С ним-то теперь было все ясно. А вот с собой ничего ясного не было.

Выпив, как бы оглушив себя, в беспамятстве, повалился он на лежачок и исчез. Свернувшись калачиком, так что зябнущие босые ноги с посиневшими пальцами, как он ни подгибал, ни поджимал под себя, торчали из-под наброшенного тряпья, погружался, будто отлетал в теплое забытье, в одуванчиковое раздолье, в котором, если пристально посмотреть, можно было увидеть среди скопища людей грубо сколоченный деревянный помост и видную фигуру боярина Шеина, иступленно крестящегося в сторону видневшихся отсюда золотых куполов церквей Вышгорода. О том, как прожил боярин свою жизнь, как он правил воеводой на Смоленщине и защищал ее, как изменил царю, узнает Котошихин много позже, сперва шепотком от родителей, а потом из архивов своего приказа, когда случайно попадет в его руки дело о расследовании злосчастной и подлой измены боярина Михайла Борисовича Шеина.

Странная, почти колдовская связь существовала между двумя их жизнями. А начиналась она с первого осознанного детского впечатления от казни боярина, с годами, будто не ослабляясь, сопровождала путь самого Котошихина с его потерями и несчастьями до того мгновения, когда он вдруг ни осознал, что путь его, как и путь неведомого ему Шеина, закончится той же плахой и палачом. Только и разницы, что один потерял голову в Замоскворечье, к югу от Москвы, другой потеряет ее в южном предместье Стокгольма.

Глава шестнадцатая

Юбилей

Всезнающий Дима отчего-то вспомнил про осень, когда у Соколова, по всему раскладу, мог быть так называемый юбилей. Но он-то знал, что никакого юбилея не будет. Если уж повезет и не уложат в больницу, то можно укатить на Селигер или еще куда. Где его никто не достанет.

— Шера, а у вас юбилей когда-нибудь был? — спросил на следующее утро за завтраком Соколов.

Вопрос Димы о дне рождения почему-то растревожил его. Да еще воспоминание о маме, которая однажды, когда они гуляли по городу, показала на скромное одноэтажное здание и объяснила, что это тот роддом, где он появился на свет. Насколько он помнил, никогда в семье не отмечался день его рождения. И ничьи дни рождения вообще.

— Конечно, у меня был юбилей,— отвечал Шера охотно.

— Юбилей, это когда пятьдесят, — заметил, усмехаясь, Зяма. — Остальное, говорят, репетиция поминок!

Шера повторил, что недавно он справил ровную дату, но в домашней обстановке (рестораны-то нынче не по карману), были друзья, человек пятнадцать, не более, и он считает, что с датами пора покончить. Ничего приятного в них уже нет.

— Но вам что-нибудь дарили? — не отступал от темы Соколов.

— Дарили. Конечно, дарили,— подтвердил Шера. — Цветы... Коньяк... Да, еще кофеварку. Замечательную чешскую кофеварку. А что?

— Да так, ничего.

Соколов помолчал, рассматривая сидящих за столом. Блондинистый Сергей как обычно помалкивал, ему до юбилеев было далеко, как до звезд, а у Зямы только шуточки, он успевал балагурить не только за их столом, но и перекликаться с соседними.

— Бог дал человеку сто метров кишок, — глаголил громко Зяма. — И все для того, чтобы глотнув из стакана горячего чая, не обжечь изнутри задницу!

— А вам, Шера, хотелось бы, чтобы на ваш день рождения зыркала вся улица? Весь город?

— Зачем? — удивился тот. — Это ведь очень лично. Ну, бывает у артистов, певцов... Но у них и жизнь проходит на виду!

— А я вот, видел один юбилей... Прямо посреди Москвы. И не у артиста. Впрочем, все люди в какой-то степени артисты и кого-то играют.

Соколов и сам не смог бы объяснить, чем его так зацепил чужой праздник. Объяснить можно лишь многомесячной изоляцией, когда нервы и душа излишне раскрепощены, как бывает во время первых, особенно сильных впечатлений от встречи с городом, который жил это время без тебя и мог бы жить и дальше, если бы ты вдруг не вернулся совсем.

Но поразил нашего героя не сам праздник. Мало ли их бывает в городе! Поразило что-то другое, что наш герой не смог поначалу переварить, но что заставляло его в мыслях возвращаться к нему еще и еще. Он в тот день шел из больницы и с удивлением отметил, что Москва, когда от нее отвыкаешь, не кажется уж такой распрекрасной. Она скорее, похожа на старую деву, которая решила вспомнить молодость и ярко накрасилась. Пестрота и безвкусица лишь подчеркивают дряблую кожу и глубокие морщины. И у каждого подъезда охранники, молодые, но отупевшие от бесконечного неработанья парни, которым в деревне бы пахать да пахать... А они талончики с важным видом отрывают!

В это время такси встало. Тверская улица была перекрыта милицейскими машинами, и водитель с доса-

дой бросил, что вот опять... Иностранные делегации или манифестации... Из-за них по Москве ездить уж совсем стало невмочь! Да и вообще. Когда эти попугаи, так он назвал милицию, садятся на кнопку, отключая автоматику, возникает пробка. Сколько теперь простоим...

Соколов расплатился и вышел из машины, захватив сумку. Вещей при нем было немного. Минуя толпу любопытствующих горожан, поинтересовался у какой-то старушки: а что, собственно, происходит.

— Так с юбилеем поздравляют, — живо откликнулась она.

— На проспекте?

— Зачем на проспекте... в Моссовете...— так, по старинке, обозначила она мэрию.

— Ну, а милиция-то зачем?

— Милиции, говорят, четыреста человек... И все для охраны.

— А кого охраняют-то?

— Так, ведь, очередь...— произнесла странно она, и вся вытянулась, чтобы через головы впереди стоящих что-то углядеть.

— Очередь... Куда?

— Не куда... Не куда, а к кому... Вон, видите, этот, как его... Певец, его вчера по телевизору показывали?

— Ну и что?

— Понес!.. Понес!— восхищенно закудахтала старушка, очки ее восторженно заблестели. — Цельную картину, да такая огромная... Так ему еще помогают нести! А еще детскую коляску! А еще живых кур в клетке!

Соколов, насколько позволял хороший рост, смог через головы разглядеть человека, несущего огромную картину, и даже рассмотреть ее содержание: на фоне русского пейзажа, голубого неба и зеленых рощ, стоял лысоватый мужчина, задумчиво глядя вдаль. Города, как ни странно, на картине не было, и можно было подумать, что мужчине несколько обрыдла родная столица, заполненная до небес памятниками некоего скульптора, которого он же и приветил, а вглядывался он в луга и веси,

чтобы произнести властно: «Тут будет город заложен назло надменному соседу...»

— Утро нашей родины,— произнес кто-то в толпе, и Соколов вспомнил: во времена его молодости, и правда, на всех календарях и открытках миллионными тиражами штамповали копию знаменитой картины под таким названием. Вождь всех народов величаво взирает вдаль. Римские императоры в подобном случае не особенно затруднялись, картин тогда еще не было, они просто отбивали головы на мраморных скульптурах своих предшественников и приделывали к чужому торсу свои головы.

Кто же там изображен?

— Бывший директор плодоовощной базы...

— Так это все фрукты, которые...

— Это еще те фрукты! А он хозяйственный мужик, как пить дать.

За странными разговорами Соколов чуть не пропустил депутатов разных мастей, которые, как на демонстрации, пронесли над головой огромную пчелу и даже целый улей, с декоративными пчелками, полуметровую матрешку-медведя от какой-то партии, но уже без пчел.

Соколов собрался было уходить, суконные выражения лиц наводили на него тоску, но тут пошла по одиночке и группами творческая элита, тоже с коробками, свертками, с картинами, но чуть поменьше, чем у певца. Были среди дарителей и руководители Рабиса, они несли метровый фолиант сборника стихов, посвященных Москве и лично новорожденному. На обложке из тесненной кожи, оправленной в черненое серебро, были стихи: «Москва, Москва, как много в этом звуке, ее преобразили ваши трудовые мозолистые руки...» Но большее внимание публики, конечно, привлек грузовичок с прицепом, на котором знаменитый скульптор доставил очередной дар, огромную статую неведомо кого, завернутую в брезент, но статуя никак не вписывалась в поворот на Вознесенский переулок, и толпу оттеснили в сторону.

ИЗ КОТОШИХИНА

Бояре и околничьи, и другие ближние приезжают к царю челом ударить с утра рано, на всякий день; кланяются перед ним в землю, а которые дни они, бояре, запоздают, или на них посылают, а они будут к нему не вскоре, то он на них гневаетца словами и велит с палаты выслать вон или посылает в тюрьму, и они за свои грехи каются многожды, доколе не простит. Но также являться к царю они должны и в обед, и вечером, все дни. Когда бояре приезжают на лошадях (их в Москве сорок тысяч и все на учете), или в каретах, то слазят, не доезжая двора и не близко от крыльца. А если кто решит во двор на лошади, «хотя бы без самого царя», то его б послали в тюрьму и честь отнята была. И даже если бы человек боярина провел через двор лошадь, того человека наказать кнутом. Ибо никому, даже послам, стрельцам, торговым людям и так далее не разрешается входить во двор без разрешения.

Какие дары кому посылаются.

Аглицкому королю с послом Прозоровским в прошлый год послано соболей и лисиц, и мехов соболиных и горностаевых, и птиц кречетов, соколов и ястребов... для брацкой дружбы и любви, чтобы у города Архангельска учинить с ними торговлю.

Турецкому султану послано в прошлый год пять тысяч рублей да на расдачу другим (взятки) тысяч десять и больше, как для дальнего проезда и для высвобождения русских пленников.

Персидскому шаху за то, что он хорошо одаривает. А ехать к нему так далеко, что возвращаются на четвертое лето, и птицы и звери посылаются с прибавкой, так как за дальней дорогой многие помирают. Проезд гораздо жесток и от воздуху (жары) много люди помирают.

С крымским ханом отношения особые. Ему и его царице и детям, и их женам, и пашам и мурзам много шуб собольих, куньих, покрытых золотом, еще шубы лисьи, песцовые, заячьи, кафтаны камчатые, однорядки сукон-

ные, соболи, кунцы, лисицы... Каждый год... Но каждый год с прибавкой! А посылают к ним те поминки, чтобы они на окраинные земли войной не ходили и городов на месте не разоряли... Однако же они такие дары беручи, на то не смотрят, чинят, что хотят!

(Заметно, что Котошихин восточных людей (бусурман) недолюбливал. — А. С.)

— Ну и что? — Зяма, выслушав, пожал плечами. — Люди поздравляют от души. Он не крымский хан. А насчет памятника, ну этого, который вы упоминаете, у меня есть догадка.

— Какая же?

— Это стратегический запас цветного металла на случай войны.

Шера единственный, кто не улыбнулся на шутку Зямы.

— Сдвинулась ось земли... Вот в чем дело, — проговорил он негромко, глядя в тарелку.

— Какая еще ось? — подал голос Сергей. — Она тыщу раз сдвигалась до нас... Ну и что?

— Но сейчас особенно сдвинулась, — настаивал Шера. — Вы не слышали, отчего землетрясения, цунами, наводнение в Германии, летом снег в Италии... Вот-вот. Ученые считают, что произошел в Азии разлом, сдвинулась ось земли... Я тоже в этом уверен.

— А люди-то при чем? Не в мозгах же она, простите, сдвинулась? — спросил с вызовом Сергей.

— В мозгах... Именно в мозгах, — возразил спокойно Шера. — Наши мозги — это тоже часть природы. — Он добавил, посмотрев на Соколова: — Все перевернулось вверх ногами: люди перестали различать, где добро, а где зло. Но чтобы творческая элита... Вы так ее обозначили? Хотя, боже мой, какая она теперь творческая! Ну вот она-то, выражает сдвиг в мозгах больше, чем все остальные. Печать в восторге, смачно описывает и перечисляет ценность подношений, публика ликует... И это вы считаете не сдвиг? А вот скажите... Солженицын мог бы оказаться в этой роли? Или в очереди?

— Думаю, нет, — сразу отвечал Сергей.

— А почему?

— Он — другой.

— Какой же он другой? А мы что... Мы не другие? Ваше величество, — обратился Шера к Соколову, — мы не другие?

Соколов даже вздрогнул, вопрос настиг его на странной мысли, что он и сам чем-то похож сейчас на Сергея. Только тот циничен и открыт, это делает ему честь, а он, хоть и король, как бы начинает жить двойной жизнью. А не он ли, комментируя своего Котошихина, говорил, что русские в душе живут двойной жизнью?

— Не знаю, — только смог выдавить из себя.

— А вы, коллега? — это уже Сергею.

Тот пожал плечами.

— Я тоже не знаю. Но уж я точно не другой. И в очереди с подарком бы постоял, если нужно для дела, и был бы счастлив, если бы мне устроили такой праздник.

— Для дела?

— Конечно.

— А без дела, что же, и поздравлений не было?

— Почему? Цветочки, как у вас, коньяк, кофеварочка... Вот поэт Есенин, еще когда говорил, не будешь скандалить, так и помрешь Пастернаком.

— А кто из двоих оказался прав? — спросил молчавший дотоле Соколов.

— Думаю, оба. А вообще-то, человек — скоропортящийся продукт. И после... И до того...

— До того... Это до чего? — поинтересовался Шера.

— До того, как справит все юбилеи.

— А они что... Эти юбиляры... Вечные? У них и Бога нет? Я вот вспомнил случай: ко мне приехал болгарский друг из Пловдива, писатель, и попросил сопроводить на Новодевичье кладбище. А за несколько дней до его приезда похоронили Илью Эренбурга. Мой друг посетил могилу Эренбурга, а потом сознался, что он потрясен тем, что увидел... Могила была завалена цветами, но не огромными правительственными венками, как бывает, а скромными букетиками. Но их были тысячи. Так дарят только обычные люди. Читатели и почитатели.

— Ну вот, — протянул Зяма. — Люди за здравие, а вы за упокой! А вы знаете, как шутники трактуют смерть? Долгое возлежание, только в неудобной позе!

Тут Шера опомнился, огляделся и сказал, что просит прощения за свои нелепости. Вот-вот нагрянет супруга, и у него тоже что-то сдвинулось... «От черного хлеба и верной жены мы бледною немочью заражены...» Это уже из Багрицкого.

На этой грустной ноте завтрак и закончился. Все заторопились на море ловить, по выражению Зямы, ультрафиолет, только Соколов все медлил, кружил по парку, пытаясь оттянуть возвращение домой.

Решение позвонить Алене пришло неожиданно. Но пышнотелая Оксана Ивановна сказала, что телефоны не работают, ночью кто-то пытался взломать на почте автоматы и повредил связь. А знает она, потому что ее мужа-полковника подняли с постели в час ночи, а вернулся он уже под утро.

На почте знакомая блондинка еще раз пересказала ночную историю, добавив, что в последнее время взломы участились, а всё наркоманы. Им что автомат взломать, что человека пристукать.

— А телеграф-то работает? — спросил Соколов.

— Телеграф работает. А вы что-то мало загорели,— сказала блондинка.

Соколов взял голубенький бланк, присел в уголке и задумался. Писать затурканной городом женщине, что у него дурное предчувствие, невозможно. Море, юг, отдых, а он чего-то жалуется. В то время как в столице пыль, гарь, скопление машин и людей, раздраженных жарой и плохим транспортом.

«Очень хочу тебя видеть, — вот что он напишет. И еще. — Мне нужно твое присутствие. Если сможешь, приезжай».

Глава семнадцатая

Железная леди

Первые дни на отдыхе кажутся особенно бесконечными, и после московской круговерти чувствуешь себя неуютно, безделье тоже утомляет. Но далее, уже через неделю, ход времени ускоряется, дни начинают промелькивать, заполненные местными делами, которые и не дела, и не события, а какие-то пустячки, мелочовка, но почему-то здесь, в этом микромире, они обретают значение самых важных дел, без которых не обойтись.

Еще пребывая в Сибири, Соколов как-то написал стихи, где были строчки: «В Братске ночи, как тайга, глухие, дни, как вспышки блица, — коротки, солнечные, жесткие, прямые к нам лучи глядят под потолки...»

Светило здесь, конечно, не ползает по горизонту, робко заглядывая в окошки снизу, а солнечные зайчики весело играют на полу, но дни, как ни странно, самые по-июньски протяженные, тоже просверкивают блицем, не успеваешь запомнить. И все-таки приезд жены Шеры Виктории Петровны был событием вовсе не рядовым для пансионата. И это вскоре почувствовали все — и отдыхающие, и администрация. И конечно, сам Шера.

Она объявилась во время обеда, легко и как бы не совсем по-курортному наряженная, в темных очках, стройная, импозантная женщина, в которой и сейчас можно было разглядеть следы былой красоты. Густые темные волосы подобраны в пучок, и очень бледное, почти незагорелое, с тонкими чертами лицо. И такая же бледная высокая шея. Рассказывают, что некогда, в молодости, ее любили писать знаменитые художники и на недавней выставке картин Фалька даже выставлялся ее портрет.

Шеру она обрела случайно, когда он, после ссылки, тонкий, как бледная спирохета (сравнение Виктории Пет-

ровны), появился в палисаднике литературного института, где она в ту пору работала секретарем декана. Шера, посиживая на скамеечке, с интересом выслушивал стихи молодых снобов, студентов, чуть растерянный от необычности новомодной поэзии, как и его создателей, и тут среди деревьев показалась она. Ей сообщили о знаменитом Шере, чьи лихие стихи она слышала и даже знала наизусть в свои студенческие годы. «Пойдемте, я вас угощу чаем», — сказала она. После чая он оказался у нее дома. Там навсегда и остался.

Виктория Петровна быстро миновала террасу, с кем-то на ходу здороваясь, кому-то кивая, но нигде не задержалась, нацеленная на тот уголок, где в присутствии остальных восседал, пока что независимо и даже расслабленно, еще не осведомленный о ее сегодняшнем приезде Шера. Она не любила предупреждать о приезде, а еще больше не любила, когда ее встречают или провожают. Все знали, что ее основополагающая формула: я все делаю сама.

Как нежданная комета, она вторглась в зону притяжения их столика, и все, кроме, пожалуй, Сергея, развернулись к ней и немного напряглись. Она поздоровалась с застольниками, но как бы холодно и чуть свысока, и лишь мужа, кажется, растерянного, а может, и расстроенного ее неожиданным появлением, поцеловала по-матерински в лоб.

И тут же свысока прозвучало: «Почему вы сидите на сквозняке? Почему распахнута форточка?» Ей не ответили, но форточку тут же поторопились прикрыть. Она придвинула свободный стул, который ей услужливо подала официантка, чуть уплотнив худощавого мужа, и по хозяйски оглядев стол, определила, что салфеток, как всегда нет, но она купит, и скатерть так себе, не свежая... Надо сказать, чтобы поменяли. А муженек, как всегда, явился в общество в заляпанной фруктами майке да еще ест через руку!

— Шера, — повторила она, — не ешь через руку!

Смущенный замечанием, Шера перестал есть и даже приподнялся, видимо, собираясь сходить и поменять май-

ку, но она тут же его одернула: «Да сиди уж! Если есть вода, сегодня постираю. Надеюсь, стиральный порошок в здешних магазинах я найду?!»

Она не то что спрашивала, она декларировала, но все за столом согласно кивнули насчет магазина и порошка, тоже перестав жевать. Опять же все, кроме Сергея. Он еще не ведал, с кем приходится общаться. И он же, единственный, не обратил внимания на общий вздох облегчения, когда она покинула стол, заявив на прощание, что она, в общем-то их не стеснит, ибо заехала только на пару деньков, а ее путь лежит далее, в один из санаториев Сочи.

Все в ней было бы прекрасно, и легкость в движениях, и быстрота реакции, но если честно, мужчин раздражал пронзительный, как звук ножовки по металлу, тембр ее голоса, от которого у иных даже выступала аллергическая сыпь на коже.

— Да, кстати, — вспомнила она обернувшись, — а как ваш парламент... Или как его... Он что, сдох?

— Почему сдох? — спросил Зяма, задетый за живое.

— Так... Подумала. Но если еще не сдох, я хотела бы на нем присутствовать! И даже выступить!

— Так его собирать же надо.

— Вот и соберите! Кто вам мешает?

Повернулась и ушла. И лишь Зяма, такой вдруг укрощенный в присутствии Виктории Петровны, посмотрел многозначительно на Соколова и произнес что-то вроде, что королевской власти скорей всего придется в эти дни потесниться... И за столом тоже. Не так ли, Ваше величество!?

— А она что? Будет тут сидеть? — подал голос наивный Сергей, впервые оторвавшись от еды.

— Да. А что?

— Ничего. Я могу уступить ей место.

— Ни в коем случае, — запротестовал Шера. — Я вообще не уверен, что она будет сюда приходить. Да еще вовремя. — Он внимательно осмотрел свою майку, покачивая головой, и добавил, что мадам умеет везде находить для себя и для других работу. В крайнем случае,

будет собирать в мешок мусор в парке, если решит, что он загажен. Еще и вас заставит... Так что будьте настороже.

Зяма, чтобы как-то разрядить обстановку, поведал байку про зоопарк, откуда сообщили мужу, что его жена попала в клетку с тигром. Муж ответил: пусть тигр выпутывается сам. Но никто даже не улыбнулся. А уже к вечеру Виктория Петровна словила Соколова у дверей сразу после ужина и попросила проводить ее парком до бунгало, где размещался ее муж. Но еще лучше до мальчика с лягушонком. Там тихо. А им необходимо поговорить.

— О чем? — кротко поинтересовался тот, вздыхая.

— Обо всем, — отвечала она.

Это была та самая скамеечка, с чуть облезлой зеленой краской, где еще недавно в разговоре с БОСом решалась судьба самого Александра Семеновича. Вроде бы случилось недавно, но столько с тех пор в его жизни изменилось. Не только в его отдыхе, но еще больше в его душе. Как сказал бы мудрейший Шера: сдвинулась ось. В мозгах ли, еще где-то... Но сдвинулась. И все пошло кувырком. В этом плане появление жены Шеры уже не казалось столь уж большой проблемой. Хотя... Отчего-то именно эта, выбранная ими опять скамейка, приносила ему неприятные сюрпризы.

Викторию Петровну не интересовали чужие переживания. Кстати, свои тоже. Ее прозвища не случайно были: «Васса Железнова» и «Железная леди», она же «Мадам Тетчер». И там и там присутствует слово «железо». Ее выводили из себя любые мелочи, доказывающие несовершенство мира. От пивных банок у дороги до коррупции. И это вовсе не было какой-то жизненной установкой. Это было врожденное чувство неприятия любых недостатков, которое, возможно, доставляло ей массу хлопот и даже страданий. Как однажды выразился Шера, это у нее не идеологическое, а биологическое. Но, узрев, скажем, свалку, возникшую рядом с домом, она начинала воевать. С дворником, ДЕЗом, соседями, муниципалитетом, городским правительством... А если надо, то и с

самим мэром. И как ни странно, почти всегда добивалась своего. И все кругом знали, что она расшибется в кровь, истреплет себе и другим нервы, но свалки этой, уж точно не будет. Хотя понятно, что мы, россияне, совсем без свалок жить не можем, а значит, рядом вскоре возникнет другая. И не меньше. А значит снова непримиримая война.

Соколов, который первым попал в железные объятия Виктории Петровны, и не думал сопротивляться, а терпеливо ожидал своей участи и лишь молился про себя, чтобы проблемы, представленные мадам, были бы не столь сложны. Сейчас он пребывал в роли лягушонка, зажатого в руках бессердечного пацана.

— Так вот, — произнесла Виктория Петровна и проследив за взглядом собеседника в сторону фонтана, тут же отметила, что у мальчика отколот мизинец на левой руке, а в фонтане не видно привычных золотых рыбок. Почему?

— Варвары... потому что... — отвечал Соколов со вздохом.

— Кто эти варвары?

— Да одна дикая семейка. Выловили и изжарили на ужин.

— А вы молчите? Кто же это?

— Уже не помню. Наши знают.

— Но я их сама найду!

Виктория Петровна развернулась в сторону Соколова. У нее была особенная манера упираться взглядом в собеседника; ее взгляд был не сверлящий, не колющий, но странно неподвижный, как бы пронизывающий, и может поэтому сильно смущал собеседников. Сам Шера называл его рентгеноскопией.

— Так что же? — произнесла, минуту или более просвечивая Соколова своим взглядом. — У вас травят собак, жарят золотых рыбок, разворовывают пансионат... А вы полеживаете беспечно на пляже? Как и ваши милорды?

— Вы хотите сказать лорды, — поправил Соколов, но согласился, что справиться с неведомым отравителем им пока не удалось. Они не милиция.

— Но почему разворовывают пансионат? Кто его разворовывает?

— Жулики. А вы не знали? Сейчас все разворовывают. В Москве два проходимца, вы их знаете, литератор Огнивцев и главный врач Нечайкин загнали американцам клинику. Вашу, между прочим, клинику! Да, кстати, а как у вас со здоровьем?

— Как видите... Здоров.

— Бросьте. Все же знают, что вы из больницы.

— Ну и что?

Виктория Петровна поджала губы и отвернулась. Но, кажется, не обиделась.

— Что это вы на меня, как Ленин на буржуазию... Я вам помочь хочу. Вы к зарубежным врачам не обращались? В Израиле хорошие специалисты...

— Да, я слышал, — отвечал Соколов кротко. — Но это все неподъемно.

— Это дорого, — согласилась Виктория Петровна. — Я устраивала свою подругу, они за операцию запросили пятьдесят тысяч... Не долларов, а евро!

Соколов откровенно и громко рассмеялся. Господи, знала бы наивная собеседница, что он больше ста евро никогда не держал в руках.

Виктория Петровна лишь покачала головой.

— Я бы тоже посмеялась, — заметила сдержанно. — Если бы разговор не шел о вашей жизни. Но ведь вы лежали в хорошей больнице? Вас кто-то спонсировал?

— Кому я нужен?

— Но там же бесплатно не лечат!

— Но может, это... благотворительность? Все-таки я член Рабиса... И возраст... Разве так не бывает?

Теперь в пору было рассмеяться Виктории Петровне.

— Бывает. В фантастических романах. А этот самый Рабис скоро пойдет с молотка.

— А что здесь, по соседству, олимпийские игры планируются, зона отдыха для спортсменов, трасса и так далее... Это вы слышали? Да через год здесь каждый сантиметр земли будет дороже золота! Ведь ее и зовут «золотая миля»!

— Ну не пугайте, не пугайте, — отмахнулся Соколов, но при этом огляделся. Ему померещилось, что за спиной у них стоят БОС с Димой и ехидно посмеиваются. Но особенно защемило сердце, когда проницательная Виктория Петровна добавила, что не только землю или здания, если понадобится, они и писателей прикупят с землей заодно...

— Впрочем, — добавила она, проводив какую-то прогуливающуюся пару взглядом, — земля да, но сомневаюсь, что вы кому-то нужны!

— Вы это серьезно? — спросил он, отчего-то напрягаясь.

— Очень серьезно. Вот, объясните, я на днях в газете прочла, что какая-то американка села в тюрьму на два месяца за езду в нетрезвом виде. Ну упилась супермодель вусмерть, и что? А об этом вся мировая пресса трубит уже неделю! А Солженицын, писатель с мировым именем, заболел, и мы узнаем случайно и то лишь потому, что на вручении премии он был на каталке... А почему? — спросила Виктория Петровна, вперив свой неподвижный взгляд в собеседника. — Потому что ваше (ваше!) время ушло... Твардовский, Василь Быков, Сахаров, академик Лихачев... Они покинули этот мир очень даже вовремя, им повезло, что всего этого одичания не увидели. Да и кто их сейчас вспоминает? Кому они нужны?

— Ну кому-то мы и нужны, — произнес Соколов отчего-то раздражаясь, и снова оглянулся. Мистика, но эта плохо покрашенная скамеечка излучала одни неприятности.

— Не вы! Не вы! А ваша «золотая миля»... Сколько, кстати, здесь земли?

— Да гектар двадцать... двадцать пять... Николай Васильич, который Негоголь, вам точней скажет!

— Вот об этом я и хочу говорить с вашими... лордами! — заключила Виктория Петровна. — А кстати, кто они? Я кого-то знаю?

— Зяма... Ваш Шера, к примеру...

— Ну муж — пустое место. Он из тех, как сказал Илья

Ильф, кто последним садится в автобус... Но правда я добавляю: важно, кто первым из него выходит! А этот, который блондинчик... Тоже с вами?

— Он знаменитость!

— А что же в нем такого знаменитого?

— Он эти... Сериалы катает... На всю страну!

— Не смотрю. А вот его рассмотрела. При нем человек станет тонуть, а он спокойно доест свою кашу, а потом лишь будет решать, не сыровато ли лезть в воду... И не полезет! Я таких тихариков нутром чувствую!

— Ну, кашу... это от смущения, — отмахнулся Соколов. Обсуждать поведение сериальщика ему не хотелось.

— Посмотрим. А вы уж, будьте так добры, — произнесла Виктория Петровна и поднялась, показывая, что разговор закончен и она не сомневается — все, что она просила, будет исполнено. — Так будьте добры, — повторила, — соберите-ка своих. Нет, сегодня поздно. Лучше завтра. Время терпит.

Собирать никого не пришлось. Сами собрались. И собрались потому, что наутро Зяма принес неприятную новость: отравили Мишку.

— Отравили? Почему вы думаете, что отравили? Может, возраст? Может, случайность?

— Да у директора совхозный ветеринар гостит... Он сказал, что вздутие живота и пена на губах. Все признаки отравления. Тем более у Султана и Пушка было все так же.

— Но почему тогда Мишку-то? Он ведь никого не трогал? Он даже не лаял. Зойка брехала, а он нет.

— А может, они это (это!) Зойке и подложили?

— Конечно, ей! А кстати, она-то жива?

— Жива. Но тоже, видать, напугалась, замолчала, прячется под кустом.

— Почувствовала опасность!

Все это прозвучало чуть сумбурно, громко и почти на ходу. Оставив завтрак, все двинулись вслед за Зямой в дальний конец парка, где на траве распласталось бездыхание

ханное тело собаки. Рыжеватая с подпалинами шерсть была облеплена насекомыми.

Одной из первых объявилась Виктория Петровна. Несмотря на раннюю теплынь, была одета в цветное платье, на голове шелковая голубая косыночка. Ничуть не брезгуя, она потрогала разбухший живот собаки, провела ладонью по жесткому загривку и оглянулась на собравшихся:

— Ну? Уважаемые пэры... Дождались?

Мужчины молчали, уставясь в землю.

— Ваше величество... Вы-то чего молчите? — спросила она.

Соколов не отвечал. Лишь тихий Сеня, откуда-то из-за спин выкрикнул нервно:

— Но я предупреждал! Это же не человек, который поднял руку на беззащитную собаку! Это террорист! Это бен Ладен! И его надо судить по статье терроризма!

— Кого судить-то? Вы его видели?

— Но может кто-то видел? Надо людей опросить!

— А почему Мишка здесь оказался? Он ведь от столовой не уходил?

— Нет. Не уходил.

— А нашли-то его здесь?

— Здесь. Может, как у них бывает... почувствовал конец и уполз подальше от людей? Вот у нас кот был... шестнадцать лет прожил, а на даче ушел однажды в лес и не вернулся.

— Ну, Мишка другой... Он к людям тянулся!

— Да он сам человеком был! Он же всех в доме поименно знал!

Виктория Петровна сняла косыночку, вытерла пену на губах животного, отмахнула наседающих мух и накрыла морду животного.

— Я найду этого бен Ладена, — сказала она, поджимая губы. — Я не уеду, пока не найду. А мое слово, все знают... Закон...

Повернулась и пошла. Мужчины, некоторое время постояли, а потом молча разошлись. Остался один Соколов.

Он дождался директора Николая Васильевича, который привел двух подсобных рабочих с лопатами. Пока те копали яму, они успели перекинуться несколькими фразами по поводу отравления: пансионат бурлит, люди требуют вызвать милицию для расследования. Но уже ясно, что никого не найдут, а волну погонят такую, что потом не расхлебаешь за месяц. До собак ли, Ваше величество, когда люди исчезают!

— Это какие люди? — спросил Соколов вяло.

— Да каждый год... Уходят в горы и исчезают. А одного предпринимателя, он промышлял рыбой, схватили прямо на улице и увезли куда-то... Ни человека, ни тела...

— А за что?

— А собаку за что?

Яму между тем вырыли, но небольшую, Мишка поместился в ней с трудом. Сейчас в распростертом виде он оказался куда крупней, чем в прихожей их столовой. Директор приказал закапывать, и не дожидаясь окончания процедуры, ушел. Только спросил озабоченно, не известно ли Соколову, когда должна отбыть жена Шеры, и почему-то добавил, что таких замечательных жен особенно хорошо иметь после своей смерти.

Соколов дождался завершения, сунул рабочим червонец на пиво и остался в одиночестве. В его жизни перебывало немало собак, в большинстве случаев дворовых, ибо он проживал в пригороде в мало обустроенном доме. Катька как-то спросила, а какие клички были у его собак. Он стал вспоминать, назвал Дамку, Пушка, Белку, а на Джеке споткнулся. Его двухмесячным щенком отец, в пьяном виде возвращаясь с гулянки, пнул сапогом, и тот умер. Джек был для мальчика единственным другом. Он схоронил его под вишней, а на листочке календаря попытался зарисовать на память. Фотоаппарата тогда у него не было. Но Катюне про Джека не стал рассказывать, как и про болезненное чувство, сохранившееся с тех голодных времен. Он переживал не за себя, как-нибудь да перетерпит, а вот как выносили голод собачки, его дружки, которые

не бросали его, трудно понять. Господи, такой уж он был бесштанной командой тогда. У пивной собирал шкурки от колбасы и нес им.

И Мишка, его долгая жизнь при пансионате была частью жизни самого Соколова. Приезды, отъезды, дальние прогулки и детские забавы Катьки... Все это не проходило без Мишки.

Приезд Соколова в Монпасье пес угадывал безошибочно и в этот день покидал столовую, выходил к воротам пансионата, дожидаясь автобуса. Но вел при встрече сдержанно, подходил к руке, и если хотел показать свою радость, ложился у ног, как бы говоря, что он рад гостю и по-прежнему готов служить весь отведенный для отдыха срок. Так же вел себя и с Катькой, но в знак преданности облизывал ей руки, приникая к ее ногам теплым боком. Во время прогулок со всякой дворовой сворой, голосящей трусливо из-за заборов, в перепалку не вступал, но негромко рычал, когда к папе и дочке подходили незнакомые люди.

Катька тогда говорила:

— Мишенька, этот человек наш друг!

Приблизившись, он не спеша знакомился с прохожим, обнюхивая его ботинки, а потом ложился в сторонке, никак не мешая общаться.

Как-то четырехлетняя Катька нарисовала на бумаге Мишку. На рисунке он выглядел, как старый лев с огромной высоко задранной головой. Родители недоуменно разглядывали рисунок, пока не сообразили: собака-то изображена снизу, в таком ракурсе ее мог увидеть только ребенок.

А однажды по возвращении в Москву, он застал Катьку в слезах. В руках у нее был резиновый, зеленого цвета мячик. Вернее то, что от него осталось. Оказывается, Катька в память о Мише, прихватила его игрушку, и теперь горько рыдала, что целый год не увидит своего дружка. Эти изжеванные останки мяча она хранила в особом ящичке для самых дорогих подарков и даже никому не показывала.

Соколов со вздохом пригладил рукой еще не прогретую землю на верхушке холмика.

— Прощай, Миша, — пробормотал негромко. — Катька бы тебя в обиду не дала. Но если существует собачий рай, пусть тебе там будет хорошо.

А вечером, после ужина, появилась где-то пропадавшая Виктория Петровна. Она снова отловила Соколова у выхода из столовой и попросила проводить ее до фонтанчика. Надо поговорить. Только человек, знающий ее долгие годы, мог бы заметить, что она на взводе. Там, около злополучной скамейки она извлекла из сумочки свои дешевые, очень вонючие сигареты, так называемые «гвоздики», закуривая, произнесла, что вроде бы недавно с курением завязала, но сегодня, после гибели собаки, не выдержала, снова задымила. Благо в провинции еще продают ее сигареты.

Отмахивая дым, она предложила присесть, но Соколов торопливо отказался.

— Лучше уж напротив, — предложил, не без страха оглядываясь на пресловутую скамейку. — Там чуть потише. Кстати, и золотые рыбки в фонтанчике появились! — с удивлением отметил он.

— Да. Вчера взяла вашего директора за фаберже, так теперь говорят, потому и появились, — отмахнулась Виктория Петровна.

Присев, она сказала, не глядя на собеседника:

— Всё! Ваше королевское величество! — и после долгой затяжки повторила: — Всё! С отравителями покончено! Точней, с отравительницами.

Соколов не стал задавать вопросов. Он ждал, хотя новость его сразила. Именно тем, что их бен Ладеном оказалась особа женского рода. Но ведь не зря еще древние говорили: «Ищите женщину».

Между тем Виктория Петровна снова извлекла сигаретку и, раскурив, не спеша поведала, как ей удалось найти эту сволочь. Сперва она вычисляла убийцу среди мужчин, не случайно один из отдыхающих — известный всем пакостник. Даже сходила в аптеку, слава Богу, она тут одна, и всех тут знают. Но не было никого, кто покупал бы в недавнее время крысиный яд или что-то подобное. Тогда

она выспросила дворника, не валялось ли каких бумажных клочков, в которых могли принести отраву. Клочки, оказывается, были, и подметая, он сгреб их в урну, но сжечь еще не успел, дворники здесь не менее ленивые, чем в столице. Обнаружилось, что это обрывки из женского, очень модного журнала «Космо». В киоске, тоже единственном в поселке, сразу же назвали покупательницу из пансионата, местные женщины такими журналами не интересуются. Вот и все.

— Так кто же это? — воскликнул громко Соколов, не сдержавшись.

— Не угадаете: — и после паузы: — ваша Дианочка, как вы ее зовете... то есть Диана Александровна... Так-то вот!

Диану Александровну Соколов знал, да ее все знали: утлая старушечка с подростковой внешностью, немножко чудная, немножко смешная, она одевалась во все времена в модную «клеточку». Отдыхающие шутили: сзади пионерка, спереди — пенсионерка.

— Но это невозможно. Такая тихоня... Вы случаем, не ошиблись?

— Да нет. Мы с ней, как говорят, поговорили по душам.

— Что же вы предлагаете?

— Да ничего, — отвечала Виктория Петровна. — Я уже все сделала.

— Что вы с ней сделали?

— Выпроводила из пансионата.

— Как это?

— Просто. Так и сказала: не хотите получить свою порцию крысиного яда, убирайтесь в течение часа. Такси я вам вызвала, билет на Москву заказала, получите прямо в кассе на вокзале... Если исчезнете, никто ничего не узнает. А если нет...

— А она?

— Она не сопротивлялась. Думаю, что уже в поезде.

— Тогда еще один вопрос... — Соколов закашлялся: такой едкий дым исходил от Виктории Петровны. — Зачем? Зачем она это сделала? От злобы? От глупости? А, может, сбрендила после похорон мужа?

Он ведь драматургом был, его даже московские театры ставили?

— Ну, в нем-то все и дело. Он фронтовик, красавчик, она в третий раз что ли вышла замуж, но его, и правда, обожала. В Москве, это все знали, у нее была одна страсть: обежать все окрестные комиссионки и скупить посуду, серебро... А когда супруг умер, ее жизнь, которую она так долго сотворяла, украшала, практически рухнула. В Рабисе лично она никого не интересовала. Тогда она стала травить собак.

— Но почему собак-то? Они-то при чем? — воскликнул Соколов.

— Ну, понятно, не людей же травить! А тут, видите, какой переполох, шум, гам, слезы даже! Все, как в хорошей коммуналке!

— Это все от одиночества, — сказал Соколов, вдруг почувствовав усталость от их разговора.

— А вам ее еще и жалко? — Виктория Петровна долго неподвижно рассматривала собеседника. — Вам жалко отравительницу? А если бы она вам или мне сыпанула в тарелочку чего-нибудь подобного?

Соколов не отвечал. Но когда они расстались, про себя еще повторил слова, что все мы можем сойти с ума от одиночества. Как там у Бунина: «...буду пить, хорошо бы собаку купить...»

Господи, подумалось, как мы все живем, что никто никому не нужен. И напомнить о себе можно лишь вот так, погубив бедных животных. Если не самого себя? Он, наверное бы, рванул сейчас на станцию, чтобы вернуть странную отравительницу, но она уж точно на пути в Москву.

И он повторил стихи, переиначив жестоко слова: «...Буду пить, хорошо бы собак не травить...»

Глава восемнадцатая

Королевский прием

На другой же день за завтраком Соколов спросил Зяму о запланированном королевском приеме, который по разным причинам они все время откладывали. Заодно поинтересовался, есть ли среди записавшихся небезызвестная Диана Александровна, жена умершего недавно драматурга. Оказалось, она, и правда, записалась, и ждала. Даже несколько раз напоминала о себе. Но вчера неожиданно собрала манатки и укатила домой.

— Не дождалась? — спросил, помрачнев, Соколов. — А о чем она просила? Не о памятнике мужу?

— О памятнике тоже.

— А еще о чем?

— Да трудно понять, — пожал плечами Зяма. — Они так длинно пишут.

— А все-таки?

— Ну... Тяжело существовать... Пенсия... Работы нет... Родственников не осталось, детей нет... И что жить ей не хочется.

Соколов вспомнил, что и в прошлом году к нему подошла вдова писателя и стала просить, чтобы он написал в какую-нибудь газету о ее муже. «Но я его мало знал, я плохо его помню», — отнекивался он. — «Как же не помнить, он же здесь все время отдыхал? Ну помните, такой лысенький?»

Соколов не мог вспомнить «лысенького» мужа, тем более лысеньких здесь и других было немало, но на всякий случай кивнул. Но подумалось не без горечи, что эти несчастные бабы волокли семейный тяжкий воз до смерти мужа, иной раз переписывали по ночам рукописи, носили по редакциям, страдали от безденежья. А оставшись в одиночестве, цепляются за его друзей, за его коллег, даже соседей, чтобы найти опору в окружении ушедшего мужа.

Чувство типично биологическое, как у животных... иметь близость к его среде. Это делает их спокойнее, увереннее в себе. Хотя, если по правде, ну кому нужен ее муж, если никто уже не сможет вспомнить, что он написал. Если он вообще писал.

— Но ведь это правда? — сказал Соколов.— Жена писателя — это же профессия. Вспомните хотя бы жену Достоевского — Анну Григорьевну Сниткину. Из какой бездны она его извлекала? Что бы он без нее нам оставил? Быть женой человека искусства, как утверждают, это профессия. А вот быть вдовой такого человека это даже и не профессия, а тяжкая ноша. На многих из них, я говорю о настоящих женах, ложится непростая задача сохранять, а то и воскрешать творения мужа, которые закопанное в повседневье человечество по истечении похорон выкинуло, стерло из памяти.

— А вы не помните, о чем всю жизнь мечтал Федор Михайлович? — вдруг подал голос Шера. Виктория Петровна утром покинула пансионат, продолжив свое путешествие, и он как бы снова ожил. Но и весь Рабис и даже официантки обрели прежний вид, а салфетки со стола сразу пропали.

— О чем же?

— О земле. Он мечтал о своей усадебке!

— О земле все мечтают, — подал голос обычно молчаливый Сергей. Как правило, он выпивал свой кофе и бежал работать. Но эта тема видимо его интересовала.

— Зачем вам земля, вы что дом, коттедж, виллу собираетесь строить? — спросил Зяма.

— Собираюсь... Но не виллу, а скромный домик.

— Зачем?

— Как зачем? Жить!

— Ну, зачем вам домик? Вам же еще мало лет!

— Тем более. Выйду на пенсию...

— А у вас стопроцентная гарантия, что вы доживете до пенсии?

— Ну, это уж вы слишком! — запротестовал Сергей. Но не обиделся. На Зяму трудно было обижаться.

— Нет я не слишком. Я вот не строю себе домика, потому что мне твердых гарантий не дают, — сказал тот, усмехаясь. — И знаете... Не обижайтесь, считайте что я к себе этот вопрос обращаю. Однажды выпил я рюмку коньяка и стал вспоминать. Был Боря Балтер, замечательный прозаик. Построил дачку, завел огородик и как раз настраивал в саду насос для поливки... Но охнул и упал. Сердце! И ни к черту не нужен ему теперь ни насос, ни тот огородик при дачке.

— Ну мало ли чего не бывает!

— Не мало. Классик перевода с восточных языков Семен Липкин. Я все называю вам знакомые имена, заметьте. Добивался десятки лет дачи в Переделкине. Добился. Даже мы порадовались. Гулял по саду, охнул и упал. Сердце!

— Так ему сколько лет было!

— А он бы и дольше прожил, если бы не срывал сердце в борьбе за эту самую дачу, воюя с руководством Рабиса! Или вот, Павел Нилин... Слышали такого?

— Слышал. Роман «Жестокость»...

— Вот, вот. Гуляли мы с ним по этому самому Переделкину, а он указал на дачу и сказал, что будет жить, только ремонт сделают. А ремонт делали года два. Ну сделали, а его-то уже нет. Но я не скажу, что он-то стар был. В возрасте.

— Ну и что?

— Юра Казаков домик построил в Абрамцеве... Где Юра и где тот домик?

— Так вы считаете, что все наши потуги...

— Да я так считаю. Даже Достоевский, мечтавший, как сказали тут, о домике, который он называл усадебкой, — слава Богу не купил! Угрохал бы остаток гонораров на покупку земли, понаделал бы долгов... Ухайдокался бы с доставанием всяких там кредитов и стройматериалов... Это я уже про вас говорю. Через два-три года, а то и четыре и пять, привезете вещи и сядете на веранде чай пить. А тут насос для поливки воды сгорел. Пойдете вы его, значит, чинить...

— Не надо дальше, — попросил Сергей. — То, что вы рассказываете, — кошмар. Но это не про меня.

— Конечно. Я знаю, потому что через это прошел. И вот что я для себя придумал... Моих сбережений на домик все равно не хватит. Но если поделить их на десять частей, то роскошное существование на курорте вполне обеспечено. Даже летать могу первым классом!

— А зачем? Это дорого!

— Отчего вы себя не любите! — воскликнул Зяма. — Мы можем с вами доставить себе такое удовольствие, и главное, без домика нам для этого хватит наших сбережений. Десять лет и себе и вам обещаю. Но при этом обещаю и здоровье, потому что вы не сорвете сердце, строя свою усадебку. Но каких десять лет! Вам все завидовать будут, вот увидите!

Соколов молча вслушивался в монолог Зямы, у которого, как всегда, трезвые рассуждения преподносились под видом шутки, но мысли витали вокруг все той же, отбывшей в столицу отравительницы. Как бы она ни сотворила что-нибудь с собой. Косвенно в ее смерти, как и в смерти несчастного Миши, он, Соколов, тоже будет виноват. Вовремя бы поговорил по душам, как знать, смотришь, уцелел бы и Мишка.

Можно бы ввернуть, вклинившись в спор, про подмосковные и всякие рублевские замки, где стены повыше кремлевских, и где нынешние нувориши устроили себе филиал колонии, похожий на те отдаленные места, где отбывали сроки. Но есть дачки пострашней, из тех, что построены на чужих могилах. Под Смоленском Соколов сам видел, прямо на костях расстрелянных поляков да русских, так называемых врагов народа, эмвэдэшники возвели дачные коттеджи. И жили, как говорят, припеваючи, такой роскошный лес на костях произрастал!

— О земле мы еще поговорим, — заключил Соколов чужой спор и поднялся. — А вот прием проведем сегодня. — Это уже Зяме: — Повесьте объявление что ли. Вечером после ужина и начнем.

— Где укажете?

— А где лучше? В номере не хотелось бы... Но зато солидно.

— Значит в номере.

Королевский прием оказался короче, чем он предполагал. Шла бытовая мелочовка: у кого-то стащили зубную пасту, а кому-то шумный выпивоха-сосед не дает спать. Некоторые просили помочь материально. Здесь столько фирмачей, говорили, пусть делятся, если награбили бабла.

— Они их заработали, — поправлял деликатно Соколов.

— Ну конечно. Мы всю жизнь горбатились и почему-то ничего не имеем. А они за полгода нагребли миллиарды! Бросьте хоть вы загибать! Заработали!

Тут их урезонивал с добродушной улыбкой Зяма, напоминая, что с его величеством так беседовать не положено.

Явился известный критик Янковский, сухонький желчный человек. Его разносными статьями пугали молодых авторов. Но сегодня он пришел не с просьбой, а с тем же разговором о новых русских.

— Но это не по моей части, — в шутку заметил Соколов. — Я старый русский.

— Знаю. Но вопрос тем не менее острый. Тогда скажите, они что, все сбрендили? Что, не понимают, их же в одно мгновение сметут, если накалится обстановка.

— Кого сметут?

— Ну кого? Олигархов, конечно. Вот читаю: один построил себе в Лондоне бункер! Зачем? Кого этот бункер спасет в наше время? Или вот, еще один — линкор да еще с подводной лодкой купил! Он что, воевать в Ираке собирается? Третий в Куршевеле бардак устроил... Маршал Буденный утешался лошадьми, Брежнев автомашинами... А нынешние будто взбесились от обилия денег, а почему? Да все от малой культуры. Убогость их желаний от убогости воспитания!

— А что вы сами-то предлагаете? — поинтересовался Зяма. — Устроить им курсы по литературе? Один знаменитый менеджер, который готовит девочек для олигархов, обучает девиц цивильному обхождению и, заметьте, им читают курс по классической литературе.

— Ну да, — язвительно среагировал критик, — чтобы сами олигархи в промежутках между половыми актами

хоть в пересказе проституток узнавали, что до них были Чехов и Толстой! Но я бы предложил иное!

— Что именно?

— А пусть учатся благотворительности у Гейтса, у Форда... Они инвестируют доходы в сегодняшние болячки, чтобы их(их!) детям лучше жилось в будущем. Вот и все курсы.

— Но не весь Запад такой уж бескорыстный, — заметил Зяма. — В творческом доме на Ванзее, это окраина Берлина, где русских литераторов почти не бывает, за год, как я узнал, пропадает весь комплект посуды, вплоть до вилок и ножей! Европейцы тоже не брезгуют хапать, когда есть возможность!

— Да! Да! — воскликнул критик. — Я согласен, что произошла переоценка Европы. Вы только посмотрите, брезгливые к иностранцам французы, которые недавно ставили нас ниже Алжира и Туниса, сейчас готовы терпеть вагон русских блядей, лишь бы им платили!

— Но если бы только Франция!

— Нет! Не только! А респектабельная Англия лучше? Да они готовы присвоить звание лорда нашим жуликам, которые скупают за миллионы музейные дворцы в Лондоне, не считая всего остального!

— Но может англичане не знают, что к ним нагрянула орда, обокравшая Россию? Всякие там лесные братья, как их... Эвкалипты, баобабы?

— «А» и «Б» сидели на трубе, — вставил Зяма. — А теперь на алюминии.

— Все-то они знают. Да всегда можно заглянуть в Интернет и посмотреть «ху-ис-ху». А у них что, и смертной казни нет?

— Нет.

— Ну вот. Оттого к ним и бегут. А мы, как бы поточней выразиться... Мы осиное гнездо... Мы варвары. Мы плодим массовый криминалитет, и худо будет этим... которые наблюдают за нами, проживая в теплой воде, и глядя на восток, как на щекочущий нервы детектив в телике! Не понравилось, мол, взял да выключил. Но нас-то не выключишь!

— Так вы пришли жаловаться на них что ли? — поинтересовался Зяма, усмехаясь.

— Да! Ведь нас за дураков держат. Обидно.

— Но почему к нам-то?

— А кому я могу еще пожаловаться? Президенту? Римскому папе? В Страсбургский суд? Да плевать им всем на нас с двадцатого этажа.

— А мы-то что? Мы тем более...

— Конечно, Ваше величество, и вы бессильны. Но у вас хоть совесть есть. И у меня есть. Душу отведем, и легче. Мне и нужно лишь увидеть, что меня понимают. Прощайте!

Неожиданно ворвался человек, растолкав очередь, ибо у него, по его словам, неотложное государственное дело. Был он в потертых джинсиках, в футболке, но с портфелем. В списке на прием не значился и еще от дверей заявил, что у него приватный разговор насчет земли, не требующий отлагательств.

Соколов предполагал, что кто-то с таким вопросом нагрянет, но непонятный пришелец не вызывал энтузиазма.

— Я вас слушаю. Кто вы?

— Это не важно, — сказал человек. — Можете записать меня как «приезжего». Но хотелось бы говорить наедине.

Он посмотрел на Зяму. Тот передернул плечами и вышел, пробормотав что-то насчет заезжих туристов.

— Сколько я должен? — спросил человек в упор.

У него были нагловатые голубые глаза и неприятная манера приближаться к собеседнику лицом к лицу вплотную.

Соколов даже растерялся: ему напрямую, чуть ли от дверей, предлагалась, как он понял, взятка. Пока даже непонятно от кого и за что.

— Вы мне ничего не должны, — стараясь сдерживаться, отвечал он.

— Так не бывает, — уверенно произнес человек. — Берут все. Короли тоже.

— Нет. Не все.

— Значит, мало предлагали.

Надо было бы сразу указать наглецу на дверь и попросить выйти вон. В крайнем случае позвать Зяму. Тот знает, что в таких случаях делают. Но он решил повременить. Любопытство взяло верх.

— Я ничего еще для вас не сделал. Что вы хотите?

— Надеюсь, сделаете... Разговор идет о крупной сумме.

Соколов молчал. Теперь человек приблизился настолько, что от него пахнуло спиртным.

— Двенадцать гектаров, как я посчитал. По десять тысяч за гектар... Это будет... Это будет сто двадцать тысяч. Вас такая сумма устроит?

— А что я должен сделать?

— Да ничего особенного. Поговорите с директором. Он вас послушается. Рабис вам, я думаю, жалко, но вы же вряд ли сюда еще приедете?

— Приеду. А почему вряд ли?

— Ну, сами знаете почему. А те, что здесь проживают, они вашу жертву все равно не оценят. Поверьте мне.

— Не поверю.

— Ну как хотите. Вам же хуже.

Человек оценивающе обвел глазами номер, и уже от дверей торопливо попрощался.

— Я думал, вы и вправду король, — сказал он, — а вы пешка. Вы просто пешка.

Немного разрядила обстановку персональная пенсионерка (их прежде в народе называли «перпенсы»), по имени Марь Иванна, она пожаловалась на зятя, который по ночам мучит ее дочку.

— Издевается, что ли? Бьет?

— Она стонет, даже кричит и плачет, через стенку-то все слышно.

Зяма, был в курсе этой истории, ибо, составляя список просителей, успел пообщаться с дочкой. Плохо скрывая ехидную улыбочку, стал пояснять непонятливой маме, что это все происходит от секса.

— В наше время никакого такого секса не было, — отрезала категорически мама, поджимая губы. — Я сама была парторгом камвольной фабрики и принимала лю-

дей. А там сплошь женщины. И ни одна из них не говорила про какой-то развратный секс. Рожали детей, и слава Богу. Вот если пьяный муж избил, другое дело. Такие случаи были. Или соперницы из-за мужика подрались... Но зять-то как раз образованный и приличный на вид человек.

— Есть такой, Марь Иванна, научный термин: «параксизм страсти», — терпеливо внушал Зяма, все так же скрывая ухмылку. — В такой момент, как утверждают специалисты, женщина собой недостаточно владеет... Тогда и стоны, и всхлипы. Но ведь ей хорошо! Не правда ли?

— Зачем же тогда кричать и плакать? — спросила злобно мама.

— От счастья! — воскликнул находчивый Зяма. — От счастья тоже плачут!

— Счастье? — спросила мама. — А вот нас учили, что счастье, это когда по ночам ты не сексом занимаешься, а отдыхаешь, чтобы наутро отдать все силы на благо трудящихся!

Что касается дальнейшей истории этой семьи, о которой позже расскажет всезнающий Зяма, осенью они все трое отбудут в Германию по еврейской квоте и получат весьма достойное жилье в городе Бонне. Но вскоре Марь Иванну разобьет паралич и два молоденьких санитара, обычно это девушка и парень, практиканты мединститута, будут каждый день ее навещать и обслуживать. Несмотря на это, бывший секретарь партийной организации камвольной фабрики в Раменском станет их нести последними словами, обзывая фашиствующими последышами, выродками и тому подобное. Слава Богу, они по-русски ни бум-бум. А любимые стихи Марь Иванны поэта Безыменского, вот какие: «Крыши с красной черепицею, под окошком сад-квадрат, вот она, страна Германия! Ненавистная стократ!» Но при этом вернуться обратно в Россию, чтобы вкусить все прелести советской медицины, она не пожелала. Так ушла в мир иной, испытывая нелюбовь к приютившей ее стране и даже к собственным детям, которые теперь все силы отдавали на ее благо.

Пока ожидали опоздавших посетителей, Зяма сообщил Соколову, что на прием, так, из любопытства, напрашивался помощник БОСа — Дмитрий, не знаю отчества.

— Ему что, тоже душу отвести?

— Думаю, что его интересует настроение ваших подданных. Но ему от вашего имени было отказано. Я объяснил, что королевская беседа с просителем — дело сугубо интимное.

— Но он, правда, не обиделся? — повторил Соколов настороженно.

— Он вообще не обидчив. Но любопытен.

— Это понятно. Он глаза и уши БОСа.

— Не только, Ваше величество!— откликнулся Зяма. — Он сам босс, да какой!

— Что вы имеете в виду?

— А вот что. Ваш Борис Остапович по совместительству, это я вчера полазил по Интернету, не меньше чем советник министра печати. А Дима его исполнитель. Как утверждают, он главный движитель всех идей своего БОСа.

— А какие у него идеи?

— Современные, — сказал усмехаясь Зяма. — Покупка интеллектуальной собственности. Как-то: газеты, радио, телеканалы, издательства... А теперь театры и кино... Это вам не футбольная команда «Челси»! Это уже империя!

Соколов подошел и выглянул за дверь, нет ли ожидающих, которые могли бы услышать их разговор. Плотно прикрыл дверь и спросил негромко:

— А что там еще в вашем... Интернете?

— Да вот на днях он вывез группу ведущих писателей в Париж.

— Ну и что? — нахмурясь спросил Соколов. — Если платит, имеет право.

— Платит-то как раз министерство, не он. А вот писатели сплошь авторы его издательства... Как его там... «Виегра» что ли!

— Я слышал про другое издательство, — осторожно поправил Соколов.

— А у него их много, — тон у Зямы как всегда был чуть развязный, но уверенный. — Так вот, сведущие люди ут-

верждают, что всех ваших классиков БОС скупил на корню. Вместе с их книжками... с проектами...

— Что значит — скупил? — сердито отреагировал Соколов. — Они что? Тоже товар? Я слышал про «живой товар», когда торгуют девочками, вывозя за рубеж.

— И девочки на вывоз, и писатели на вывоз, — скаламбурил Зяма.

— И те и другие продаются? — повторил резко Соколов, не поддерживая легкомысленного тона Зямы, который как бы валял дурака.

— Точней, отдаются. И даже с удовольствием. Но называется это вполне цивильно: ин-те-лле-кту-аль-ный товар. Вы заметили, что этих двух не было несколько дней? Париж... А в планах обозначены Варшава, Рим, потом Китай. Отчего же не подсуетиться! А вам известно, какие лозунги были у рабов Древнего Рима? «Да здравствует феодализм — светлое будущее человечества!»

— А что, там названы фамилии этих... как их... Строителей феодолизма?

— Конечно. Иванов, Петров, Сидоров.

— Может, и Соколов? — спросил он, напрягаясь.

— Нет, — сказал Зяма. — Ни одного Соколова, Ваше величество, там пока нет.

— Пока?

— Но мы и на этом свете «пока», — снова отшутился Зяма.

— Все это вранье! А ваш Интернет — мусорная корзина! — в сердцах бросил Соколов. Но в груди у него защемило, как в минуты большой опасности.

— Вам видней, Ваше величество, — беспечно отвечал Зяма. — Вы с БОСом общались побольше меня.

Соколов не ответил. Он снова подошел к дверям. Там уже толпились люди. — Посидите на скамеечке в саду, — попросил он ожидающих. — Сейчас вас позовут.

Но еще несколько минут молча, пытаясь справиться с собой, ходил по комнате, ловя боковым зрением, как проницательный Зяма за ним наблюдает. А ведь все сходится, и то, что произошло недавно с ним, совпадает с этой странной новостью о покупке на корню других пи-

сателей. Или все эти... Как он назвал: Иванов, Петров Сидоров — тоже (тоже!) создают для него биографическую библию?

Скамеечка возле дома опустела. Соколов встал и открыл окошко, выходящее в парк. Легкие прохладные сумерки копились в гуще зелени, но небо сияло чистой, уже не яркой голубизной, которую как золотая игла проколола первая звездочка. Откуда-то, скорей всего с пристани, донесся звонкий голос колокола — корабельной рынды.

— А знаете ли, Зяма, как в старые времена лили колокола на Руси?

— Даже видел, — отвечал живо тот. — В фильме о Рублеве.

— Да, похоже. А вот один старый человек рассказывал мне, еще в мои студенческие годы, что, оказывается, наши предки лили колокола в монастырском дворе или даже прямо на площади, и всяк мог это наблюдать. И даже участвовать. Как? А над котлом, где кипел металл, возводили деревянный помост, и все желающие, а таких было, оказывается, немало — купцы, мещане, ремесленники, — взойдя на самый верх, на глазах у многочисленных горожан бросали в котел серебряные изделия. Ну, у кого что дома нашлось. У кого-то, кто побогаче, ковш или чаша, а у кого одна монетка. Но в общей сложности серебра набиралось немало. А уж каждому известно, что серебро облагораживает, оно придает колоколу особенное, именно серебристое звучание. И главное, заметьте, это пожертвование не может быть украдено, оно на глазах дарителя и толпы становится частью городского колокола, который будет звонить и для тебя, и для твоих детей и внуков. А теперь еще представьте, летний зеленый городок на исходе дня, какой-нибудь Ростов или Суздаль, и разливающийся в сизоватой дымке неба над крышами вечерний звон... А ты вдруг застынешь среди дел, вслушиваясь, как в музыку небес, и знаешь про себя, что в этом звоне трепещет серебристая пронзительная струйка, которая уж точно твоя!

После всяческих коммунальных разборок, не говоря уже о выродке с предложением взятки, такой вдруг лирический настрой шефа немного удивил Зяму. Но он никогда по своей природе лириком не был. Откуда ему было знать, что пришедшая легкость и душевное спокойствие были следствием разговора о купленных на корню писателях. Тех, что Иванов, Петров, Сидоров... Кто следующий в очереди, чтобы отдаться? Соколов, да? Нужен был этот необычный вечер, чтобы пришло решение, снимающее все болезненные вопросы. Никто, никогда и никакой рукописи от него не получит. И на корню не купит. Такие игры не удавались с ним и прежде, а теперь, когда он идет по самому краю жизни и близок к финалу, тем более. Как шутил по поводу одного трусливого старика-литератора Зяма: он боится подписывать письма в защиту Солженицына, чтобы не испортить себе некролог.

— Я все забываю сказать, — как бы невпопад напомнил Зяма. — Мы приглашены детишками на концерт... Вы помните, что на днях годовщина вашего коронования?

— Да это когда было!

— А они помнят! Помнят и очень вами дорожат. Когда вы болели, они нашли икону и поставили за ваше здоровье свечки. Ваше величество, они молились за вас!

— Зяма, а вы верующий? — вдруг спросил Соколов.

Тот усмехнулся:

— Как у нас говорили, христианин верит в загробную жизнь, а партийный в посмертную реабилитацию. Я, скорей, из вторых.

Но, сообразив, что разговор затеян вовсе не шуточный, добавил, что ни в какие серебряные и иные струйки, кроме одной, зелененькой такой (моча не в счет!), люди сейчас не верят и на помост с драгоценностями не побегут. А если по правде, то их котел, их колокол, где только звон монет, и зовется он «общак»...

— Ваш неудачный взяткодатель... — добавил он, — уж точно, из их числа!

— Теперь и вы... о деньгах. Неужели мы так увязли в них? — со странным вздохом произнес Соколов. Но устыдился собственной слабости и торопливо сказал,

что благодарит своего лорда-канцлера за проделанную сегодня работу и хочет успеть на почту. А вдруг... Это уже про себя. А вдруг... весточка. Ему сегодня, сейчас так нужна поддержка человека, который бы выслушал и понял.

Случилось однажды на Селигере, когда переплыв на другую, подветренную сторону плеса, он увлекся рыбалкой, так вдруг бойко пошла золотая и жирненькая красноперка, что не заметил подступивших сумерек. Пока сматывал удочки, пока тащил застрявшие в иле якоря, и вовсе стемнело. Он погреб наудачу и не смог найти своего берега, кругом, нависая над водой, стеной поднимался черный непроницаемый лес. Он свернул вдоль берега в одну, потом в другую сторону, но никаких привычных огней не обнаружил. Зато слева промелькнуло светлячком чье-то окошко. Это оказался странный, похожий на барак дом, давно заброшенный и, по-видимому, обжитый бомжами да случайной публикой. Во всяком случае, дверей не отворили и в разговор не вступали. Откуда-то из утробы дома неслись пьяные выкрики и песни. Он вышел на дорогу, плотную, грунтовую, опять же лесную, и пошел по ней вправо, рассчитывая, что куда-нибудь она приведет. Лодку бросил у крошечного причальчика. Кому она здесь нужна? Разок мимо него проскочил мотоцикл, но не увидел или не захотел его увидеть, только со свистом просквозил мимо, обдавая горькой пылью. Потом объявился мазик, но этот вдруг остановился. Молодой водитель, подросток, тут же пояснил, что идти ему надо обратно, а рыбачьи домики будут этак километров отсюда пять. Соколов вернулся к лодке, слава Богу, что в рыбачьей сумке обнаружился фонарик, и погреб, и тут же оказался в густых зарослях камыша. Пока выгребал, поломал удочку, порвал снасть, но даже не огорчился, главное было вылезти из этой непролазной чащи. А когда вылез и прикинул, на фоне светлеющего еще неба, камышовая густосплетенная чаща уходила аж куда-то к середине плеса. Из последних сил ворочая веслами, еще волна и ветер, он поплыл вдоль камыша и дважды ухитрился в него попасть, а по-

том, вовсю чертыхаясь, проклиная удачную рыбалку, с треском выламывался, выдергивая из вязкой травы весла, не хватало еще их потерять! И лишь где-то к полуночи, надсадив руки и спину, вдруг оказался на чистой воде, а вдали, сквозь стволы береговых сосен спасительно замерцали огни домиков, какой-то из них был уж точно свой. Друзья, которые, понятно, обкричались, стоя на берегу и не ведая, уж не утонул ли их дружок, встретили его радостным крепким матерком и стаканом водки.

Вспомнил ночное приключение не зря. Не так ли проплутал он эти дни и ночи, выруливая на чистую воду?! И как знать, засел бы навсегда в болоте, если бы не сегодняшний вечер, который оказался для него путеводным огоньком во мраке. Как и прибывшая телеграмма (наконец-то!) от Алены, что на днях приезжает вместо с дочкой, но он не должен беспокоиться, все у них устроено, ей доктора сняли комнатушку, а дочка продолжит лечение в санатории.

Глава девятнадцатая

Сикстинская мадонна

В эту ночь ему приснился цветной сон. Вдруг над его головой появились радужные шары, их было много, и они хороводили под какую-то старинную музыку на старинном инструменте. Кажется, это был клавесин. Да, да, это был, конечно, Моцарт, исполняемый на клавесине. А шарики между тем продолжали свое многоцветное кружение, и один из них, как бы выгнулся изнанкой, переливаясь огнями, и внутри его, в дальней глубине, проявилось едва обозначенное женское лицо. Прекрасное женское лицо, тоже в непрерывном цветном движении, становилось все четче и рельефней и было оно обращено к нему. Вглядываясь, он пытался вспомнить, кому оно принадлежит, но не вспомнил и решил, что это, может быть Алена. Тем более все последние мысли были лишь о ней. А женщина, не произнося вслух ни слова, стала вещать о любви, и он нисколько не удивился, что воспринял ее желания и слова.

Проснулся, впервые после болезни, испытывая необыкновенную свежесть и прилив сил. И то, что в кране нет горячей воды и даже вообще никакой нет воды, его не огорчило. Сияло солнце, и было так по-летнему ярко, так прекрасно, что он прошел до столовой, как по воздуху. Разноцветные радужные шары еще витали над его головой.

А за завтраком шел обычный разговор о той же воде, выяснилось, что воды горячей нет и не будет. Один душ, и на него чуть ли не запись в очередь. Зато на каждом столе стояла вазочка с вареньем.

— Это что же, нам подсластили издержки быта? — поинтересовался весело Соколов. Тема воды его не взволновала.

— Да нет, Ваше величество, — отреагировал Шера. — Тут один чудак варенье из черевишни придумал варить,

между прочим, в тазике... Ну в котором ноги обычно моют. Но у него, конечно, стерильно все. А первую партию он всегда выдает на пробу отдыхающим.

— У него своя кухня?

— Варит киловаттным кипятильником. Пробуйте!

Соколов попробовал. Понравилось. Спросил, обращаясь ко всем, и, конечно, к молчаливо завтракающему Сергею.

— А вот кого из вас купали в тазике?

— В детстве что ли? Всех, наверное, купали, — сказал Шера.

— Да нет, не в детстве. Я вот взрослым купался.

— Как, это?

— А у нас в Братске бани-то никакой не было, а воду, если горячую, приходилось брать прямо из отопительной батареи. И вот, представьте себе, сажусь я в тазик, а жена меня намыливает... Из кружечки поливает... И такая благодать!

— Женщины — странный народ, — это уже Шера, — то свирепеют без причины, а то, на безводье, да с тазиком, а они моют и при этом испытывают счастье... Я это понимаю. А вот скажите, кому приходилось ездить на курорт с любовницей?

Все молчали. Зяма лишь ухмыльнулся, а Сергей потупился.

— Сергей, а вам не приходилось?— настаивал Шера.

Блондин почему-то вызывал у Шеры особое любопытство. Это не было праздным любопытством и тем более какой-то игрой на чужих нервах. Ему хотелось, отчего — он еще сам не знал, как опытному лагернику, если не раскусить, хотя бы попробовать на зуб этого странного человечка, представителя, как выражаются, другого племени.

— Я не имел любовниц, — отвечал Сергей, насупясь. — У меня семья, и я доволен.

— Ну да, ну да... — чуть растерянно повторял Шера. — А я вот ездил. Правда. И представляете... Вот договариваетесь вы с ней в Москве... Она в один вагон, а ты, пока тебя провожают, естественно, садишься в другой. А на ближайшей станции она, как и полагается, переходит к тебе. У нее свой багаж. У тебя свой. Но когда вы доезжаете до курорта, почему-то часть ее вещей, причем самых

интимных, обязательно окажутся в твоем чемодане, вперемешку с сорочками и галстуками.

— Замечательно, только не рассказывайте все это при... — Соколов назвал имя одной литераторши. — Ей ничего нельзя рассказывать. На следующей неделе впишет в свой роман, и мгновенно опубликует.

— Каждую чужую мысль по прошествии трех дней он считал своей! — вставил многознающий Зяма.— Кажется, Эмиль Кроткий. Ваше величество, — обратился он живо к Соколову, блеснув голубым дерзким взглядом, — а как в этом смысле короли? Народ хочет знать!

Соколов не ответил, но смекнул, что о телеграмме от Алены знают уже все отдыхающие.

— Все могут короли... Все могут короли... — промычал из песенки и поспешил откланяться.

Дома он подсел к машинке, с удивлением обнаружив в себе желание что-нибудь написать эдакое. Все равно что. Зря он ругал пишущую машинку. Пребывая на столе, она притягивала к себе внимание, как притягивает оружие, попавшее в руки мужчины, ему непременно надо попробовать, как оно действует. А уж стоит лишь тронуть клавиши старенькой машинки и вывести первое слово — одна мысль цепляется за другую, всплывают какие-то образы, сцены и ты поневоле становишься заложником заправленной страницы, текста, созданного уже не важно для кого. Может, и для себя. Рукопись-то, он лишь сейчас об этом подумал, кроме одного или двух эпизодов, пока в его руках! Только пиши! А то живая память, лишь отвлечешься, ускользнет, как мелодия, лишенная текста, и потом долго будет мучить своей невыявленностью.

Но неправда, что все равно. Разговор за столом возбудил давние воспоминания. О существовании которых он и не подозревал. Может, это и не была любовь. Но ведь тогда все казалось по-другому и приносило массу сомнений и даже страданий.

Где-то он прочел, что любовь — это то, что нам на ушко шепчут наши предки. Понимать это, наверное, надо как бы в переносном, почти биологическом смысле: на-

ступает пора продлить свой род и ты поневоле в кого-то влюбляешься. Но вот какой странный случай произошел с нашим героем, когда он однажды попал на родину отцов, на Смоленщину. Путь его лежал в село Белый Холм, и проезжая по раскисшим проселкам, от деревни к деревне, он искал наиболее проходимую дорогу и в одной из деревень увидел у дома молодую женщину, у которой и решил выспросить, какой дорогой направляться далее. Приблизился, всматриваясь в ее лицо, и ахнул от изумления: красива, темноволоса, чуть с раскосинкой глаза, именно такая снилась ему всю жизнь, да ни разу не встречалась. А женщина, что ж, она все обстоятельно объяснила, но смотрела как бы поверх его головы в поле, кого-то, видать, ждала. Он уж и отъехал, но все выворачивал голову, не мог опомниться, потому что точно знал, что она была его судьбой. Он потом описал отцу встречу с незнакомкой, да он мог с закрытыми глазами узнать, потому что она была его (его) женщина. Отец лишь рукой махнул. «Это из... — он назвал деревню. — Там таких много, порода там такая: черные, раскосые, не знаю уж откуда они взялись, но нашей фамилии очень, говорят, нравились!»

Вот и подумай потом, отчего вдруг влюбляешься, оттого ли, что время молодое пришло, когда можешь по наитию произнести, что ты влюбился, но пока не знаешь в кого, или оттого, что предки через кровь, смогли передать всё, вплоть до образа твоей будущей любви, который они носили и который их потряс задолго до твоего появления.

Надо сказать, что он с детства был необыкновенно влюбчив, и отсутствие взаимности изводило его до боли, до болезни. Но дело, может быть, даже не во взаимности, а в особо обостренном чувстве неуверенности, даже страхе, что тебе могут отказать.

Однажды услышав разговор взрослых на темы чисто мужские, сейчас бы сказали: эротические, а такие разговоры ловятся на лету и особенно западают в душу, он спросил многоопытных мужей, а как люди целуются, им же неудобно в глаза при этом смотреть? Подобный наив,

понятное дело, вызвал громкий жеребячий смех, который надолго отвадил от таких вопросов. Но со временем становилось понятнее, что чужой опыт в любовных делах не подмога, а скорей помеха, ибо дает чужое и искаженное представление о многом, о чем нужно догадываться, но не надо до поры знать.

Жила в подмосковном поселке молодая женщина двадцати двух лет по имени Муся. Так все кругом ее называли — Муся, и так называл ее наш герой. Безмужняя, с ребенком, прекрасна как Сикстинская мадонна. Без преувеличения, она, и правда, была невероятно похожа на Сикстинскую мадонну, которую он увидел в журнале «Огонек». Он даже ахнул, когда это понял, а знаменитую картину вскоре демонстрировали в Москве, перед тем как вернуть в отреставрированном виде в Дрезденскую галерею. Ее, запомнилось, охраняли два милиционера, такая она была ценная, и чтобы ее увидеть, ну там и другие еще картины, надо было отстоять в очереди целую ночь.

Но сама Муся, повторимся, о том, что так разительно внешне похожа на мадонну, да еще с ребенком на руках, об этом не знала, и окружающие ее люди никогда картины этой не видали, значит, не могли ей открыть секрет ее красоты, и может быть поэтому она нисколько не выпендривалась, была мила и все звала к себе в гости.

Потом она переехала в Москву, в рабочий поселок Раменки, кажется, она работала на строительстве высотного здания МГУ, и опять позвала нашего героя в гости, и он осмелился приехать, хотя ехать было от Люберец довольно далеко: сперва на автобусе, потом на электричке, потом на метро и снова на автобусе... Она встретила его обрадованно, и в такой момент еще больше напомнила ему мадонну, хотя одета была в домашний халатик, а это, кто знает, особенно располагает к интиму. Кажется, в этот вечер она его не ждала, но он видел, как она обрадовалась, как засветилась вся, прямо, как на той картине. Но был он так неумел и так заторможен, а она так молода, что от растерянности не знала, как его приблизить. Сперва она кормила кашей ребенка, пыталась угощать и гостя,

потом уложила ребенка спать и даже притушила свет, но и тут он не догадался, что свет притушен для него. Но правду же говорят: женский ум быстрее многих мужских дум. Муся придумала вот что: она сказала, что будет развешивать на веранде белье и велела гостю ходить рядом и подавать ей прищепки. Теперь ее лицо было рядом, и он слышал, как сильно она дышит. Но лишь топтался около нее, произносил какие-то необязательные слова, которые ни ей, ни ему, если по правде, не были нужны.

Ах как бы хотелось вернуть эти мгновения, когда он брел за ней, почти натыкаясь на ее спину, и ее тонкая белая шея, о которой он столько мечтал (лишь бы губами прикоснуться), была на уровне его губ, и он почти подбородком утыкался в нее и видел, ощущал, как она замирала, ощущая его спиной... Она конечно ждала его рук. Ждала!

Потом она повесила последнюю пеленку, зажгла со вздохом свет и уже ровно, почти по-матерински произнесла, что пора ему домой, а ей надо ложиться спать, завтра на работу. И он, проклиная себя, уехал, зная уже наверняка, что больше не будет у них вместе вечера, с полумраком, с бельем и прищепками, когда охватывает особое предощущение мгновенной близости, которая вот-вот произойдет.

Не так давно попалась ему ученая книжка, где было и про любовь, которая якобы возникает в первые десять секунд знакомства, хотя человек может этого сразу и не осознать. Но далее все сводилось к элементарной механике отношений, к сексу, который есть не что иное, как соотношение между головой, сердцем и... ни в жизнь не догадаетесь — животом! И поговорка к месту: скажи мне, как ты ешь, и я скажу, как ты любишь. А далее еще другие поговорки, такие например: занимайтесь любовью а не войной! И советы, как и что есть, чтобы лучше любить. Вот рыба влияет на секс, еще сельдерей, трюфеля, так как они сильно улучшают кровообращение в области таза.

Ученые мужи, не все, конечно, опошлили имя Бога, попытавшись изучать его с помощью ДНК (Библия якобы зашифрованная в крови человека). Ну, а любовь — с

помощью этой самой области таза. На самом же деле, пусть это звучит старомодно, но в любви, как вере в Провидение, должна быть и есть тайна, которую можно ощутить как гармонию, как музыку, даже передать нотами, но вряд ли можно и нужно переводить на язык алгебры и геометрии. Никакой сельдерей и трюфеля тут не помогут. Не случайно говорят: любовь — это Бог.

Директор пансионата предоставил Соколову желтый рафик. С тремя красными розами в руках, которые, по его просьбе, срезала соседка-старуха, проживающая у рынка (таких роз во всем поселке больше ни у кого не было), он топтался чуть ли не единственный из встречающих на перроне, приехав за час до появления поезда. Узрел их сразу, маму и дочку в белых дешевеньких летних платьицах, растерянно взирающих на скромный вокзальчик. Вдруг подумалось, что видел-то он Алену только из положения лежа, а она была вовсе небольшого росточка и худей, чем ему тогда казалось. А здесь перед ним предстали две девочки, ужасно похожие друг на друга: голубоглазые, светленькие и обе так похоже ему улыбались. Алена с немым напряжением, даже с вызовом, а девочка открыто и радостно. Она первой шагнула, угадав его, и вдруг со счастливым восторгом повисла у него на шее, произнеся... Он эти слова будет помнить до конца жизни: «Здравствуй, Мармелажка, мы тебя так любим!»

Глава двадцатая

Катя

Домик, где поселили Алену с дочкой, располагался на краю поселочка. Он был небольшой, глинобитный, но аккуратно выбеленный, с домотканными ковриками в прихожей, голубыми ставенками и крошечным палисадом, где цвели золотые подсолнухи. Хозяйка, полноватая, средних лет, работала, как выяснилось, в детском санатории. Она проводила гостей в светлицу с пышной постелью и небольшим иконостасом под зеркалом, в красном углу, при этом исподволь рассматривала спутника Алены. Судя по всему, он ей, как говорят, пришелся: представительный, седоватый, старомодный, значит, пьянствовать не будет, шуметь тоже. Денег за постой авансом хозяйка не взяла и попросила лишь об одном: не курить в доме. Алена, воспользовавшись свободным рафиком, уехала в район оформлять медицинские документы на дочку, а Соколов остался с девочкой вдвоем.

— Тебя тут все называют Мармелажкой, правда? — спросила девочка задирая голову. — Ты разрешишь, я тебя буду так называть?

— Разрешаю,— серьезно отвечал Соколов. — А ты разрешишь называть тебя Катюней?

— Почему Катюней?

— А у меня дочка, я ее так называю.

— Небось, большая?

— Да. Она студентка.

— В Москве?

— Нет, нет. Она в отъезде. Но весной она была в Москве на Венском балу... Ты слышала про Венский бал? Нет? Ну я тебе расскажу. Туда по конкурсу отбирают самых-самых красавиц семнадцати лет. Сто красавиц на балу, и среди них, представь, моя Катюня!

Тут взор рассказчика затуманился, как бывало, когда разговор заходил о Катюне. В воображении возник огром-

ный, блистающий огнями зал Гостиного двора, венский оркестр на возвышении под управлением дирижера, чем-то внешне напоминающего знаменитого Штрауса, и в какое-то волшебное мгновение все это празднично сверкающее пространство заполнилось танцующими парами, полонез... Белый и черный жемчуг, нанизанный на единую мелодию. Пары, чуть колыхаясь, как цветы от ветерка, прошли и замерли перед началом главного танца. Такое вот было начало, а потом скрипки грянули Большой вальс, и мы с ней танцевали. Как мы с ней танцевали! Боже мой!

— Вальс?

— Да, да. Вальс! Вальс! Мы танцевали под вальс Штрауса, воскликнул возбужденный Соколов. — В моем детстве был такой фильм, его мало кто помнит, где молодой композитор, этакий красавчик, напомаженный и с щегольскими усиками, пригласил свою возлюбленную прокатиться по венскому лесу. Было сверкающее утро, цокали лошади, звучал рожок возницы, свиристели птахи. И под эту пронизывающую, наполненную радостью любви мелодию утра, родился великий вальс. Его так и назвали: «Сказки венского леса».

— Знаешь, Мармелажка, мне ведь нельзя танцевать, — сказала грустно девочка. — А я так люблю танцевать.

— Почему нельзя?

— Нельзя. И купаться тоже нельзя. И в прыгалки... И в скакалки...

— А что можно? — спросил, нахмурясь, Соколов.

— Не знаю, — растерянно протянула девочка. — Мама говорит — нельзя.

— Ну, море ладно. А вот вальс... Вальс мы с тобой будем танцевать!

— Да что вы на огороде-то засиделись? — спросила, выходя из дома, хозяйка. Вы бы дитё на море что ли бы сводили? Небось, ребенок и моря-то не успел посмотреть!

Но он и сам спохватился, предложил девочке пойти на море. Там красиво.

Так и сделали. По пути завернули к холмику, где захоронили Мишку, но рассказывать Кате неприятную историю с отравлением Соколов не стал. Вместо этого упомя-

нул одного из отдыхающих, который съел в молодости, так уж случилось, собачку. Он хотел развлечь девочку смешной историей, но Катя приняла ее всерьез.

— Живую и... съел? — поразилась она.

— Но это было давно, а он тяжело болел.

— Ну и что? Она-то была жи-ва-я? Да?

— Ну, я подробностей не знаю, знаю лишь, что жена сделала для него целебный отвар. Там и столетник, и какао, сало, еще что-то... Нужно было обязательно собачье сало. А во дворе бегала кругленькая такая собачка, вот жена ее и подкармливала... А потом собачка исчезла, а отвар был сварен, и наш дядя выздоровел.

— А собачка?

— Жена через несколько лет ему рассказала про собачку, он и сам не поверил. Он съел нечаянно.

— За нечаянно бьют отчаянно! — неожиданно сурово среагировала девочка.

История поразила ее. Она до самого берега моря промолчала и даже не выразила восторга от встречи с ним, сегодня немного шумноватым, в белых гребешках до горизонта.

Катя босиком прошлепала по наползающей на песок воде, стараясь не глядеть в сторону купавшихся невдалеке ребят, потом присела на гальку. Глаза ее еще больше поголубели.

— Послушай, Мармелажка, — она обратилась к нему так, будто знала его тыщу лет, — мама говорит, что в больнице ты шел по краю. А что такое край?

Соколов задумался. Он все последние годы мысленно и даже вслух беседовал со своей Катюней, но таких вопросов она не задавала. Да и что он мог ответить.

— Вот, — он указал на берег, — суша, твердь. А дальше бесконечность. А ты идешь по краю. Или останешься, или утечешь...

Он нарочно выбрал нейтральное слово «утечешь», чтобы не напрягать ребенка.

— Это как уплыть? А там же должен быть другой берег?

— Говорят, да. Но тот, кто его достиг, никогда не вернется и никому об этом не расскажет.

Неожиданно пришли давно читаемые стихи Блока:

Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю.
О всех кораблях, ушедших в море.
О всех, забывших радость свою...

— Они тоже не вернутся, — спросила, напрягаясь, Катя. — Они утекли?

— Да. Там еще такие слова: «причастный Тайнам плакал ребенок, о том, что никто не придет назад...» Ребенок, ты поняла? Маленький Христос!

— Значит, навсегда?

— Навсегда.

— Но я бы тогда тебя не встретила? — произнесла она уж слишком не по-детски, строго сведя белесые бровки.

— Но мы же встретились, — отвечал он нарочито бодро, желая поскорей уйти от тяжкой темы. — Вот пойдем к моему камню, я покажу, где я тебя всегда ждал.

— И я пришла. Правда, мы будем вместе, да? А мама не верит.

— Вот как.

— Она добрая, ты не думай, — сказала девочка. — Но упертая. А вообще, мы в последнее время все о тебе говорили. И она, знаешь, что сказала? Что тебе без нас нельзя, потому что ты ведешь себя, как ребенок, а сам идешь по краю. Она как увидела тебя первый раз, особенно твои глаза, так и поняла.

— Что она поняла?

— Ну что, что! Что ты как ребенок и тебе одному нельзя. А сейчас у тебя глаза оживели. Хотя ты очень смелый человек и ничего не боишься.

— Чепуха, — буркнул Соколов, отворачиваясь. — Все боятся. Хотя... Вот когда я шел по краю, как ты сказала, я, и правда, ничего уже не боялся. Да что я видел впереди? Диета, куча лекарств и донашивание старой одежды, потому что на новую нет денег, да она и не нужна?

— Мама так и сказала, что ты не хотел жить. Да?

— Знаешь... Не детский разговор. Вот сейчас, честное слово... Я очень хочу жить.— И мысленно добавил: — Потому что ты вернулась.

Не пришла. Не появилась. А именно так: вернулась. И он хочет жить. Алена это первой поняла. Но понять одно, а сделать так, чтобы глаза оживели, совсем другое. Он и сам про себя догадывался, что жил как слепой, ничего вокруг не видел, внутрь себя смотрел. А там одна чернота. Край. За который вовсе не страшно было шагнуть. Утечь в вечность. В небытие.

— Ах, Катюня... Катюня...— как бы вновь ее увидел.

— Ах, Мармелажка, Мармелажка! — почти в тон ему, но с каким-то особенным чувством произнесла она, и они рассмеялись.— Знаешь что, — предложила девочка, заглядывая ему в лицо, — пусть наш танец на Венском балу будет секретом от мамы... Лады?

— Пусть. Но танцевать с тобой мы будем. Я тебе обещаю.

Потом они обедали за их столом на веранде, и несведущие отдыхающие спрашивали: «А это ваша внучка приехала?» — на что он, не обижаясь, с удовольствием отвечал, что это приехала его Катюня. Зато многоречивый Зяма веселил их всякими байками, рассказав про мышку и слона. «Почему ты такая маленькая? — спросил слон.— Ты, наверное, мало ешь. Вот я хорошо ем, и видишь какой вырос». На что мышка со вздохом отвечала: «А я долго болела».

Шера сбегал и принес из номера в подарок свою толстую и цветную книжку сказок. И даже обычно молчаливый Сергей прочел ей забавные стишки про короля, начинались они так: «Король, его величество, просил ее величество, чтобы ее величество спросила у молочницы: нельзя ль доставить масла на завтрак королю...» Ну, придворная молочница была, как все мы, ленива и отвечала нехотя, что надо попросить об этом корову. Ленивая корова ответила спросонок, довольно снисходительно: «Скажите их величествам, что нынче очень многие, двухногие-безрогие, предпочитают пастилу, а так же мармелад...» А уж тут наш король не на шутку рассердился. И вот что он сказал:

«Никто, никто — сказал он, и вылез из кровати.
Никто, никто — сказал он, ступая вниз в халате.
Никто, никто — сказал он, намылив руки мылом.
Никто, никто — сказал он, съезжая по перилам.
Никто, никто не скажет, будто я тиран и сумасброд,
За то, что к чаю я люблю хороший бутерброд!»

— Браво коллега, — вскричал Шера. — Вы и Алана Александра Милна знаете?! Да еще в переводе Маршака!

Сергей лишь хмыкнул:

— И даже Гарри Потера.

— И даже мою жизнь, — добавил Соколов.

Сергей промолчал, уставясь в тарелку. А Соколов не стал напоминать о недавнем разговоре, который сейчас уже не имел никакого значения. Но тогда он, и правда разнервничался, когда спросил:

— Сергей, а что вы сейчас пишете?

Он вспомнил, что БОС что-то говорил о работе с Сергеем.

— Ну... сериал...

— Это понятно. О чем?

— Об одном человеке.

— Не о БОСе случайно?

— Да. О нем.

— А что вы пишите? Вы его жизнь знаете?

— Конечно.

— И что же там?

— Ну, детдом... Ремеслуха... Сибирь...

— Но, подождите... Это же моя биография.

— Может и ваша. Мне-то какое дело. Мне ее заказали, я и пишу.

— А вам давно заказали сценарий?

— Нет. Недавно.

— И договор? И деньги?

— Конечно. Еще какие!

— Какие?

— Не скажу. Да вы же цивилизованный человек, сами знаете, что об этом не принято задавать вопросы.

— Ладно. А из этой биографии что-то можно сделать? — осторожно спросил Соколов.

— Бульон жидковат...— сознался Сергей. — Но наш брат и из топора сварит суп, если надо!

— Ну, а что там живого-то?

— Кое-что есть... О матери, например... Это впечатляет.

«Значит страничка моя уже здесь», — так Соколову подумалось.

— Или вот трагический случай, когда девочка под машину попала...

— Какая... девочка? — Соколов побледнел от неожиданности. Но справился с собой. Застольник, ничего не заметив (он и разговаривал, опустив обычно глаза к блюду), стал пересказывать историю с машиной. Немного неточно, но все равно.

Соколов потом задаст вопрос и Диме. Он спросит:

— А про девочку... Разве я вам написал?

— Ну все и так знают. А если вы еще с вашим талантом напишите... Будет здорово! Я вас уверяю. Читатели будут рыдать и плакать!

— Но я не напишу! И я, вообще, запрещаю... Понимаете... Запрещаю трогать мою дочку! — вспылил Соколов. Кажется первый и последний раз.

— Это ваше право, — скажет Дима. — Но кто вам сказал, что это про вашу дочку? Мало ли детей попадает под машину?

— Уж очень похоже...

— Ну, дорожные трагедии все похожи. Вот у нас один сценарист утром за газетой вышел... И улица была пустынной, а какая-то шальная машина из-за угла, и только черепушка полетела! А от машины и следа не нашли.

Соколов промолчал. Отдал палец, теперь они могут и всю руку отхватить. И будут правы.

А вечером появилась мама, довольная, что все формальности удалось завершить за один день, и Катька будет лечиться в санатории, сама она будет подрабатывать сменной медсестрой. «Сейчас дочку направят в изолятор, — сказала она, — а потом мы ее будем навещать».

— Мы это и без тебя решили, — заявила девочка.

— Ага, я так и думала. Уже сговорились, — немного ревниво отреагировала мама. — Я могу узнать ваши секреты?

— Потом, — пообещала девочка.— А я надолго расстаюсь с Мармелажкой?

— Ненадолго, — сказала мама. И добавила: — И я ненадолго. У нас тоже есть о чем посекретничать.

— Нет, нет, дорогой Мармелажка, — произнесла она, заглядывая просительно ему в глаза. — Сегодня не останусь. Сегодня я буду тосковать о Катьке. Она-то там одна. Нет, вас теперь у меня двое. А вот завтра... Завтра у меня день свободный от дежурства и с утра зайду.

С тем и ушла. Даже не просила проводить.

В семь утра она постучалась в его номер, в белом пуховике, слишком теплом, как ему показалось, для летней погоды, и пестреньким рюкзачком за спиной. Прямо от дверей коротко сообщила, что они едут в горы и он должен одеться потеплей. Автобус пойдет через полчаса.

— Куда? Если не секрет?

— Узнаешь. Тебе понравится.

Всю дорогу она молчала, отвернувшись к окну, реликт ночных переживаний о своем детеныше. То, что до поры ее спутнику не дано было знать. Это он узнает позже.

Неподалеку от какой-то фермы, среди виноградников вышли и по узкой скалистой тропке дотопали до горного ручья, бурлящего среди валунов. Алена по-хозяйски на плоском камне расстелила цветную (красное шитье по белому), салфетку, достала бутерброды с сыром и колбасой, два яблока, а под занавес извлекла из рюкзачка бутылку шампанского.

— Это, — произнесла тоном хозяйки, — в холодильник,— и указала на ручей. — Пить будем, как говорят, из горла.

И впервые улыбнулась.

— Мармелажка, — обратилась почему-то шепотом.— Пожалей меня... Пожалуйста...

— Да я уж забыл, что это такое.

— Жалеть — это любить. Об этом у Даля. Я тебя привела сюда не случайно. Здесь возникла моя кровинка... Моя Катька.

— Тебе нужны такие воспоминания? — насупясь, спросил Соколов.

— Нет. Все смыло водой. Я хочу, чтобы тут возник ты. У тебя же на берегу свой камень? Да? А у меня свой ручей. У меня душа остыла за эти годы. Как там в песенке... «Все что было, сердцу мило, все давным-давно уплыло».

— Тогда разреши спросить?

— Не разрешаю, — резко произнесла Алена. Она сразу догадалась, о чем пойдет речь.

— Но я должен знать свой срок... На сколько мы с тобой... — он добавил, поколебавшись, — дней, месяцев... можем рассчитывать?

— Это знает один Господь. Я все время думала, видя, как тебя режут, полосуют, перекраивают... А ты такой отстраненный, будто это не с тобой происходит. Тебе, правда, было все равно?

— Мне было все равно. Но ведь это не только в больнице, и в жизни — приступает усталость, и думаешь: ах, да гори все синим пламенем! А тут еще усталость от капельниц, от больничных голых стен, от врачей... От очень долгой зимы. Да и сказано в Библии: «У Господа тысяча лет, как один день, а один день, как тысяча лет». Я свою тысячу прожил...

В мучительных попытках осмыслить явление смерти пребывает каждый, кому Господь подарил жизнь. Счастливы животные, у них этой проблемы нет. И правда, что это: чернота, пустота, вечность... Или, как в шутливой форме определил некто: долгий сон в неудобной позе. В болгарском монастыре Велико-Тырново висит старинная икона, изображающая жизненный круг и человека, который проходит этот круг, от младенца до старика. Значит, проделав путь, человек возвращается в первичное, то есть нулевое состояние. Из ничего в ничего. Мгновение, искра, проблеск между двумя бесконечностями. Один мальчик

выразился так: когда меня не было, тогда ничего не было. В общем-то, он прав. Смерть — это вовсе не тьма. А это — ничего. О душе не могу знать, потому не говорю. Но первый шаг младенца, как сказано где-то, это первый шаг к смерти.

— А ты не находишь, что тут как-то все странно совпало, — спросил он. — Все началось на Рождество, когда мы прощались с двадцатым?

— Это тоже смыло, — голос Алены прозвучал непререкаемо.— Лучше принеси напиток из ручья, он теперь ледяной и будет ломить зубы. Но мы выпьем за то, что мы для нас с тобой возникли надолго. Хочется думать, навсегда.

Глава двадцатая первая

Палач

На второй день Рождества повернуло к теплу, стало пасмурно и сыро. Русские песцово-серебристые некогда зимы совсем загнили, стали напоминать Европу. Но если в Москве уже совершенно грязно-снежная каша у обочин, брызги и бессезонье, здесь, за городом, каким-то чудом, уцепившись за еловые ветки, держится из последних сил зима, и если мокро, то лишь на дорожках, а лес нетронутый в пуховом одеянии снега. Когда-то в молодости я написал в стихах: «Южный ветер... хорошо, что бывает этот самый ветер, если бы дул все время северный, было бы холодно жить на свете...» Но сейчас брожу и прошу, прошу ветерка посеверней, поледеней.

Я еще не уезжаю, еще двое суток, но меня попросили назвать свой электронный адрес, чтобы общаться по поводу течения болезни. Сказал,что такового не имею.

— А как же вы переписываетесь? Неужто почтой?

— Да. Почтой. Но, конечно, не голубиной.

— Но к Интернету вы, конечно, подключены?

— Тоже нет.

Лечащий врач в недоумении, сегодня все, и он, разумеется, подключены к интернету, электронной почте и у всех «мобильный», который сейчас можно назвать «народным» телефоном: каждый школьник его имеет. А я подключен к их очень современной, и конечно же, суперэлектронной машине, которая как эхолот изучает мои глубины. Слава Богу, не души, а тела.

— Вы что же, вообще новации в технике не признаете? — интересуется, но довольно равнодушно, врач.

— Ну почему же, вот, работаю на компьютере. Это удобно. Да если честно, моя бывшая профессия именно электроника, на заре реактивной авиации мы разрабатывали радиолокационные установки, телеметрию, и мне

приходилось участвовать в создании, а потом обслуживании радиокомплекса: «Свой—Чужой». Это когда самолеты должны опознать своих, чтобы не расстрелять друг друга по ошибке. Но это все рассказывать длинно и скучно, да и кого интересует мое прошлое. От ответа остается: «Ну почему же...»

— Так вы разочаровались?

— Нет, нет, — громко опровергаю подозрение. — Я даже очарован.

Случилось мне побывать на Кавказе, в горах, там проводилась международная конференция по Чечне, жена сунула мне в сумку свой мобильный телефон вместе с бумажкой, как им пользоваться. «Будет время, позвони». — «Но разве оттуда достанет?» — «Не знаю, проверим», — сказала она. И в какой-то вечер, в дальнем монастыре, куда нас долго везли по витой и узкой дороге все вверх и вверх, в одинокой и холодноватой келье, коротал я время, ужасаясь, куда меня занесло... Потом-то наутро разглядел окрестности и подивился первым весенним цветам, высыпавшим на бугорке, жена называла их почему-то фиалетики, и синим лесным горам, уходящим за горизонт, и одинокому каменному склепу, где пребывал святой, который и положил начало монастырю.

Но в тот долгий и одинокий вечер — решетки на окошечке в ладонь, железная, почти солдатская койка да тумбочка — вся мебель, я извлек тот мобильник, напоминавший пульт от телевизора, изучил инструкцию, благо времени хватало, набрал номер и после некоторых мелодичных позывных вдруг услышал голос дочки и жены. Я попал в свой дом, и был потрясен. Но вовсе не из-за техники, я был начитан про ее чудеса, и частью сам ими пользовался. Да и повествуя во время лекций, которые мне пришлось читать в армии, про всякие там мегатроны и позитроны, правда, это было давно, я мог представить, хоть и не в полной мере, какие новации несет нам радио. Оттого между прочим и пошел учиться на радиста. Но это все как бы вообще. А голоса дочки и жены в келье, в отдаленном монастыре, где все кругом от каменных стен и крошечных монашеских келий было, как тысячу лет назад, оказались для меня истинным потрясением.

Я вдруг осознал, что на исходе моей жизни мир обрел прочную надежную связь, и люди, могущие откуда бы ни было сказать: «Добрый вечер, я вас *так* люблю, и мне вас *так* не хватает», — уже не очень в этом мире одиноки. Но, конечно, с условием, что эти слова будет кому произносить, ибо техника способна и выхолостить чувства.

А вообще это глупость, бред, что труд создал человека. Если он и трудился, сбивая палкой плоды с дерева, то лишь затем, чтобы не подохнуть с голоду. Но это может делать и животное. Человек — это интеллект, а значит, человека создала напряженная *внутренняя* работа, а не внешняя. Вот когда он оторвался от своей палки и, стоя под банановым деревом, впервые оглянулся, и поразился красоте природы, яркости зелени, многоцветью бабочек или колибри, блеску звезд — он и прозрел для будущей жизни. В «Мыслителе» Родена запечатлен, если хотите, этот самый момент: впервые оторвавшись от тяжкого занятия сбережения себя от опасности и голода, от вопроса, как выжить, первочеловек присел на пенек и вдруг задумался о смысле бытия. Вот где надо искать наше начало.

Довелось оказаться тоже далеко от дома с одним известным адвокатом, который что ни час звонил домой по своему мобильнику и каждый раз пересказывал, сколько чашек кофе он выпил и что видит за окном. Это ли связь, которую жаждет душа!

В литературном институте, где преподаю, одна милая студентка, глазастенькая такая, даже стеснительная, представила небольшую повесть, написанную, по-видимому, по личным наблюдениям; в ней молодая героиня живет в интернете днями, месяцами, а может и годами, хотя в ее возрасте, двадцать лет, год это многовато. В интернете она находит и даже коллекционирует женихов, в интернете ведет интимную переписку, исповедуется... На улицу героиня повести выходит со страхом, ибо мир этот кажется ей условным, а реальным — лишь тот самый интернет, от которого она оторвалась... Выходит, чтобы пробежать пугающей ее улицей и заплатить в кассе деньги за дальнейшее пребывание в том же интернете.

Жизнь коротка. Но можно черпать ее горстями, гуляя в сосновом бору, слушая птиц, или молчание деревьев, или хрупкий скрип свежего снежка под ногами, а по пути здороваться с кошкой, которая мне все время попадается здесь на пути, сидящей на железном круге теплого колодца.

Кто-то подсчитал: что человеку отпущено в жизни около тридцати тысяч дней, из расчета, что проживет до восьмидесяти. А сколько закатов и восходов он успевает увидеть и насладиться? А сколько книг прочесть? Если от рождения до смерти будем мы читать в неделю по книге, достанется нам всего-то пять тысяч книг. Пять тысяч, из миллиона шедевров, созданных для нас человечеством. Вспомнил: при обсуждении названной повести на творческом семинаре, как-то само собой выяснилось, что более половины моих студентов, будущих писателей, не просто увлечены интернетом, они днями пребывают там, отсылая туда свои сочинения, отыскивая друзей и черпая оттуда какие-то, только понятные им темы, стихи или заумные измышления доморощенных философов. Некоторые там и подрабатывают, создавая интернетовские программы, сочиняя с продолжением детективы, или рекламируя фирменный товар. Я не могу их осуждать, они уж точно принадлежат двадцать первому веку, их мир другой. Но какой? Неужели заэкранный, придуманный, искусственный, как бумажный цветок, лишенный живого общения? Натуральных чувств? И как они могут оторвать взгляд от земли и обозреть и оценить красоты этого мира, если погружены в непрерывные разговоры по мобильнику?! Даже когда в постели с женой!

А может у меня такая резкая реакция на всю эту технику лишь потому, что сегодня через УЗИ она мне открыла нежелаемое?

В то время как лежал на белой кушетке, задрав лицо, а по моей коже ползали каким-то датчиком, в голову лезли странные мысли про УЗИ. Что такое УЗИ? Может оттого, что во мне что-то сУЗИлось? Что же там сузилось, и почему так громко при включении звука шумит, пульсирует моя

кровь? Я никогда не любил быстрых потоков, я за спокойное течение во всем. А тут чуть ли не со свистом, с дробным звуком, она, то есть моя кровь, бежит и бежит, шумит и шумит. И вслед за словами доктора, диктующего медсестре слово: дифракция... Кстати, а что такое дифракция? Дистанцию, знаю. И дистрофию знаю. Дислокацию тоже. Даже диссимиляцию... Что есть разрушение сходства. Только чего с чем? И еще какие-то странные мысли о мыслях, которые ведь нечто иное, как тоже последствия каких-то бегущих по нервам нейронов, или, как они там...

Однажды мой дружок из Иркутска Юра Самсонов, длинный, худой, я таких называл членистоногими, детский писатель-сказочник с каким-то непривычным, нестандартным мышлением, вдруг сообщил мне, наклоняясь, как великую тайну: «Я открыл главный физический закон, который правит мирозданием». «Какой же?» — спросил я не без интереса, предчувствуя какой-нибудь парадоксальный ответ.— «Это — магнит», — произнес он торжественно и громко. «Магнит? Какой магнит?» — «Вообще магнит. Все, все держится на магнетизме: планеты, системы, земля, техника, причем, любая...» «И человек?» — спросил почему-то я. «Да, и человек, потому что он тоже магнит, и мозг его магнит! Мы потому и тянемся друг к другу, что мы — магниты!»

— Ну, положим, я тянусь к тебе вовсе не поэтому, — хотел сказать. — А потому, что занятный человек, и сказки твои занятные. — Но не сказал. Магнит, так магнит, а вдруг он прав, и это еще одно прозвание Всевышнего!

Скорей всего, та пластиковая штуковина, датчик или передатчик, который ползает по мне, скребет кожу, проникая внутрь моих сосудов, о которых я никогда не подозревал, иногда застывая или начиная суетиться (а кровь в аппарате вдруг ш-ш-у, ш-ш-у), тоже, наверное, магнит или посланник магнита, и он меня очень даже намагничивает на всякие странные мысли, которые мне, в общем-то, не нужны.

«Зачем мне Интернет, — вот что нужно сказать лечащему врачу. — Я не успеваю побыть с самим собой. А информация и без того захлестывает, утонуть можно. Накры-

вает как волна с головой, не успеешь утром проснуться. И при этом еще тратить золотое (нет, не золотое и не бриллиантовое, оно дороже всего что есть на свете) время, копаясь в интернете, который напоминает мне со стороны мусорную кучу, свалку, чердак, куда человечество сбрасывает все, что у него залежалось. В надежде найти жемчужное зерно стоит ли тратить драгоценную жизнь на разборку всей этой кучи?»

Однажды, дело было в Переделкине, приехала к одному литературоведу дочка из Саратова, он с ней прогуливался по аллеям и поздоровался со мной, а вечером, когда дочь уехала, а мы сидели, ужинали в столовой, со смехом сообщил мне, что он назвал там, на аллее, мое имя, на что дочка простодушно воскликнула: «А разве он еще живой?!»

Я, конечно не то чтобы огорчился, нет, я даже посмеялся. А настроение почему-то упало. Но уже после подумалось: а ведь это правда, что для нынешних ребятишек, в сущности, мы почти ископаемые ящеры, реликт ушедшего века, в котором, не важно теперь когда, успели побывать даже Толстой с Чеховым... Но если так, то возможно и наши проблемы и наши чувства устарели вместе с нами? И чувство любви к своим ближним, к обожаемым нами женщинам, к детям способна заменить, как той героине из повести, некая виртуальная любовь через интернет?

Но вот уж уходящий, но еще не ушедший знаменитый писатель, обнаружив рак легких, в прощальном письме, написанном на исходе века, и обращенном ко всем своим друзьям, а я так понимаю, друзьям его книг, сообщил, что если бы Господь даровал ему еще немного жизни, он бы меньше спал и... «заковал бы свою ненависть в лед и ждал, когда покажется солнце... Боже мой, если у меня было немного жизни, — далее писал он, — ...я не пропустил бы дня, чтобы говорить любимым людям, что я их люблю. Я убеждал бы каждую женщину и каждого мужчину, что они мои возлюбленные, я бы жил в любви с любовью. Я бы доказал людям, насколько они не правы, думая, что стареют, и перестают влюбляться, напротив, они стареют, потому, что перестают влюбляться!»

Любовь, вот для чего, утверждает писатель, живет человек. Не для счастья, как птица для полета, он создан, и не только для страдания, хотя страдания просветляют и облагораживают душу, и даже помогают сильней и больше любить.

И если бы я был Юркой Самсоновым, сказочником, я бы однажды вслед за колумбийским другом, почитая за счастье, за везение жить и быть его современником, однажды, наклонясь к девочке-студентке, не отрывающей прекрасных глаз от экрана компьютера с подключенным туда интернетом, произнес бы шепотом, что я открыл главный закон, который правит миром... И еще бы тише, почти на ушко, прикрытое завитком золотых шелковистых волос, трогая их губами, произнес бы: любовь, любовь, любовь.

Но что еще говорил писатель уже о ненависти, которую он заковал бы в лед?

У детей санатория своя, никак практически не связанная с пансионатом жизнь, но имя Мармелажка и, правда, для них наполнено особым смыслом. Чтобы при смене поколений ничто не забылось, еще первые самые, те, с кем он впервые лизал сахарный фундамент, сочинили о его деяниях СКАЗКУ. И каждый год, летом, в день коронации, этот спектакль шел на открытом воздухе, на фоне блистающего моря. Артисты, конечно, меняются, но и в этом есть смысл.

И на следующий день за завтраком к Соколову подходили знакомые с соседних столов и все с одним вопросом, пойдет ли он на сказку.

— А она еще существует?

— Конечно. И они вас ждут, — напомнил Зяма.— Ваши карамельки будут счастливы!

— Почему карамельки?

— Ну, так их называют жители. Да дети и сами привыкли.

У парадных ворот, от которых начиналась, как было обозначено: «АЛЛЕЯ ДОБРЫХ КОРОЛЕЙ», гостей встречали врачи и дети. Поверх надписи: «У нас не курят и не спрашивают о здоровье» неровными буквами было выведено:

ДОРОГОЙ МАРМЕЛАЖКА, МЫ ТЕБЯ ЗАЖДАЛИСЬ!

С обочины и балконов под ноги гостям полетели цветы. Играла музыка. Но растерялся по-настоящему Соколов, наткнувшись через несколько шагов еще на одну надпись. На фанерной дощечке было написано: «Аллея Григория Котошихина».

У него от неожиданности даже онемело внутри. Не поверив своим глазам, он еще раз перечел, уж очень все показалось ему нереальным.

— Зяма... Это что? — голос его дрогнул.

— Что — что?

— А вот. — Аллея!

— Ко-то-ши-хин, — прочел Зяма. — Очень красиво.

— Твоя выдумка?

— Не моя. Вот, клянусь!

Голубые глаза были чисты, как никогда. Но у Зямы, при всей его чистоте глаз, взгляд такой гипнотический, что даже рыночные бабки начинали смущаться и тут же, стоило ему с минуту постоять напротив, робко снижали цену. Но сейчас Зяма, кажется, и правда не врал и был смущен не менее повелителя.

— Но откуда же тогда? — в растерянности повторил Соколов. — Кто сейчас помнит о каком-то Котошихине?!

— Значит, помнят, Ваше величество.

— Чепуха.

Тут детишки отсекли сопровождающих, а гостя вывели на небольшую эстраду, где ему уже был приготовлен царский трон, смастеренный из соломенного кресла и украшенный красными розами. И в тот момент, когда две девочки-крохотули, ангелочки в пестрых платьицах (у обеих диагноз: порок сердца!), надели на него бумажную корону, точно такую же, как в тот далекий день коронации, пронеслось, словно с неба многоголосое музыкальное приветствие:

Поздра-вляем тебя,
Поздра-вляем любя,
До-ро-гой Мар-ме-ла-жка,
Очень любим тебя!

И началось действие. На сцене некий пират, похожий на злого разбойника Бармалея из книжки Чуковского, хочет все забрать себе. Захапать. И лечебницу захапать, и горы, и даже море. «Мое! — кричит, — мое! Я тут один хочу жить. С крокодилами, змеями и обезьянами. Но только не с детьми. От них уж очень много шума!» И при этом злодей угрожающе машет деревянной шашкой в сторону зала. И тут появляется король Мармелажка верхом на игрушечном коне. Он наряжен в бурку и папаху, а в руках у него сразу два пистолета. Под восторженный рев зрителей он кричит лихо:

— А мы вот сейчас тебе усы отрежем!

— Голову! Голову! — требуют громко маленькие зрители. Они скандируют:

Злой пират, ты богат,
Мы зато сильней стократ!

И тут вдруг маленький артист, изображавший грозного Мармелажку, вот только с голосом не повезло, уж очень жидок тенорок у него оказался, вопрошает обращаясь к Соколову, сидящему на сцене:

— Ваше величество, разрешите отрубить злодею голову!

— Вот как? Сразу голову? Но почему?

— Вы же слышите: народ хочет!

Вот тут наш гость немного растерялся. Не от вопроса, а от неожиданности. Да и вопрос-то на самом деле не такой уж простой. В сказке, оно, конечно, отрубить понарошку злодею голову ничего не стоит. Но справедливо ли? Без суда? Да и пират, уж Соколов-то знал, как раз не оказался пиратом. Если только они не имели в виду кого-то еще. Вот сегодня Зяма как бы ненароком положил на обеденный столик статью, где под шапкой «Главная новость» сообщалось, что российская фирма «Пятый элемент» купила 800 гектаров земли, принадлежащие агрофирме «Приморье», чтобы построить к зимним олимпийским играм развлекательный, гостиничный, коммерческий и жилой комплекс, причал для яхт, развлекательный центр с аквапарком и медиацентр, все

это стоимостью 2,5 миллиарда рублей. Планируются дворец спорта и аэропорт. Но главное в информации шло далее: началось принудительное выселение жителей домов, стоящих на месте запланированных олимпийских объектов и прошел митинг протеста против изъятия земель...

Пауза затягивалась, зрители напряженно ждали.

— Но почему? — повторил он, приходя в себя.

— Потому что он плохой. Он хотел все забрать.

— Но мы его победили. Он наказан.

— А если он опять придет?

— Зачем? — чтобы протянуть время, гость задал риторический вопрос. Ответ был таков:

— Чтобы опять все забрать!

По наивности ли, или случайно, а может, вовсе не случайно, но мальчик, он же маленький король, попал в точку. Мармелажка краем глаза узрел, как шевельнулись на своих почетных местах лорды. Здесь были все, даже блондинистый Сергей, который удобно расположился в первом ряду, и едва усмехаясь, наблюдал за действием. Он-то точно знал, о чем идет речь.

— А без головы не придет?

— Без головы не придет, — уверенно отвечал маленький король.

— Но другие? Которые с головами?

— А вы тогда зачем? Мы вам верим! — звонко произнес артист. — Мы знаем, что с вами не пропадем!

И тут весь зал поднялся и закричал:

С Мармелажкой мы не букашки!
С Мармелажкой мы не леденцы!
С Мармелажкой мы молодцы!
Молодцы! Молодцы!

— Но сегодня ты — король? — спросил впрямую гость, выждав, пока зал затихнет.

— Да. Я король, — гордо отвечал малыш.

— Вот сам и решай!

Перевалив на хрупкие плечи, а если точней, на совесть ребенка, решение о казни, Соколов, *честно говоря*, ушел от проклятого ответа. Но ему и на самом деле было интересно, как они здесь, сообща, будут решить судьбу злодея. И когда маленький повелитель почти без раздумья повелел рубить пленнику голову, почувствовал неприятный холодок в груди.

На помост шагнул откуда-то сбоку, в сопровождении двух помощников, стоявший наготове палач, как полагалось, в черной маске, с игрушечным топориком наперевес. Злодея повалили на помост, и бесстрастный палач занес сверкнувший на солнце топорик над его головой.

— Ваше величество! Господин король! Господин король! Помилуйте! Я буду хорошим! — завопил совсем не по роли обреченный. Но обращался он почему-то не к маленькому повелителю, а к самому Мармелажке. И от этого пронзительного вскрика гостю стало уж совсем не по себе.

— Ру-би-те! — вскричал малыш-король, голос его вдруг обрел силу, и под грохот барабанного боя сверкнуло лезвие топора. Соколов закрыл глаза, вслушиваясь в многоголосый клик победителей, ожидая со страхом, когда на дощатый помост, как в его романе о Котошихине, с тупым стуком падет чужая голова и покатится прямо ему под ноги, заливая доски брызгами крови.

ИЗ КОТОШИХИНА

О властителях.

Иоанн Грозный правил в государстве в «ярости и в злобе сильнее, тиранским обычаем, и имел с окружающими государствами войну и развратие, и мучительства над князи и бояре своими и простыми людьми...» Далее перечислено шестнадцать родов, князей, но многие роды еще «миновались», то есть были казнены. Понятно, не без усилий Иоанна Грозного. Еще пятнадцать родов «меньше тех». То есть те, кому удалось уцелеть. Такова биология власти.

(На полях рукописи приписка автора: «Зри больше сего!»)

О насилии.

По настоянию Бориса Годунова в Угличе «перерезали тому царевичу гортань». А чтобы скрыть преступление, он послал «многие люди» и на дорогах устроил заставы, которые никого не пропускали, а письма матери царевича Дмитрия приносили бы ему для цензуры. А чтобы отвлечь от преступления, устроил в Москве резню и пожары.

Кремлевские нравы.

Когда Алексей Михайлович решил жениться, взял «девицу добру ростом и красотою». У многих бояр были такие дочери, но царю об них к женитьбе ни об единой мысль не пришла; а тех девиц, матери и сестры которые жили у царевны, завидуя о том, умыслили учинить над тою царевной, чтобы извести... И скоро то сотворили, упоиша ее отравами...

(Примечание Соколова: По-видимому, Котошихин, как и его современники, знали истину из первых рук, сейчас при вскрытии захоронения подтверждено, что царевна была отравлена).

Почему царь пишется самодержцем.

После Ивана Васильевича царь Михаил Федорович обещал быть не жестоким и не палчивым (вспыльчивым, наверное), без суда никого не казнить, мыслить с боярами и тайных дел не делать. А нынешний царь Алексей Михайлович письма (обязательства?) на себя не давал, его разумели «тихим», и правит по своей воле (важное замечание от человека, который у него служил!). Захочет мир или войну учинити, и с боярами, и с думными людьми, спрашиваеца о том мало, в его воле, что хочет, то и учинити может. Но кого любит и жалует, с теми Алексей Михайлович советуется.

(Соколов: но разве сейчас по-другому!?)

Злые дела.

Холопский приказ — у кого от боярина люди воруют, бегают и смутничают, на них указ — отдают в кабалы вечные. А кто кому должен и заплатить нечем, такой отдается

в слуги, отрабатывать долг. Каков чин ни будет, князь или боярин, или простой человек, а если пойман в убийстве, или поджоге, или злом деле, приведут в разбойный приказ и там пытают, хоть в праздники, хоть в иные дни и мучают без милосердия, потому что вор сам не избирает дней для воровства и убийства. А на кого скажут, и тех людей сынов поставят с очи на очи, и их пытают крепко, правда ли, что с ними товарищами, становщиками, оберегальщиками были? Подвешивают на руках, а палач ступит на ноги и руки из суставов выйдут вон, и бьет сзади кнутом, ударов в час 30–40. И на спине, будто большой ремень вырезан ножом, мало не до костей. А учинен тот кнут ременный, платяной, толстый, а на конец вязан ремень шириной с палец. А с первых пыток не сознается, вяжут меж рук-ног бревно и поднимут на огонь, а иным, разжегши железные клещи, ломают ребра. А за разбой без убийства на первый раз отрезают левое ухо, на второй — правое.

Подозрение в заговоре.

А который бы человек кроме вахты по Москве и в селах пошел через царский двор с ружьем, с саблей или пистолями, тайным обычаем, с простоты, а не с умыслом злым, и такова бы человека увидев, или кто на него указал, поймав, пытали б, для чего он на царский двор шел с ружьем, не на царя ли, или его дом, или на бояр и на думных и близких людей, и не по наущенью ли чьему и от кого... Пытав накрепко трижды, казнят смертью без всякой пощады, кто бы не был... А если на кого укажет, тех людей велят всех похватати и пытати и будут те люди в тех делах виниться, и их казнят всех... Или посадят в тюрьму, а потом сошлют в ссылку, в Сибирь или на Терек, на вечное житье (вот с каких времен мы Сибирь и Кавказ пополняли зеками-то!).

А по России разбойников, татам и злочинцев казнить, кто бы не был, без указа царя не велено. Кроме Сибири, Астрахани и Терека — от них долго идут в Москву писма. Но и там знатных людей не казнят а лишь русских срединных людей.

(Соколов: знатных людей и сейчас не трогают, ну дадут, как бы в издевку над законом, десять лет условно!)

Смертные казни.

А бывают смертные казни: голову отсекают топором за убийство, а за смуту и другие злые дела вешают, живого четвертуют, и голову отсекают за измену, кто город сдает неприятелю или с неприятелем держит дружбу листами (переписка?).

Далее: жгут живого за богохульство, за церковную татьбу, за содомское дело, за волховство и за чернокнижество. А еще кто начнет иначе толковать против Апостолов, Пророков, св. Отцов — с похулением.

(Выходит и тогда за идеологические и книжные прогрешения наказывали строже, чем за убийство! Не отсюда ли у русских двойная жизнь души?)

А кто замахнется бить отца и мать, хоть и не ударит — казнь. А за ругань, поносные слова бьют кнутом и вырезают язык. Женщинам то же самое, кроме огня и ломания ребер, их за богохульство жгут живьем. (Европейская норма!?) За чаровство отсекают голову, за погубленных детей живьем закапывают в землю по титки и отаптывают ногами. А если воруют вместе, то их обеих вместе, водя по торгам, бьют кнутом.

Палачи.

Мастера заплечные, а будет их по Москве пятьдесят человек. А в палачи по Москве и в городах ставятся всякого чину люди, кто похочет.

Приписка Котошихина:

Благоразумные читатели!

Чтути сего писания, не удивляйся. Правда есть тому всему.

Сейчас он уже ничему не удивлялся. Даже тому, что правда о том времени, когда жил его единомышленник, никому сейчас не была нужна. После спектакля не пошел домой, да его сегодня не ждали, Алена была на дежурстве, а маленькая подружка в изоляторе. Избежав назойливых провожатых, спустился по пологой тропке к морю.

Только здесь, на берегу, в отдалении от толпы, удавалось ему обрести долгожданное равновесие. Утреннее море, если оно спокойно, манит свежестью и чистотой. В нем еще нет живописи красок, пожалуй, наоборот, оно однотонного, чуть сизоватого оттенка, окаймленное по линии прибоя белым гребешком вчерашней, не истаявшей еще от жары пены, но это цвет умиротворения. Полдневное море искрит и брызжет солнцем, оно заполнено счастливым визгом детей, и в нем много веселого огня, вселяющего оптимизм. Зато ночное море, хранящее тайны в темной утробе глубин, выветривает, вытесняет повседневную мелочовку, заполняет собой душу до краев, не оставляя ничего, кроме мыслей о вечности. На бегу, в темпе, котором мы живем, о вечном не думается. Скорей, о скоротечном.

Соколов почти на ощупь приблизился к воде, вслушиваясь, как шелестит от легкого наката галька, а сырой запах водорослей и рыбы будоражит обоняние и кружит голову. Но мысли были все о том же, о зрелище смертной казни, которую он только что пережил. Не без помощи Котошихина, возвращающего к временам не менее жестоким. Как-то предложили ему сделать книжку о прокуроре, который пятьдесят или более проработал на Севере в Ненецком округе. Прокурор был, как говорят, на исходе, и мало что полезного мог рассказать, но сотня вырезок из газет, архив, воспоминания сослуживцев давали достаточный материал для небольшой книги. Плата же была высока. И вот из разговора с местными жителями Соколов выяснил, что этот самый замухрышка-прокурор когда в бытность свою судьей проявлял нечеловеческую жестокость, он пачками осуждал подсудимых на смертную казнь. Мелкий, видать, недобрал в детстве витаминов, тщедушный, как говорят в народе: замухрыжистый, от него попахивало мочой. Свои комплексы недоростка (таких и женщины избегают), вымещал на зеках, которых в ту пору сюда гнали колоннами. Не случайно в Воркуте в местном театре все артисты из столицы были заслуженными или народными.

Во время встречи Соколов задал прокурору вопрос, а много ли расстрельных дел было у его будущего героя.

— Полсотни, — сказал тот, потом уточнил: — пятьдесят четыре. По штуке на год. Разве это много!

— Тогда ответьте на вопрос, а если бы я в ту пору попал к вам, меня ведь причисляли к антисоветчикам... Что бы вы сделали?

— Мы для таких патронов не жалели, — ответил, не задумываясь, он.— И добавил: — Ваши писаки вредней диверсантов. От них порча в мозгах.

Тут Соловьев готов был даже согласиться, ибо у Котошихина всяких там чернокнижников и толкователей против Апостолов казнили без раздумья. Их сжигали на кострах.

— А если бы в нынешних условиях? Вот сегодня, сейчас?

— Даже завтра!

Соколов заглянул ему в лицо и понял, что прокурор не шутит. А значит, он в ряду тех, кто всю жизнь его преследовал. Он не только уверен в своей правоте, как Корениха и другие, но и в том, что достоин за свои подвиги книги, которую про него напишут. Да и денежки этим писакам будут платить! А ведь даже в Средневековье с палачами брезговали общаться. Если нечаянно к ним прикасались, то после шли в церковь, чтобы очиститься!

В тот же вечер Соколов собрал вещички и улетел, не желая не только писать, но и общаться с расстрельщиком. Но заноза от встречи с ним осталась. На Руси палачей искать не надо, это при батюшке Алексее Михайловиче их недоставало. Наши сами придут и предложат свои услуги. И сегодня, и завтра. Причем задарма, им упомятая царским подьячим грошовая милость не нужна.

Дети, которые, если говорить по правде, живут по часам, еще не изведав всех извивов зла и добра, продолжают верить в умиротворяющую роль жесточайшей кары. Старая пенсионерка, взывая к добру, травит собак; мстительному критику охота до смерти поскорей расправиться с миллионерами, а детям не терпится отрубить страшному захватчику-злодею голову. И никакие меры никакого самого милосердного правителя не способны доказать обратного. Ни при помощи закона, ни праведным словом,

даже таким, как у Льва Толстого, который писал умоляющее письмо батюшке-царю, чтобы спасти солдатика, осужденного к расстрелу за пощечину унтер-офицеру. Толстого современники так и не услышали!

Но дети-то! Дети! Что там, на дне их души? Их-то спасти еще можно, если не хотим, чтобы назавтра они, чуть вызрев, а то и вызверев, взяли свои топорики (как аналог: калашниковы, взрывные устройства и т. д.), чтобы рубить головы всем, кому захочется.

Глава двадцать вторая

Врач

Я прохожу по коридору первого этажа в процедурную, мимо цветов и фонтанчиков, а теперь еще и елочек в новогоднем убранстве. И все натуральное, не искусственное. А недавно поставили два аквариума: в одном золотые рыбки, в другом — маленький крокодил. Рыбки вскоре все передохли, одна лишь выжила, и та едва-едва влачит существование, мы уж ее подбадриваем: держись, милая, сейчас такая экология, что люди дохнут. А вот крокодильчик выжил, правда, месяц голодал, такая у него первичная диета. Сейчас высунул два глаза из воды и наблюдает за нами, но никакой реакции не проявляет. По-видимому мы для него не столь уж интересны. Зато взрослые и дети толпятся у аквариума все время, особенно дети. Некоторые строят ему всякие рожицы, а один отпрыск, так лет трех, посмотрел прищурясь и говорит: «Как вот дам молотком по стеклу и разобью ему голову!» И в доказательство угрозы постучал кулаком. Бедный крокодиленок взвился над водой и оскалил зубы. Но что он может сделать, беззащитный, против неожиданной жестокости. Что мы все можем сделать?

Ученые уверяют, что ребенок, посмотревший фантастический фильм с чудовищами, становится в пять раз ожесточенней. А они их смотрят пачками, ибо бабушкам некогда воспитывать, они увлечены мыльными операми, а когда пылает пожар на телебашне, пишут мешками письма протеста, у них отняли любимую игрушку. А детям не хватает любви, это очевидно. Ребенок с шести лет боится идти в школу: а вдруг там меня не полюбят! А разве до школы его любили?

Я звоню из клиники своим, жене и дочке, слава Богу, есть кому позвонить. Жена спрашивает, как там? Да ни-

чего, говорю, только я, как тот крокодил в аквариуме, дверь-то стеклянная, каждый, кто ни пройдет, может заглянуть... — Но врачи-то ничего? — интересуется жена. — Ничего, говорю. Они же врачи. Редко, если кто-то из них пытается заглянуть в душу. Они рассматривают мое тело, как объект для исследования: резать не резать. Их доводы точны и остры, как их скальпель. Я для них еще один крокодильчик или та последняя рыбка, которая сохранилась от прошлого века. Но я-то у себя один: тело-руки-ноги, и, особенно, голова, о которой идет речь. И другого, если выйдет промашка, меня уже не будет. Домашним говорю утешительное: «да ничего».

Про врачей нельзя сказать, что они жестокие. Они жесткие реалисты. Вся их правда на острие скальпеля. Да и речь сейчас не о них. Обо мне. Ну, раскромсают, заглянут: сыровато-бурые легкие, мясистая красная печенка, в сетке голубых жил желудок, а где-то за ними белым облачком невесомым затаилась душа; походя, покопаются и в ней, как чужеродном ненаучном веществе, на просвет для интереса просмотрят, а может даже обнаружат глубоко на дне клубок черно-зеленых змей. Блестящим пинцетиком прихватят одну за скользкую головку, повертят, покрутят, решат: «Это из двадцатого... реликт жестокости! Ишь, сколько накопилось, тут чистить и чистить!»

Боже мой, вспоминаю, разве мы жили в «веке»? Мы жили в часах, в днях, месяцах: занятия, курсы, работа, политзанятия, выезды на картошку, воскресники и субботники, митинги, собрания... И так, пока настенный календарь с отрывными листочками (на каждом поговорки, закат, восход, советы по дому) придет пора менять: корешочек с дыркой от гвоздя выбросят и новенький, пахнущий краской, прибьют, да пока в школе появится в тетради другой год, и елки зажгут, и мандаринами на всю улицу запахнет, покажется, что век прошел, не меньше. Это сейчас мелькает, как окна в вагоне скорого поезда: день-ночь, день-ночь, день-ночь... Новый год! И снова: день-ночь... Вожди в учебнике тоже меняются, хотя мы еще не доросли до причин их исчезновения. Но на всякий случай,

страницы с ними выдирали, а мы перышком выкалывали им глаза. За это не наказывали. А вот Сталин, мы твердо знали, он навсегда, потому что он вождь. И Ворошилов или Буденный, или менее известный Тимошенко — маршалы. Так они и стояли в книге для чтения с первого или второго класса.

«Климу Ворошилову письмо я написал, Товарищ Ворошилов, народный комиссар, в Красную армию в нынешний год, в Красную армию брат мой идет...» Это из стихов из того же учебника... А письмо написано как бы от школьника, который вместе с братом тоже хочет служить. Сейчас бы никакой нормальный школьник такой ерунды не написал, да и старший брат постарался бы избежать службы, охота ему в Чечне погибать! Но в прошлом веке культ войны, как и культ армии, как и культ командармов, был непререкаем, и кино, и радио, и песни, и наши книжки про Щорса («шел под красным знаменем командир полка...»), про Котовского, Салавата Юлаева — все настраивало на боевой лад.

«Милый мой, милый мой, на войну возьми с собой, там ты будешь воевать, а я патроны подавать!»

Ведь не по радио, а по домам пели это. И пели по правде, от души.

Умные чистые мальчики и девочки, будущие воины, участники боев с белофиннами, боев на Халкин-Голе и страшной бойни с фашистскими захватчиками, все или почти все полегли на полях России. Их кости до сих еще белеют в лесах, но нам недосуг за новыми делами их собрать. Школьники соберут!

Зашевелился важный клубочек на донышке души, а ведь это меня почти и не коснулось, это мальчики, старшие братья закрыли живым щитом, своими телами мое детство. Не столь уж безбедное: детдома, колонии, рынки, шаечки, воровство... Но нашими телами, давайте говорить прямо, не устилали путь к победе одного тирана над другим. Война и вправду была священной, народной и День победы — праздник самый драгоценный, но он отравлен двадцатью миллионами жизней (против немецких пяти!), и тут уж надо говорить о полководческом «гении»

тех самых маршалов и вождей, которые молодыми телами прикрыли и свою бездарность.

Молодые парни в белых халатах с удивлением рассматривающие мое нутро, вряд ли задумываются, что сейчас на их месте могли бы стоять десятки, сотни других, таких же талантливых, которые могли родиться, но не родились от тех, кто погиб.

Я застал тех, кому повезло не погибнуть, а лишь покалечиться, безногие и безрукие, они ездили на дощечках с колесиками по электричкам, прося подаяние, и однажды, по личному распоряжению Сталина, их, чтобы не портили благостную картину столицы, да и не напоминали о грехах боевых маршалов, блистающих сплошь звездами и наградами, повыкидывали на ходу из тех поездов. Списали за ненадобностью.

Соколов просидел всю ночь за старенькой машинкой, в которой вместо букв оставались лишь следы от прогоревших слюдяных клавиш, о них некогда тушили сигареты подвыпившие классики советской литературы. На рассвете закончил последнюю главку своего романа. Он помнил ее наизусть, и был уверен, что если не для заезжих гостей и не для себя, он оставит это для тех, кто еще ему верит и кого можно спасти от будущей жестокости. Хотя бы для вернувшейся к нему из небытия Катюни.

Смертная казнь.
(заключительная главка о Котошихине)

...Однажды досталось Котошихину составлять ведомость жалованья для наемного чужеземного войска: немецкого, датского и прочего, и рука его споткнулась на слове «палач». Так и было написано: «Должность — палач» и жалованье. Он до сих пор помнит тот реестр для оплаты, по которому писарь полковой получал 10 ефимок, то же и набатчик, в сравнении скажем с полковником, которому полагалось четыре-

ста! А далее после писаря и набатчика шел по списку палач, и ему за его такое странное, а может, и страшное ремесло полагалось, восемь ефимок! Всего-то!

Но судьба и далее как бы случайно, подсовывала нашему подьячему сведения о боярине Шеине от 23 апреля 1634 года. Специальная комиссия, назначенная государем, расследовала дело боярина и вынесла свое заключение. Из допроса следовало, что боярин Михайло Борисович Шеин числился чашечником при Годунове и за добрую весть о победе над литовским отрядом был возведен в боярский чин, получив в воеводство пограничный град Смоленск, самый разнесчастный из русских городов, хотя все они, которые на окраине, были по-своему несчастные. Смоленск же, стоящий у западной границы Руси, был с особенной силой терзаемый врагами. Здесь сталкивались интересы поляков, литовцев, шведов (свеев), малороссов, даже крымцев... Крымских татар! Эти, последние, казалось бы, вовсе не должны были покидать берегов Днепра. Но, превратив набеги чуть ли не в основную статью дохода, примыкая в бесконечных стычках то к одним, то к другим, они без конца уводили на юг тысячи полоненных россиян, которых потом продавали по полста или по ста рублей за голову той же Москве, или сплавляли далее, к мусульманам, за море, в турецкое рабство.

Что же тогда случилось, что сам Шеин попал в плен? В роковой 1609 год король Зигмунд подступил под стены Смоленска с войском, имея более тысячи польских всадников, литовскую и немецкую пехоту, тысячу запорожцев и татар... Этих, последних, никто не считал, но известно, что их была «тьма». За два года осады голод и цинга опустошили город, из восьмидесяти тысяч населения в живых осталось не более восьми. Архиепископ предлагал сдаться на милость победителя, и Шеину потом поставят в вину, что он своим дурацким упрямством погубил жителей города. Поляки ворвались в город, началась резня и пожары. Оставшиеся в живых горожане заперлись в соборной церкви Пресвятой Смоленской Богоматери, где в подвале хранилась городская казна и около восьми тысяч пудов запаса пороха. Не желая позорного плена, они себя

и подорвали. Видел окруженный врагами Шеин, который с пятнадцатью ратниками бился неподалеку, как взметнулся белым пламенем в черное небо Божий храм, превратившись в гигантскую свечу, и растаял в воздухе, осев наземь мертвой пылью, горько скрипящей на зубах. Яростно сопротивлялся боярин, и был бы порубан на куски, если бы не бросились перед ним на колени выскочившие из дома жена и малые дети, умоляя отдаться на милость победителя. В королевском стане Шеина пытали, вывернув руки из сочленений и повесив на дыбе, требуя правдивых слов о спрятанной золотой и серебряной казне. А он отвечал, воздавая очи к небу, что сокровища, если они и были, теперь там, у святой Марии, намекая на взорванный храм. После пыток боярина отвезли в Литву, где годы продержали в заключении в оковах. Семейство же его поделили: кровожадный и развратный Яков Сапега получил жену и дочь воеводы, а Зигмунд — младшего сынка боярского, любимого, забрал к себе. Сидел Шеин девять лет неподалеку от Варшавы вместе с будущим патриархом Филаретом, отцом царя, плача о своей пропавшей семье. Не так ли плакал Котошихин, вернувшись в Москву из почетной миссии, когда увидел он, что гнездо разорено и нет у него больше ни жены, ни детей.

Четверть века спустя уже престарелый Шеин снова получит войско для освобождения города, но его не поддержат князья Черкасский и Пожарский, и он снова попадет в плен. Он сдастся, сохранив на этот раз войско: восемь тысяч пятьдесят шесть человек, и теперь уже это станет ему виной, когда осудят его на смертную казнь.

Перед глазами маленького Гриши колыхалось поле от множества собравшихся людей. Многошумно и разгульно было на широком лугу, громко смеялись, перебранивались, грызли семечки, лакомились бубликами, дети и собаки играли на траве. Царь Михаил Федорович, поддерживаемый татарскими князьями, никак не отвечая на приветствия павших на колени горожан, взошел на приготовленное для него возвышение. Он тяжело дышал. Думные князья и бояре суетились вокруг. Не оборачиваясь, царь дал

знак рукой, и толпа вмиг смолкла, когда от стоящей невдалеке повозки повели человека, и все узнали боярина Шеина. Едва заметным движением пальцев левой руки государь велел опальному боярину приблизиться. Угрюмо и молча озирал его, потом, как бы сквозь силу выдавливая каждое слово, вопрошал, негромко, слышали лишь немногие: «Теперь-то... перед божьим судом... Обещал ты поганому Владиславу целовать крест? Обещал вступить в папскую веру? Говори!» Боярин грузно упал на колени, задирая седую бороду вверх, отвечал хрипло, что не целовал он вражьего креста... Но царь отмахнулся как от мухи: «Ступай! Тебя ждут!» От слова «ждут» боярин вздрогнул, но не поднялся, а так на коленях пополз к царю, бормоча слова про навет врагов, которые его оклеветали. Государь наклонился к боярину, который был уже у его ног, что-то совсем тихо произнес и показал рукой на эшафот, устало отклоняясь: «Да не медлите! Хватит слов, когда дело ждет!»

Преступного боярина подняли силой двое рослых стрельцов и поволокли к сбитому из бревен накануне казни возвышению, где ждали два священника в темных одеяниях и — третий — палач. Но что шепнул ему государь в тот последний перед казнью миг? Какие утешающие слова нашел он думному боярину, еще недавно на зависть остальным стоящему у трона впереди многих? Свидетель казни голштинский посол и гость Адам Олеарий в своих записках утверждал, что будто Михаилом Федоровичем была обещана милость Шеину, которая будет оказана в самый последний момент, уже на плахе. Когда же перекрестясь, опальный боярин положил голову под топор, царь подал торопливый знак палачу, чтобы рубил, да поскорей.

Григорий и отца вызнавал, выпытывал, про царское обещание, но не получил толкового ответа. Тогда, на Пожаре, отец стоял в толпе духовенства и семейство привел, подобно остальным. Так что малолетний Григорий все смог узреть в непосредственной близости. Прислонясь к материнскому животу затылком, он во все глаза смотрел, как на деревянный эшафот по доскам, что жалобно

скрипнули под тяжким весом, взошел высокий, чуть горбящийся боярин и взгляд его, отрешенный, хоть и скользил по лицам близ стоящей толпы, скорей всего, не видел ничего. Приняв святые тайны и причастившись (все это слишком торопливо), боярин повернулся к царю и поклонился в пояс, потом поклонился народу, крестясь и произнося, судя по движению губ, никому не слышные прощальные слова.

Тут у него за спиной объявился палач, еще выше его ростом, но худосочного вида, с тесемочкой поперек лба, как бывает у плотников, когда повязывают волосы, чтобы не мешали работать. Ясно, что свое дело он почитал как нелегкую работу. Пощелкивая пальцами по сверкающему лезвию топорика, показавшегося почти игрушечным в его руках, видать, и длинные руки хорошая подмога в таком деле, он жестом попросил опального боярина примериться, положив голову на дубовый кряжистый обрубок. Тот вскинул на палача странные, будто слепые глаза, и послушно опустился на одно колено. Левой рукой, всеми пятью пальцами, которые жили как бы сами по себе, как шевелятся и живут раки в корзине, палач провел по седоватой вьющейся шевелюре против шерсти, чуть оголив смуглую шею. Народ молча смотрел.

Непосвященным этот жест мало что говорил; понятно лишь было, что палач примеривается, как ловчей ударить. Палач же мягко, проведя по шее чуткими пальцами, нащупывал, выбирал между косточками позвонков нужную и известную ему одному этакую хрящевую впадинку, ямочку, где было сочленение. Остроглазый Гришка заметил вдруг, что у палача дергается левое веко. Издали, впрочем, толпе, что стояла на расстоянии, этого не было видно. Зато она видела, что по своей внушительной стати палач подобран хоть куда и с лихвой тянет на свои восемь, а то и более ефимков. Да в шапку его, уж как водится, расщедрившиеся зрители набросают всякую мелочовку: кто баранку или крендель, а кто и медную денежку. За старание.

Придерживая кудлатую боярскую голову, все это происходило в какие-то доли секунды, хоть и показалось

мальчику бесконечным, палач бросил косой взгляд в сторону государя, и, уловив никому не ведомый знак, неожиданно взмахнул топориком. Терпеливо склоненный боярин ни знака, ни взмаха увидеть уже не мог. Но не увидел его и наш герой. Еще быстрей чем палач, сильные руки мамы заслонили глаза ребенка, так что он лишь почувствовал горячее, слишком горячее, обжигающее тепло ее ладоней, и крепкое, почти мужское объятие, прижавшее его с силой к животу, так что ни вырваться, ни вывернуться в тот момент у него не получилось.

И слава Богу! Если бы эти руки смогли его и далее так оберечь от всяких в жизни напастей и от этой, грозящей теперь смерти! Мама! Так спаси же, спаси!

Григорий тонким слухом уловил особый, свистящий в мертвой тишине звук лезвия, рассекающего воздух, и гулкое уханье, как ухают мясники в Охотном ряду, когда разрубают тушу. И в тот же момент в прохладное синее небо взметнулся человеческий вопль толпы. Было в этом единовременном выдохе восторг, ужас и торжество. Палач сработал на славу и ямочка между двумя хрящами была рассечена, как и полагалось, от одного удара. Мгновенное и почти безболезненное касание! Тут и задумаешься, на чем держится человеческая жизнь? Даже у самых породистых и сановитых?

Григорий не видел и другого, а лишь знал по рассказам, как косматая боярская голова с тяжелым стуком ударилась о настил и покатилась по нему, обрызгивая доски обильной черной кровью, пока не свалилась на траву прямо под ноги близ стоящим. Да так странно свалилась, что встала перед ними на обрубок шеи, как живая, глядя широко открытыми глазами, из которых текли кровавые слезы! Взвыв от страха, отшатнулись люди, взирая в ужасе в эти осмысленные, еще не застекленные смертью глаза!

Одна лишь женщина приблизилась, не испугавшись, сняла с себя темный платок и накинула на плачущую голову боярина.

Переждав всех и оставшись в приказе якобы для срочной переписки грамот, сидел Котошихин в пустынной

комнатенке, освещаемой заходящим летним солнцем, сверкающим из-за башен Кремля. Сидел, обхватив голову руками. Горевал над чужой бедой, как над своей, не ведая, что и над ним, над его собственной жизнью будет кто-то горевать, предчувствуя этот бесконечно в веках повторенный взмах сверкающего топорика, опускающегося на неповинную голову.

Впрочем, впрочем... Что почувствовал в такое мгновение сам Григорий Карпович Котошихин, мы уже никогда не узнаем. Известно только, что в южном предместье Стокгольма неподалеку от тюрьмы на Ланг-Хольмене Котошихин был публично обезглавлен. Его тело отвезли в Упсалу, в анатомический театр Упсальского университета, где оно было анатомировано профессором и высокоученым магистром Олофом Рудбеком, а скелет простоял «как монумент», нанизанный на стальные и медные проволочки вплоть до середины XX века. Да и ныне, как считают многие, хранится где-нибудь на складе. Шведы — народ хозяйственный и ничего зазря выбросить себе бы не позволили.

Глава двадцать третья

Алена

— Котошихина берем, — сказал Дима, откладывая последнюю страницу. — Не могу повторить вслед за великими, что эта штука посильней, чем «Фауст» Гете... Но впечатляет.

Он объявился, как всегда, неожиданно, с пакетом деликатесов и бутылкой вина. На Алену, сидевшую тихо, как мышка, в уголке номера, не обратил внимания, мало ли гостей и визитеров тут перебывало!

— Котошихина, значит, берем, — повторил деловито. — Между нами говоря, с таким наваром можно было бы и погуще суп смастерить. А в общем, сегодня это будет у шефа.

Был он, как всегда, приветлив, белозубая улыбка не сходила с его совсем не загоревшего лица. Глаза сияли голубизной. Он тут же добавил, что и Мадонна БОСу не может не понравиться... романтично и без этих, всяких там, голых задниц! От которых тошнит! Мне профанации не нужно, мне натуру подавайте. Чтобы щипало в носу и глаза мокрели.

— Простите, — неожиданно подала из уголка голос Алена. Мужчины вздрогнули, и обернулись, глядя на нее. Гость недоуменно, Соколов настороженно. — Простите... А что означает... берете Котошихина? Куда вы его берете?

— Не успел вас познакомить, — чуть смутился Соколов. — Алена, моя гостья. Приехала с дочкой из Москвы. А Дима... Он редактор моей новой книги, которую мы совместно пытаемся осилить.

— Книги? О Котошихине? — переспросила негромко, но настойчиво Алена. — А при чем тут какой-то шеф?

Соколов предостерегающе стрельнул глазом в сторону Димы, но тот сигнала не понял.

— Видите ли... Алена, — произнес с улыбочкой. — Или как вас по-домашнему — Аля? Разрешите вас так называть?

Алена не отвечая, ждала.

— Видите ли... Год назад уважаемый Александр Семенович продал нам авторство новой биографической книги. Срок истекает, и в эту книгу, насколько я понимаю, войдет и его исторический опус. Начало шефу понравилось. Хотя, на мой взгляд, роман чуточку устарел.

Соколова не покоробило слово «опус». Но то что роман устарел, он внутренне не согласился. Что говорить о власть имущих, которые и при царском дворе при Котошихине, и при нынешних, в лице этих вот умельцев и бояр, правят бал... Даже торговля рукописью у Григория Карповича напоминает торговлю романом самого Соколова.

А ведь продал, продал Григорий Карпович свое творение!

— Вы продали Котошихина? — недоверчиво переспросила Алена, обращаясь к Соколову. — Продали? Да?

— Ну, положим, продал, — Дима пожал плечами. — Многие, даже известные литераторы так делают. Больной Чехов в конце жизни продал издателю Сытину все свои сочинения оптом. И пусть бросит камень кто...

Красавчик Дима чуть деланно рассмеялся, не без любопытства разглядывая Алену. С первых же ее слов он почувствовал в ней оппонента, если не противника. Это его почему-то развлекало.

— Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать...— как сказал поэт... Ха-ха...

— Но вы-то покупаете не рукопись! — воскликнула Алена в сердцах, беспричинный смех Димы ее раздражал.

— А что?

— Вы покупаете его жизнь!

— Ну, почему сразу — жизнь?

— Да потому, что он отдал Котошихину все... Молодость, репутацию... Да и свое будущее, в виде поденной работы.

— Каждый продает, что имеет. — Дима пожал плечами.

— Ну, а почем же нынче на вашем... Не знаю уж как назвать... На рынке что ли, — спросила гостья, не отры-

вая глаз от Соколова. Ее разозлило его молчание. — По какой цене идут теперь «исторические», как вы назвали, «опусы»?

— Да не дороже денег, — отвечал Дима, с той же с усмешкой. — Тех самых, Аленька, которые ваш друг, а наш уважаемый автор, давно получил. И не только получил, но, полагаю, успел истратить!

— На больницу!

— Да, возможно. Его право.

— А вы знаете, сколько стоит лечение в нашей родной больнице?

— Знаю.

— И я знаю. Я там работаю.

— Ну так можете поблагодарить шефа. Он спасал... спас... нашего с вами автора. Уж вам-то это известно.

— Не бескорыстно.

— Бесплатный сыр бывает... сами знаете где?

Дима позволил себе, кажется, впервые, небольшой выпад.

Алена отреагировала сразу:

— Вашему сыру копеечная цена на том самом рынке!

Перепалка становилась бесцельной. Лучшим ударом со стороны Алены могло бы стать напоминание, какой ценой приобретают бизнесмены свои возможности торговать и покупать. Но это был бы удар ниже пояса. Гениальный Гейтс заработал миллиарды своими мозгами. («А если вы такие умные, — как сказал об остальных Зяма, — то почему такие бедные?»)

Разговор происходил при Соколове так, будто его тут не было.

— Ты правда получил от них деньги? — голос Алены обрел железные тона.

— Правда, — отвечал он.

— За рукопись?

— За рукопись... Но я не успел тебе сказать....

— И не надо, — перебила его Алена. — Пойду-ка, прогуляюсь. Торговля рукописями дело не шуточное.

Дверь захлопнулась так быстро, что Соколов не успел произнести слов в свое оправдание.

— Девочка-то с характером, — заметил чуть снисходительно Дима. — А вот я к вам торопился не случайно, уважаемый Александр Семеныч. Я ведь в Упсальском университете побывал! И рукопись Котошихина удалось полистать.

Дима сказал это в своей обычной, почти легкомысленной манере, хотя он-то не мог не понимать, какое сокрушительное впечатление произведет новость. Дуракаваляние позволяло ему лишний раз испытать крепость нервишек у собеседника.

Соколов, и, правда, не устоял, и чуть не сел мимо стула. Даже сердце заколотилось, как при весточке, которую получил от далекого родственника, о котором многие годы ничего не слышал. Сейчас даже торопливое бегство Алены отодвинулось для него на задний план.

— Вы для этого... ездили в Швецию?

Он не узнал собственного голоса, так разволновался.

— Ну, не совсем, — простодушно отвечал Дима. — Совпало. Культурное мероприятие проводилось... Но рукопись в университетской библиотеке мне выдали. Хоть и не сразу. Ничего, скромная такая, формат почти стандартный, с разводами бумага, в темно-коричневом потертом переплете. Ее за последние сотни лет, судя по картотеке, ни один русский не брал в руки!

Соколов напряженно молчал, боясь пропустить хоть слово. Только дыхание перехватило в горле.

— Я и о скелете выспрашивал... Только времечка не хватило. Но чувствую, чувствую, что можно найти!

— А скелет-то вам зачем?

— Пока не знаю.

— Для рекламы?

Соколов по-прежнему не овладел собой, и голос, чуть охрипший, выдавал его взволнованность. Еще бы! Вот сидит перед ним человек, вовсе не легкомысленный, начитанный. Баловень судьбы. А несколько дней назад рукопись Котошихина листал. И говорит об этом так, будто это обычное дело. Господи! Да хоть бы одним глазочком... Хоть издалека. А уж полистать, странички потрогать, он и не мечтает!

На вопрос о рекламе Дима, как бы не заметив иронии, отвечал, что это и, правда, вышло бы недурно.

— Представляете, презентация книги БОСа, история подьячего, а тут же, в зале — его скелет! Где, скажите, это было?

— Нигде, — нахмурясь, буркнул Соколов. — Но это уже в духе двадцать первого века. Значит и аллея Котошихина в детском санатории ваша затея?

— Наша, — признался Дима. — А ведь недурно придумано?

— Зачем?

— А вот приедут гости... Иностранцы, кино или кто еще... И тут же информация из первых рук, что БОС, он же автор знаменитого Котошихина, посещает санаторий и помогает больным детям. Звучит?!

— Не знаю... не знаю, — чуть растерянно отреагировал Соколов. — Вы можете подождать минуточку?

Соколов вышел на крыльцо и позвал Алену, вглядываясь в темноту.

Он верил, что она никуда не уйдет. Сейчас не уйдет, потому что хочет получить от него главный ответ. И она его получит. Не дай бог, если не поймет и хлопнет дверью навсегда. Потерю ее и Катюни он все равно не перенесет.

Она это тоже понимала. Отозвалась не сразу. Но первый ее вопрос был жесткий, в упор, а много ли дорогой автор зашиб башлей за свой шедевр?

Так и прозвучало: со злой нескрываемой обидой, которую она пережила изо всех глупостей, которые Соколов натворил.

— Ну не сердись, — произнес он виновато. — Я хочу, чтобы ты зашла... только на минуточку!

— Если на минуточку...

Она возникла из ночи как виденье, непреклонно суровая, молча поднялась в номер и забилась в свой закуток, как бы демонстрируя свое полное неучастие в их разговоре.

— Так вот, Дима,— Соколов волновался, но голос его был как никогда тверд. — Передайте своему шефу, что

никакого Котошихина он от меня не получит... Рукопись книги тоже.

Все это было сказано скорей для Алены, а не для шефа. Дима, как ни странно, встретил новость спокойно. Он был в себе уверен. Только молчал дольше обычного. Пропала и беспечная улыбочка.

— Можно понять так,— спросил и потрогал листы, сложенные стопочкой на столе, — вы отказываетесь, вы не хотите отдавать рукопись?

— Да. Вы меня поняли правильно. Не хочу. И не отдам.

В поисках поддержки Соколов бросил взгляд в сторону Алены. Но ни одного импульса, ни одного знака одобрения не углядел. Все в ней было будто заморожено. Кажется, она уже не доверяла его словам.

— А как же договор? Аванс? — поинтересовался Дима. — Анализы, операция, даже поиск нужной группы крови... А у вас не то что редкая, а редчайшая группа крови оказалась...

Соколов, не видя Алены, расслышал, как она резко двинула стулом в своем закутке. Может быть и не удержалась бы от всплеска, но вовремя сообразила, что все это сказано специально для нее, Дима ее провоцирует. А Соколов ответил бы, но не в присутствии Алены, жалея ее нервы. Послать куда-то подальше этого нагловатого торгаша было бы, наверное, несправедливо. Дима лишь исполнитель, все исходило от его незримого хозяина. А хозяин догадывался, а может, и знал, через того же Диму, что срок, обещанный Соколову врачами, истекает раньше, чем он должен представить договорную работу. Потому, видать, торопится. И подгонял. И шел на всякие затраты.

«А как там с совестью? — спросил бы въедливый Шера.

— С совестью?

— Ну да. Совестью. Разве формула: „после нас хоть потоп“ из нашей с тобой лексики? Уйти, повесив свои долги на других?

— Нет, — отверг сразу Соколов».

— Нет! — чуть ли не вслух произнес он. Этого разговора с Шерой не было. Но он мог бы быть.

Прозорливый Дима угадал и выбрал точное время для нанесения последнего удара.

— Ваше величество, — сказал он, глядя при этом лишь на Алену. Он знал, что в женщине чувство самосохранения развито много сильнее, особенно, если разговор касается ее чувств. — Ваше величество... Мне известно многое о ваших болячках... Такая уж моя планида, что-то знать о своих любимых авторах. А подчас и вкладывать в них средства. Бизнес есть бизнес. А как вы посмотрите на предложение выехать для срочной операции в Израиль? Там ведь замечательные хирурги! Кстати, по большей части русские евреи. Или, скажем, в Германию? Дороговато. Но мы заплатим. Мы сохраним вам жизнь!

— А душу?

— Ну, вы много от меня хотите! Кстати, анекдотец на эту тему... Дьявол пришел к бизнесмену и предложил ему обмен: тот получает квартиру, машину, красавицу жену, миллионный счет в банке и все остальное. Взамен он отдает душу. «Душу? — удивился тот. — Только и всего?» — «Только и всего». — «Во, блин... бери. Только не пойму, где ты меня прикалываешь!»

— Ну, с душой, ясно, — подала голос из своего закутка голос Алена. — А дьявол-то кто?

Дима, получивший, как при боксе, неожиданный удар в челюсть, на мгновенье даже онемел. Возможность поерничать он считал своей привилегией. Оценив силу удара, громко раскатился смехом.

— Аленька, — произнес излишне ласково. — Я с ним лично не вожусь. Иначе был бы миллионером, проживал бы в Англии, и попивал бы чай с «греем», а то и с полонием. Говорят, это его любимый напиток!

— Шутка так себе, — отреагировала, поморщившись, Алена. — А вот Его величество утверждают, что в молодости Борис Остапович звался иначе... Его отчество-то было — Евстафьевич! Не так ли?

— Какая же разница! Да хоть горшком назови, только в печку не ставь!

— Да нет, разница есть, — настаивала Алена. — Но в

таком случае он вовсе не БОС... А он БЕС? Звучит-то совсем по иному!

— Его величество тоже не ахти какой король, — добродушно отреагировал Дима. Он успел прийти в себя и широко улыбался.

— Так вот передайте БОСу, который БЕС, мы все вам вернем. И за кровь, и за остальное. И за это королевское помещение.

— Как это понимать?

— Мы продадим квартиру.

— А жить вы где собираетесь?

— Это значит, тоже входит в ваши обязанности?

— Представьте, пока да. Нам вовсе неинтересно прочесть в газетах, что мы оставили автора без штанов на улице.

— Он не будет на улице. Он будет жить у нас с Катькой. Вот так.

Алена все это высказала чуть на нерве, но уверенно, ни разу не взглянув в сторону молчащего, и, кажется, растерянного спутника.

Проницательный Дима не смог не заметить, что Его величество пребывает в некотором замешательстве. Да и квартирка-то у него, Дима знал: конурка. Кому она нужна!

— Значит есть о чем поговорить, — завершил Дима неприятную встречу миром. — А уважаемого автора изволят завтра пригласить в хороший ресторанчик. Уж простите, Алена, без женщин. Придете?

— Уж не тот ли это подвальчик, где нечистая сила встречалась с доктором Фаустом? — зло усмехнулась задетая за живое Алена.

— Может, и тот. Так мы вас ждем.

— Ты знаешь, зачем они тебя зовут? — спросила Алена.

— Догадываюсь.

Они вышли под густую, заполненную сверкающими звездами южную ночь. Отдаленный шум прибоя стал слышней, его лишь нарушал скрипичный ансамбль незримых цикад. Они присели на ближайшую у коттеджа ска-

мейку, но никто не решился первым нарушить молчание. Слишком все сейчас казалось непредсказуемо зыбким.

Алена первой подала голос. Ей надо было выговориться:

— Дорогой Мармелажка! — так она начала. И следом, почти шепотом: — Я тебя люблю. Это правда. Но больше того Мармелажку, которого знала прежде. Даже еще до встречи с тобой. А вот здесь много раздумывала над тем, что произошло. Я даже попыталась поговорить с БОСом. Он вовсе не дурак, и первое, что он сделал: предложил, обслуживать его. Знаешь, что он сказал? «Ну что вам семь тысяч рублей, у меня вы получите семь тысяч зеленых!» А я, конечно, выдала ему по полной программе!

— Что ты сказала? — спросил тревожно Соколов.

— Сказала, что нужно.

— Ты ему нагрубила?

— Ну, зачем же. Все было цивильно. Но меня он запомнит.

Разговор же, утаенный от спутника, был таков. Она сказала: «Спасибо за лестное предложение, но я не продаюсь. Совсем не продаюсь. Никак. Ни за сколько. Мне ваша зелень задарма не нужна».— «Но еще подумайте,— повторил он. — Мне такие чистенькие, как вы, нужны позарез. Я устал от жуликов, которые на ходу рвут подметки...» «Да мы живем среди жуликов, — сказала Алена. — Но я верю в то, что остались бескорыстные люди». — «Мармелажка, что ли?» — «Нет, не он. Я знаю, что вы его купили. И за это я вас ненавижу. Вы разрушили его жизнь. — Помолчав, она добавила: — И мою».

— Ты сейчас другой, — повторила после паузы она.— Ты совсем другой. Понимаешь. Ось сдвинулась. Вон, провели опрос, а большинство молодых мечтают о богатстве, причем нажитым любым способом. Любым. Еще где-то, кажется у Катаева, друзья молодости задают вопрос: сможешь ли ты убить человека за миллион? Эти, сегодняшние, наверное, смогут. Вот, какая правда. У многих ось сдвинулась в мозгах. Но не в душах же? И не у всех же... Жизнь-то продолжается! И моя девочка, пусть с больным

сердцем, среди кого она будет жить? Среди ублюдков? Или...

Он слушал затаив дыхание. Он, кажется, ждал такого разговора, ибо сам себе говорил то же самое. Но чтобы она... Та самая, которая могла быть его прощальной звездой. Вспомнил, как однажды они сидели на кромке берега, ночью, было тепло, звезды сверкали по-южному ярко, как драгоценные камни. И она спросила, прижимаясь к его плечу: «А правда, что слова романса „Гори, гори, моя звезда...“ написал Колчак?»

— Говорят. Хотя об этом нигде не упомянуто.

— У него была потрясающей красоты жена. Я видела ее портрет. И если он вправду написал, то лишь для нее, — и помолчав: — Представляешь, его вели ночью по снегу, в беспросветной сибирской глуши, чтобы расстрелять на берегу реки, а наверху сияли зимние звезды, и это, вот... «Умру ли я, ты над могилою, гори, гори моя звезда...»

Сейчас вспомнилось и он понял, что это у них прощание. Она была последней, кто верил ему без остатка. Как он уже себе не верил. Но тогда нужен ли он себе, если все пришло к концу?

— Я тебя могу... проводить? — не спросил, а попросил.

— Проводи. Но лучше будет, если ты не станешь провожать.

Глава двадцать четвертая

Мефистофель

На деревянной бочке, которая занимала большую часть подвала, огромной, двух метров высоты, восседали верхом два немца, попивая прямо из горла бутылки белое майсенское вино. Немцы были из Лейпцига и обожали отечественные напитки и русские песни. Сюда они приехали по туристической путевке, заслышав о странном соотечественнике, соорудившем в бывшем оружейном складе внутри горы у берега, уютный, наподобие немецкого, ресторанчик.

Помещение с округлыми сводами и кирпичными стенами было в некотором роде копией знаменитого лейпцигского погребка Ауэрбаха, что, по описанию Гете, посетили доктор Фауст и Мефистофель, который спровоцировал, шутки ради, драчку среди подгулявших завсегдатаев, а потом так же неожиданно исчез. Полутемное, с красным отсветом, деревянными, опять же по немецкому образцу, сводчатыми балками потолка, громоздкими дубовыми столами и стенами, увешенными пахучими травами... Но бочка, конечно, впечатляла более всего.

В преддверии трудных переговоров, которых наш гость ожидал, и он не смог не пережить некоторого знобкого холодка, следуя за своими молчаливыми спутниками по долгим каменным катакомбам, на пути к запрятанному в скалах ресторанчику. Некогда, заботами военных, здесь пробили в глубокой лощине тайное хранилище для подводных лодок. По некоторым данным они несли ракеты с атомным оружием. Ни лодок, ни ракет нынче не подразумевалось, а опустевшие катакомбы, созданные рабским трудом советских трудящихся, нынче судя по всему, пригодились для мирного потребления напитков и еды.

Но сперва о дороге. На стареньком, видимо взятом на прокат «Вольво», они более получаса крутили по горной,

тряской, ночной дороге, и временами нашему гостю казалось, что вот-вот канут в преисподнюю, так глухо и черно было вокруг. В свете промелькивающих лучей от редких встречных машин Соколов не мог разглядеть лиц своих спутников, но почему-то казалось, что и они полны странной загадочности, обещающей нечто такое, чего он не ожидает. Даже немцы, на бочке, уж очень громкие, рекламные, показались нашему гостю ряжеными артистами, должными изображать антураж немецкого ресторанчика. Но когда они радостно завопили по-русски, в два горла, протягивая ему сверху бутылку вина: «Геноссе! К нам! К нам!», он как-то сразу помягчел, оттаял, почувствовав обаяние натуральной, пахнущей домом, деревенской харчевни, с будоражащим дымком жаренного на гриле мяса, с гулом голосов немногочисленной, но добропорядочной публики, не считая двух голосистых немцев, устроивших свой замечательный ужин прямо на бочке. Но и это напомнило знакомый, по старым описаниям и гравюрам да классическим стихам в переводе Бориса Пастернака знаменитый погребок, где почти так же гуляли и пели песни подвыпившие посетители.

Между тем немцы с яростным энтузиазмом выводили далеко не средневековые строки из знаменитой советской песни о войне:

Гремя огнем, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин!
И первый маршал в бой нас поведет!

На новый призыв посидеть верхом на бочке и опробовать винца, истинно дрезденского, культивированного из самого северного растущего в Германии винограда, Дима пообещал им составить компанию, и всех гостей попросил пройти к дальнему, в уголке, столику, очевидно, накрытому для них заранее.

Кабачок, должно быть, не случайно выбран для встречи, а возможно, он БОСу и принадлежал, — подумалось вдруг Соколову. — Интересно, а как он именуется? «Боч-

ка»? Стандартно. «Кавказские вершины» претенциозно. «Девятый вал»? «На дне»? «В засаде»? Ведь должен он както называться? А нельзя ли назвать его, к примеру «Кулишки», по имени чертова издательства, раз уж они забрались в такую преисподнюю, где, несмотря на всю цивильность обстановки, попахивает чертовщиной!? Подводные корабли, некогда запрятанные в скальных хранилищах со своим смертоносным зарядом, готовые в любую минуту испепелить весь мир, были далеко не божественного происхождения. Они не могли не оставить за собой угнетающей атмосферы прошлого века. Но, возможно, и это померещилось нашему гостю от непривычного антуража, ибо никто из присутствующих, судя по царившему здесь веселью, ничего не ощущал.

БОС столь же представительный, несмотря на дурную дорогу, был одет в черный с иголочки костюм с шелковым малиновым галстуком, в сорочку с золотыми запонками, уголочек платка в тон галстуку выглядывал из нагрудного кармана. Но сегодня, до поры, он не был столь многословен, как при первой их встрече.

Он окинул взглядом сидящую публику, пробежал равнодушным взглядом по закуске на столе и сразу же обратился к Диме с просьбой прояснить ситуацию с романом. Хотя было и так видно: он все знает. Он и слушал вполуха, и по его анемичному лицу, по его неподвижному взгляду, нельзя было угадать, что его в этот момент на самом деле интересует.

Так, вдруг, он перебил обстоятельного Диму, и качнув головой в сторону соседей, поинтересовался, что за публика восседает у них за спиной.

— Приезжие... Даже скорей наезжие, — определил всезнающий Дима, кинув быстрый взгляд в сторону соседнего стола.

— По нашему делу? — поинтересовался БОС.

— Ну эти из породы пираний... Им проблемы с «Золотой милей» не по зубам. Им бы урвать, как режиссеру Херченко... или как его там... кусок от общего стола!

— Зато локаторы у них все в нашу сторону, — недовольно отметил БОС.

— Как скажете, — отреагировал Дима с готовностью. — Поменять наш стол?

— Лучше бы поменять им стол... А впрочем... — БОС отмахнулся. — Пусть остаются. Наши дела не столь уж для них важны. Да и решать мы их будем недолго.

Соколов промолчал, отметив для себя необычность такого заявления. Подумалось: чем быстрее, тем лучше Ему-то решать нечего. Он давно все решил. А вот что решит БОС, который был сейчас излишне самоуверен, его не могло не беспокоить.

Но БОС снова отвлекся, теперь уже на громогласных немцев, которые воодушевленно возопили: «Вставай страна огромная. Вставай на смертный бой...»

— Дима, — попросил БОС, поморщившись, — закажите этим певунам сосисок с пивом. Вюрстхен унд бир, как сказали бы у них на родине. Авось пока прожуют, мы тут поговорим.

Пока помощник распоряжался, он добавил, что вообще-то, он наслышан, что немцы на войне были хорошими солдатами. Не СС, те зверствовали в тылу, а солдаты на передовой. Если бы не их Бесноватый, — так в печати величали Гитлера, — неизвестно, чем бы это все закончилось.

«Тем же самым, только ребят бы наших положили поболее», — но это Соколов про себя. Спорить впустую ему не хотелось. Однажды и сам, изучая жизнь Матросова, закрывшего вражескую амбразуру своим телом, предположил, что хорошей гранатой если не сам дзот, то смертоносный пулемет, можно было бы уничтожить, не подставляя свою грудь. Только не было у наших мальчиков этих гранат. Вот так и воевали.

— Мой отец рассказывал, — между тем продолжил БОС, — что один из самых-самых именитых в то время фотокорреспондентов, в сорок первом, а положение-то было аховое, в Москве паника и все такое... Так наша знаменитость возил на приданном ему грузовичке трупы немецких замороженных солдат. Он раскладывал их на снегу, близ окопов, там или сям, изображая на снимках многочисленные жертвы среди вражеских оккупантов.

Жизнерадостные «оккупанты» между тем, и правда, примолкли.

Вернулся Дима, сообщил, что с немцами он нашел общий язык. Вполне контабельные ребята. Оба бизнесмены, имеют фирменный подряд на строительство горного спуска на строящемся олимпийском объекте. С ними полезно дружить.

БОС согласился, но сегодня, сейчас, — как он выразился, — у нас горный спуск покруче будет.

— Ну, что, Ваше величество? — в его голосе прозвучала нотка разочарования. — Вы твердо распорядились своим сроком?

О каком сроке идет речь, все трое понимали.

— Сроки решаются на небесах, — отреагировал коротко Соколов. Но в полемику не вступал, предоставив оппоненту самому решать, какой выбрать тон для разговора.

— Дима, — поинтересовался БОС у помощника, — а что у них там со сроками, — он указал пальцем наверх. — Неужто решили?

— Да, вот, если операция пройдет гладко, так решили, но не наверху, а поближе, годик, а может больше, протянет. Израильские врачи сейчас лучшие в мире. И все это евреи из России. Ну и немцы тоже на уровне.

— А наши что ж?

— И наши бы смогли. Но у тех аппаратура не чета нашей, да и порядка больше.

— Значит, годик, — удовлетворенно повторил БОС. — Лучше бы два или три, но будем считаться с немецкой точностью. Триста шестьдесят пять дней на круг! Даже триста шестьдесят шесть, учитывая, что год-то грядет високосный.

— Двадцать девятое число — это Косьян! — Не совсем к месту вставил словцо Дима. — Неприятный год. Мой папа говорил, не приведи господь, на кого *Косьян косо* взглянет!

— А сколько в предлагаемой рукописи страниц?

— Страниц триста-четыреста...

— Ага. За каждую страничку мы продляем нашему автору день жизни? — посчитал БОС. — Не мало же? А? Не мало!

Соколов молчал. Вся эта шуточная торговля была бы недурной потехой, если бы на кону не стояла его собственная жизнь. Но, правда, он лишь сейчас, от сведущего помощника, узнал свои настоящие сроки, о которых лишь догадывался, — Алена о них молчала. А у них в Рабисе про одного из литераторов в шутку говорили, что он знает все и все неточно. В России, в отличие от Запада, от больного правду скрывают. Но Диме-то можно было верить.

— Триста шестьдесят шесть дней, — в раздумчивости повторил БОС. — Это и Алена (дай Бог вам счастья!), и девочка, которая, понаслышке, вас обожает, и «Венский бал» о котором вы мечтаете... Дима, как с приглашением на бал?

— Обеспечим, — отвечал, не раздумывая, помощник.

— А возможно и Упсала... Вы же мечтали узреть рукопись Котошихина?

Вот здесь даже ответа не требовалось, все отразилась в лице гостя. Его, как говорят, брали голыми руками, и единственным спасением было незримое присутствие Алены. Она не простит ему ни бала... ни Упсалы.

— Да, кстати... Ваша пассия посетила нас, — как бы неожиданно вспомнил БОС. — Она за вас горой! Есть еще женщины в русских селеньях... не правда ли, Дима?

— Есть, — отвечал тот. — Но сейчас им не до нас, у них свои проблемы. Да какие!

— Какие? — спросил БОС. Но спросил не для себя, это было видно, а для собеседника.

— С дочкой.

— С Катюней? — непроизвольно вырвалось у гостя. Он почувствовал, что противостояние, заряд прочности, которым он запасся на пути сюда и который казался незыблемым, готов разрушиться.

— Ну, «проблемы» — мягко сказано, — подтвердил Дима. — Не хочу вас пугать, но девочка-то давно больна. А сейчас у нее жизнь, как у Кощея Бессмертного... На кончике иглы!

Вот он, удар, которого Соколов не то чтобы страшился, но с опаской ожидал весь вечер, потому что догады-

вался, что в экзотичный, упрятанный от глаз подвальчик, не ходят ради пустых бесед. Для этого хватило бы скамеечки рядом с сердобольной лягушкой. Но отчего же так долго выжидали, чтобы вот так, неожиданно, наотмашь?

— Алена об этом почему-то помалкивала,— только и смог пробормотать гость. — Может... не так уж страшно?

Доля сомнения у него, все-таки, оставалась. Он с тревогой всматривался в лица БОСа и Димы, ожидая, почти вымаливая, каких-то других, более щадящих слов. Ну пусть они еще скажут что-нибудь... Пусть скажут, что до поры еще не так уж трагично, но есть опасения... Хоть-что утешающее.

— А как ей не помалкивать? — спросил в упор БОС. — Грузить вас своими проблемами? Да в вашем состоянии? Когда вы сами часы отсчитываете? Вашу Алену можно лишь пожалеть, Ваше величество, она между вами и дочкой, как между Сциллой и Харибдой!

Теперь они все трое молчали. Казалось, что пауза затянулась на целую вечность. Между тем, как удовлетворенные угощением, немцы с не меньшим удовольствием завели, явно в честь гостей, «Подмосковные вечера».

— Вот что, — заговорил Соколов, и не узнал своего голоса. Он повторил: — Вот что... Я завтра все решу. Я хочу подумать. А если удастся, встретиться с врачом.

— И ладушки, — подытожил удовлетворенный результатом БОС. — А фамилия врача... Дима, как фамилия этого бородатенького?

— Грищенко... Он лечит девочку с трех лет.

— Такие вот небеса, — произнес БОС, не без вздоха сочувствия. Сочуствие, как показалось Соколову, было искренним. Но это сейчас никакого значения не имело. Он не мог далее продолжать разговор. Да в принципе говорить было и не о чем. Бокал вина под возникшие вновь песни веселых немцев и острая восточная закуска завершили странное пиршество. А страх, а ноющая боль, как заноза в сердце, остались.

Глава двадцать пятая

Рукопись

Главврач принял его тотчас, после утреннего обхода, видимо был уже предупрежден или догадывался, о чем пойдет речь. Бородатенький, в очках, этакий классический тип врача из чеховских времен, у него оказался низкий тембр голоса и обходительно ласковая манера разговаривать, пытливо заглядывая в глаза. От неприятно знакомых острых лекарственных запахов у Соколова, пока ожидал врача, закружилась голова. Воздух больницы, это воздух грозящей беды.

— Все, что вам передали, правда, — подтвердил врач, проводя в свой кабинет и закрыв поплотнее дверь. — Я бы и сам не ничего не скрыл, но мама дочки настрого запретила что-то вам сообщать.

— Почему?

— Не знаю. Но очень просила.

— Ну, по поводу Катюни, будем считать, не вы ко мне, а я к вам пришел. А теперь вы мне скажите. Только по правде... Насколько это опасно?

— Это опасно, — коротко отвечал врач.

— Очень?

— Очень.

В дверь постучались. Но врач попросил подождать: «У меня посетитель».

— У девочки врожденный порок сердца, — пояснил он. — Транспозиция магистральных сосудов. Проще — малый круг кровообращения и большой, которые должны соединяться между собой, у вашей Кати никак не связаны.

Соколов, конечно, обратил внимание на слово «вашей», доктор был хороший психолог и не мог не понимать, с какой целью явился столь ранний гость. С таким низко журчащим голосом ему бы не о смертельных болезнях вещать, а петь, скажем, в церковном хоре.

— А что говорят другие врачи? Ее же, наверное, не вы один смотрели?

— Да кто ее только не смотрел! По спонсорской программе в прошлом году смотрели приезжие немецкие специалисты, сам профессор Хацер, выше авторитета сейчас нет. Он и предупредил, что возможно ухудшение, если посинеют губы и ногти. Так сейчас и произошло. Это означает сужение до максимума легочной артерии, по которой поступает кровь. Ни быстро ходить, ни тем более скакать, или купаться, ей, конечно, нельзя. Спать в основном сидя. «Срок годности», который назначал профессор, истек еще весной. Ну а дети выражаются проще... Они говорят: «уйти».

— Дети понимают, что это означает «уйти?

— Еще как! Некоторые же «уходят».

— А Катюня? Она понимает?

— Конечно. Она у вас умница.

И снова обращение «у вас» прозвучало так, что и воркующему нежно врачу, и самому Соколову было понятно: Катюня — это неотъемлемая часть его жизни, а значит, лично от него сейчас зависит, «уйти» ей или не «уйти».

— Но это может случиться быстро? Да?

— В любую минуту. Операция, если нам удастся ее решить, будет идти часов пятнадцать, так сказал доктор Хацер. Ее примерная стоимость — тридцать две тысячи евро.

О самой операции говорилось так, будто остальное уже решено. Доктор, и, правда, был хороший психолог. А Соколов вспомнил прогулку на берегу моря, там ведь тоже возник разговор о крае жизни. И прозвучало смягчающее слово «утечь». Теперь-то ему было ясно, что Катюня все про себя знала. «Утечь» или «уйти» какая разница. Но ни слова не произнесла о болезни, не жаловалась, а от плескавшихся в море шумных сверстников мужественно отворачивалась. Самая большая мечта ее в жизни было потанцевать.

— А как бы ее повидать? — попросил Соколов. — Это возможно?

— Возможно. Если коротко. Но придется подождать.

— Я подожду.

Через десять минут его проводили в одну из палат. Катюня встретила его так по-родному, что у него сердце

защемило. Она полусидела, откинувшись на подушки, но завидев его, даже чуть приподнялась и подалась вперед.

— Мармелажка, — произнесла негромко, — я ведь знала, что ты придешь.

— Ну а как же, у нас семья, — отвечал он, вглядываясь в ее лицо. Губы и подглазья, и правда, были синего цвета. Но в глазах ни страдания, ни боли он не увидел.

— А мама говорила, что ты пишешь какой-то роман и у тебя совсем нет времени. А как ты его пишешь?

— Вот уж не знаю, — сознался он. — Однажды сороконожку спросили, а что делает ее сороковая нога, когда она поднимает первую, и знаешь, что произошло?

— Нет. А что?

— Сороконожка задумалась и перестала ходить!

Катюня рассмеялась, и смех ее был вовсе не больным, а даже радостным.

Доктор из-за спины напомнил легким покашливанием о времени. Но Соколов и сам не забывал, что им отсчитаны с Катюней короткие мгновения.

— Ты помнишь о нашей договоренности? — спросил он на прощанье.

— Венский бал?

— Венский бал. В огромном, сверкающим огнями зале будет звучать божественная музыка, представляешь, а мы будем всю ночь с тобой, только с тобой.

— Танцевать?

— Танцевать!

— Правда?

— Честное слово!

— Я буду тебя ждать, Мармелажка, — пообещала девочка, стало заметно, что она устала. Ее глаза стали потухать.

— Ну к балу мы с тобой отдышимся! — заверил он. Но выйдя в коридор тут же осел на ближайший диванчик и закрыл лицо руками.

— Только бы не опоздать, — пробормотал. — Только бы не опоздать.

Перед заходом к БОСу Соколов старательно привел рукопись в порядок: выровнял странички, сложил в пап-

ку, и перевязав шнурком, взвесил на ладони. Рукопись была не легкой.

— Ну что, — пробормотал, глядя чуть ли не с отвращением на свое детище, — закладываем, братец, душу-то? — Но спохватился: — Пора! Они ждут!

Так, с рукописью под мышкой, как бы гуляя, прошагал он по аллеям парка, мимо каверзной скамеечки, мимо фонтанчика, где мама-лягушка, сложив молитвенно лапки, умоляла вернуть ей лягушонка.

— Господи, — произнес он про себя, замедлив у фонтана шаги. — Верни мне Катюню. Что хочешь взамен. И тело, и душу... Только, верни!

— А я знал, Ваше величество, что придете.

Это первое, что произнес БОС, встречая его в дверях. Был он чисто выбрит, от него пахло утренней свежестью и хорошим настроением.

— Вы побывали у врача, не правда ли? Как себя чувствует девочка?

— Вы лучше меня знаете, как она чувствует, — отвечал, нахмурясь, Соколов. — Ей срочно необходима операция.

— Но тогда не теряйте времени... Если хотите, можно потолковать в садике, на нашей с вами скамеечке... Такое божественное утро!

«Это смотря для кого», — подумалось Соколову. Но отвечал по другому:

— Нет. На скамейке не хочу.

— Отчего же? Такой фонтан и такая мама-лягушка... Ну да ладно. Сейчас зайдет Дима... Кофе хотите?

— Спасибо. Нет.

Дима будто услышал, уже через минуту явился, и молча уселся напротив. Ему-то объяснять ничего не надо. Папка с рукописью лежала перед ним на столе.

Соколов оглядел комнату, номер роскошный, директорский, с коврами и всякими безвкусными картинками на стенах. Но с крохотной кухонкой.

— Я последую вашему совету не терять время на разговоры, — сказал громче обычного Соколов. — Вот рукопись. Мне нужно тридцать две тысячи евро.

БОС поглядел вопросительно на Диму. Тот кивнул:

— Это оперция стоит тридцать две тысячи евро. Но... — протянул он, прикидывая. — Там могут быть и другие расходы. В общем, тысчонок на сорок поездка потянет.

— Но вы согласны? — спросил Соколов.— И придвинул к себе папку. Это был предупредительный жест, но достаточно красноречивый.

— Дима, мы согласны? — БОС повернулся к Диме.

— В общем-то, да.

Оба глядели сейчас, не отрывая глаз, как загипнотизированные, на папку.

— Так. Ваши условия?

— Условия? — переспросил Соколов. — Условия мои такие. Вы предоставляете авиабилеты, визы, паспорта. Обеспечиваете месяц проживания в гостинице. И маме и дочке. И никакого упоминания моего имени. Все делается в порядке благотворительности по решению вашей фирмы.

Голос Соколова обрел неожиданную твердость, даже жесткость. Кто бы мог представить, что это человек, который добирает свои крохи со стола жизни.

— Да, у нас есть пункт, по которому выделяются средства для лечения тяжелобольных детей. Но потребуется время, — заметил практичный Дима. В присутствии БОСа он не позволял себе легкомысленных улыбочек.

— Время — это деньги, — отмахнулся БОС. — А деньги будут.

Он неожиданно расплылся в улыбке. А улыбался он, как всегда, одними губами. Но это уж точно не была улыбка победителя. Соколов именно сейчас, когда все воспринималось особенно обостренно, это бы почувствовал. И никогда бы не простил.

.— А сейчас, я хотел бы переговорить с уважаемым автором наедине.

Дима оборотисто собрался, хотел было захватить и рукопись, но шеф придержал ее рукой. И даже пододвинул поближе к себе:

— Оставьте.

БОС предложил Соколову присесть. Помедлил, прежде чем приступить к главному для него вопросу.

— Вы отдаете всю сумму девочке? Я вас правильно понял?

— Да.

— Мне, конечно, все равно кому платить, — произнес БОС, вглядываясь в Соколова. Смотрел, будто впервые его видел. Он развязал папку и стал ее листать. На какой-то странице застопорился, вчитываясь в текст.

— Вот, прямо в жилу: как раз о деньгах! За воровство жуликам отрубали руки и прибивали их на воротах! Впечатляет!

— Вы о ком?

— Ни о ком. А о чем. И не я, а наш с вами Котошихин о воровстве на Руси?

— Жулики воровали во все времена, — сказал Соколов. — Но при этом как бы немного смущались, и даже при случае оправдывались. Образ «голубого воришки» был вполне реален. Сейчас воруют свирепо, рвут из-под ног все, что можно стащить, и при этом рычат, даже угрожают. Самые приличные из них огрызаются и отвечают, что воровали все и всегда и они не хуже и не лучше остальных.

— Вы мне рассказываете! — усмехнулся БОС.

— Но я свои деньги честно заработал, — вдруг странно, и даже с непривычной резкостью произнес гость.

— Что вы! Что вы! Я же повесть цитирую. — И почти без перехода: — Так вы считаете, уважаемый Александр Семеныч, что жизнь девочки в чем-то больше значима и ценна, чем ваша?

Так странно он спросил. Было ясно, что именно этот вопрос волновал его больше всего.

— Но ей еще столько жить, — чуть нахмурясь, отговорился Соколов, почувствовав, что к нему пытаются, уже не первый раз, вторгнуться в душу.

— Ну а когда меньше или уж совсем ничего, то каждое мгновение еще бесценней? — гнул свою линию БОС. — Чтобы продлить жизнь, глаголет история, люди шли на все, даже на преступления, вливая, как известно, в себя кровь младенцев! У вас еще есть выбор. И это останется между нами. Подумайте! Последний раз!

Соколов резко поднялся, давая понять, что такого рода разговор он считает невозможным.

— У нас с вами о ценностях разное представление. А девочка, между прочим, моя дочь, — сказал он уже от дверей.

Но БОС не собирался так просто его отпускать.

— Я провожу, — сказал неожиданно тепло и даже улыбнулся. — Посидим на природе, потолкуем. Надо же обговорить подробности лично вашей поездки... Я говорю про Упсалу.

Соколов лишь кивнул, поморщившись. Ему не терпелось остаться сейчас одному. Да еще на пути пресловутая скамейка. Будь он чуть мнительней, мог бы предположить, что все это неспроста, что снова фонтанчик и скамейка, с которой все так странно у них с БОСом началось. А теперь, еще более странно, завершалось.

Смахнув цветочную пыльцу ладонью и присаживаясь, БОС сказал чуть насмешливо, оттопыривая по привычке нижнюю губу:

— Признайтесь, Ваше величество, я ведь помог вам написать самую честную в жизни книжку. А? — прислушался, хотя ответа не ожидал. Зато вовсю чирикали в зелени воробьи. — Для себя так открыться было бы слишком, правда? А под моей-то, птичьей фамилией... Отчего и не пооткровенничать! Да?

Довольный шуткой он повторил:

— Конечно же, вам повезло, хоть вы никогда не признаетесь. И даже втайне негодуете. Я из вас... ну пусть, не очень цивилизованно, пожалуй, даже варварски, каюсь! — извлек то, что было бы похоронено... Оно так и могло остаться невостребованным. Так же? Так? Ваше величество?

— Вам видней, — Соколов выдавил с трудом. Он беседовал, не поднимая глаз, в предчувствии, что это у них, возможно, последняя встреча. Они уже все сказали друг другу и все друг о друге поняли.

Глава двадцать шестая

Упсала

Ханс, переводчик, спокойный, интеллигентный, с грустными усталыми глазами, водил меня по старым улицам Стокгольма. Была ранняя осень, но было промозгло и сыро.

— Я знаю, где казнили русского беженца, — повторял он. — Это на Старой площади. Там всех преступников в то время казнили.

«Беженец» немного резануло ухо. Ну а, правда, кто он им? Историческая личность? Писатель? Гонимый, как нынче бы назвали, диссидент?

Он привел меня на Старую площадь, это рядом с церковью святого Николая.

— Думаю, казни были вот тут. Видите, ложбиночка, по ней кровь стекала. Уж небось, погуще этой жижи.

Ложбинка, выдолбленная в старых камнях, была. Заполнена мутной дождевой водой. А кругом старые-престарые дома, на одном даже высечена дата — 1650 год. Это уже ближе к нашему времени, если считать нашим временем — время Котошихина. Дом красно-бордового цвета в пять или шесть этажей, на первом этаже выставка картин. Прямо в центре площади — чугунная водокачка, которая еще десяток лет назад снабжала жителей водой. Ханс эти годы помнит. А помнит потому, что рядом с водокачкой всегда ставили рождественскую елку с лампочками. Огни немного смягчали суровый вид площади, и детишки любили тут порезвиться.

На короткое время я покинул Ханса, чтобы не отвлекаясь на посторонние разговоры, подышать чуть присоленным морским воздухом старого города, площади, почувствовать особый сыроватый запах старых камней. В общем то, что было при Григории Карповиче. Ну что значат триста лет для воздуха, который овевает веками древний

город! Мы и в церковь зашли, старую, судя по могильным плитам, до котошихинских времен. Нет, я не пытался искать могилу моего героя, я знал, что ее не существует. Так уж распорядился он сам, подарив (или — продав?!) свой костяк Упсальскому университету. Но возможно где-то в архивах есть упоминание — где, когда, при каких условиях все это произошло?

Я последний раз оглядываю церковь. Сумрачно, но ее внутренность не угнетает, наоборот, от всего, от тех же могильных плит, на которые я стараюсь не наступать, деревянных скамеечек, алтаря исходит умиротворяющая душу тишина.

Поезд на Упсалу игрушечный, шесть вагончиков. Народу немного. Все ухожено, чисто, есть даже раздевалка с вешалками. За окошком живописные виды, как на старых гравюрах: еще не увядшие зеленые долины, взгорки, луга и красные крыши поселений, живущих веками своей целомудренной, никому из нас неведомой жизнью. Летом тут, наверное, много цветов и зелени. А я среди современной техники в современном поезде с вполне современными пассажирами взлетаю в своих стремлениях над этим привлекательным европейским миром, с желанием скорей встретиться с моим героем, чья душа, может быть, витает неподалеку от старых зданий университетского городка. Там хранится его книга... Ну, а в чем еще творец, его дух, душа, могут быть воплощены более, чем в своей книге!?

Об этом, кстати, был и последний разговор с БОСом. Я знал, что мне подарили Упсалу, но лишь потому, что мы оба понимали — в рукописи нужен финал. И возникнут, наконец, те слова, которые я искал всю жизнь. И вся моя теперешняя жизнь — предощущение этого в себе открытия. Главное, чтобы хватило сил, которые убывали; я чувствовал и понимал, что на самом деле означают дни и часы, золотые капельки жизни. Все они теперь отданы моей Катюне.

Я тогда ведь ответил на его вопрос об исповеди. Что я вовсе не уверен, что смог в книге... его, разумеется, теперь книге, сказать о себе, то есть о нем, самое сокровенное. Всегда кажется, что главные слова еще впереди. В каждом

человеке есть нечто, что должно оставаться лишь для него. Тайной.

— И с ним уйти в небытие?

— Да. Но знаете, в этом я не одинок. Многие унесли свою тайну.

— Вот оттого и мучаемся! Но вы же не можете утверждать, что я взял у вас все, что вы называете тайной. Что-то, наверное, и осталось? — И поскольку я не отвечал, он добавил почти легкомысленно: — Я думаю, что я и вам помог чуток в себе покопаться, вошло или не вошло оно в мою биографию, неважно. Восточные люди называют это зеркалом кармы... Якобы в момент ухода человек в этом зеркале видит, ну как в кино что ли, всю свою до краешка прошлую жизнь.

— Но уходя? — спросил я.

— Это я к примеру. Зачем вам уходить раньше срока. Живите. Наслаждайтесь. Полюбуйтесь на Европу. Вы же первый раз туда едете? Ну и счастливой поездки. Я вас полюбил, поверьте! Мы же теперь такая родня!

У меня нет уверенности, что по приезде в Упсалу я найду полное понимание, хотя верю в незыблемость жизненного уклада матушки-Европы, которая чужда скороспелой тусовке и верна своей извечной привычке к стабильности. Если церковь, так та, в которой мы только что побывали, она простоит столько, сколько ей века положено. В этом их прочность, основа бытия, в отличие от нас, умеющих и любящих все менять и все перекраивать. Если только не какие-нибудь катаклизмы. Или, не дай бог, война. В Упсале, насколько я знаю, ничего подобного не было. Ни того, ни другого. Но и о Котошихине среди здешнего профессорского и студенческого населения, даже среди историков и писателей, насколько могу убедиться, никто ничего не слышал. Им в новинку мои рассказы о «русском беженце» и о том, что одна из первых рукописей по истории России хранится в здешней библиотеке. Возможно, вся моя поездка бессмысленна. Но есть библиотека и есть (сохранился до сих пор) анатомический театр, самый древний в Скандина-

вии, с круто вертикальными скамьями в семь ярусов, и с высокими барьерами, чтобы от представшего зрелища жаждущие острых ощущений зрители не попадали вниз. А внизу, посреди зала, деревянный овальный стол, кажется, еще от тех времен, когда профессор Рудберг, чей барельеф выбит над входом, колдовал над телом казненного Котошихина.

Хранилище книг — огромное многоэтажное здание, наполненное особыми запахами, которые бывают только в старых библиотеках. Меня сопровождает здешняя переводчица — Лулу, некрупная, подвижная, но очень эмоциональная для шведки, она как раз работает над переизданием Котошихина, и ее стол, ее бумаги разложены тоже здесь. Это она сообщает мне, что ей разрешают брать рукопись моего земляка и еще, что он якобы, по ее сведениям, знал четырнадцать языков. Это для меня новость, ни в каких биографических изданиях этого нет.

Я расписываюсь в книге посетителей, вот и все формальности. Вдобавок, я устно декларирую свою причастность к текстам русского историка, прочтя при входе объявление: NO — TURIST! Если уж я турист, то мой туристский маршрут в 17 век. В гости к моему герою.

К нам вышла женщина, милая, улыбчивая, чуть седая. Она сказала, что Котошихин — это очень интересно, и что ей рассказали, будто искали его череп... Но не нашли. При этом она подала, но не мне, а Лулу, книжечку, как и описывал Дима, в темно-коричневом, чуть потертом переплете.

— Он???

— Это Котошихин, — ответила она. И тут же ушла.

И Лулу, скорей из деликатности, тоже поторопилась к своему столу, доверив мне бесценную рукопись.

Она лежала передо мной на столе, а я не решался взять ее в руки. Я даже огляделся, не смотрит ли на меня кто-нибудь. Читальный зал совсем небольшой, несколько человек, все шведы, заняты своей работой. Я почти украдкой прикоснулся, потом провел ладонью по гладкому коленкору обложки. Помедлив, чтобы унять дрожь в пальцах, открыл на первой странице и сразу узнал текст «GREGOR KOCHIKINE». Именно так он воспроизведен

в дореволюционном издании, которое у меня тогда забрали.

Регистрационных на вклейке записей от старых времен, видимо, не сохранилось. Но с 1964 года рукопись брали читать десять раз. Последний брала как раз Лулу в 1989 году. Вполне возможно, что все десять записей тоже ее. Никто из моих соотечественников среди читателей не был обозначен.

Бумага рукописи, листы которой я так и эдак, и даже на просвет просмотрел, плотная, с разводами: щит и что-то вроде короны. Такая роскошь могла быть выделена в том королевском ведомстве, к которому Котошихин был приписан. На четвертой странице латиницей, а потом и по-русски, обозначены принадлежность автора к Посольскому приказу и дата написания книги: 1666–1667 год. Всяческое в тексте узорочье, буквицы, завитушки, виньетки прорисованы по-видимому уже самим автором, красными чернилами. Все эти красивости явно противоречат строгому содержанию рукописи, но так, видать, диктовала тогдашняя мода. Некоторые страницы прилично подпорчены, в пятнах и разводах от воды, но запись нигде не стерта, не утрачена, а ведь ей без малого триста пятьдесят лет! Еще поражает твердый почерк, уверенная, ни разу не дрогнувшая рука. На полях — повторенная несколько раз, упомянутая мною приписка автора: «ЗРИ БОЛЕЕ СЕГО!» В нашем понимании это бы прозвучало «смотри вглубь» или же: «читай между строк», а еще проще: «далее — соображай сам».

В перерыве разговорился с Лулу, которая сказала, что Котошихин хоть и историк, но для нее абсолютно живой человек... «Меня даже муж к нему ревнует!».

— Еще какой живой! — воскликнул я.

На нас даже обернулись. Флегматичные шведы не привыкли к подобным эмоциям, да еще в храме книги.

— Он не ощущает себя писателем, но лишь рассказчиком, повествующим о своем времени, — сказала Лулу. — Но он безусловно писатель. И нервный, именно писательский настрой заметен, когда он отклоняется от линейки. Отклонение-то незначительное, но по нему можно уга-

дать, что в это время происходит в душе. Вот как с отказом короля о помиловании перед смертной казнью. Его ужасно жалко. Но твердость почерка при этом остается-то прежней. О, он мужественный человек. Сочинять, стоя под топором!

Возвращаюсь в столицу к переводчику Хансу. Мы снова бродим по улицам Стокгольма. Нам важно найти Южную заставу, где, по версии Лулу, казнили Котошихина. На Старой площади, как она считает, казнили только королей.

— Вот Ваше величество, когда дойдет очередь до вас.

— Не дождутся.

Но про себя-то знаю, что в очереди вслед за моим героем я далеко не последний. Ах, Григорий Карпыч, побывав здесь, как бы я о тебе теперь написал! Но я отмалчиваюсь.

— А нет ли здесь церкви? — спрашиваю Ханса. — Ведь его причащали, насколько помню, в церкви святой Марии Магдалины.

— Эта церковь неподалеку, — говорит мой переводчик.

— И она цела? Она действует?

— А как же!

Последний вопрос можно было бы не задавать. Это наши российские туристы, попав впервые на Запад, при виде храма обычно спрашивают: «А эта церковь действующая?»

Она и вправду оказывается неподалеку. Белокаменная, с нежно-розовым отливом, шестерик на четверике, она не показалась мне древней, хотя построена в 30-е годы XVII столетия. Построена на живописной горке, а рядом просторное кладбище-парк. И конечно, конечно, действующая. Недействующие только у нас на родине.

В церкви два органа и прекрасно выполненный алтарь. Котошихин не мог здесь не бывать хотя бы потому, что неподалеку, согласно истории, находилось русское подворье. Там останавливались на постой богатые торговые люди, приезжие, дипломаты. Папской веры они, конечно, чуждались, но в церкви могли и побывать. А где-то побли-

зости тогда должна быть и тюрьма. Если через южный мост и южный въезд в город провести прямую, то она не минует церкви и бывшей тюрьмы, где сидел в заключении Котошихин. Но тогда где-то на этой линии, возможно, и место казни? Зачем же далеко везти?

Мы постояли в глубоком молчании, глядя на старый город с высоты южного предместья, на блестевшие в час заката купола церквей и сверкающий огнями залив. Возможно именно здесь свой последний путь проделал мой герой и, замедлив шаг, перед церковью святой Марии Магдалины, перекрестясь, низко поклонился, прощаясь с жизнью.

Мы вернулись в храм, и, взяв коротенькие, толстые свечечки, засветили их перед иконой распятия, как это полагалась на родине, в память о русском подьячем Григории Карповиче Котошихине.

По возвращению он нашел короткую записку от Алены.

«Я тебя любила всю жизнь, это правда. Я тебя и дальше буду любить, но того, кого я знала раньше. Ты его, то есть себя, не смог сохранить, а я сохраню. Я буду рассказывать девочке, которую ты спас, какой ты замечательный человек, и эта легенда будет ее ангелом-хранителем. Прощай!»

Глава двадцать седьмая

Венский бал

Писатели обычно врываются в этот мир шумно, бурно, даже скандально, а покидают его как смертельно раненные звери, затаиваясь в своих берлогах, исчерпав запас оптимизма и жизненных сил. Никому уже не слышные, не видные и никому не интересные, они исчезают сперва из публичной хроники, а потом из жизни. Как сказал бы поэт, они уходят, медленно истаивая, как истаивает по весне снег на окраине города.

Он умер во время операции и знал заранее, что ее не перенесет. Об этом знали и врачи, хотя в целом не самые большие оптимисты, они повторяли: риск есть... Конечно есть! Но пятьдесят на пятьдесят!

— И одного процента много, — сказал он спокойно про себя. Одного процента, — повторил он.

С вечера он прошел все процедуры, Алена никого к нему не допустила, все проделала сама. А на утро дала ему усыпляющее. Он знал, что в тот момент, когда узкая и звенящая железными колесиками каталка поступит в грузовой лифт, он тихо уйдет... исчезнет... утечет.

А пока звенит вовсе не каталка, железными колесиками о железный порожек лифта, вознося его на самый верхний этаж, в операционную, а звенит Венский бал, вплетая его дух и плоть в ткань божественной музыки Штрауса. Вальс закружит, погрузит и унесет в блистательный мир вместе с его Катюней. Какой из них... Той ли, что в его мечтах подросла, или той, что сейчас вернулась к нему девчонкой, но в мелькании счастливых молодых напряженных от музыки лиц, как ни силился, как ни всматривался, уже не смог угадать.

Но и уходя, знал, верил, что он прожил жизнь для любви и лишь в ней, и ни в чем другом, кроме любви, нет в этой жизни смысла.

Послесловие

Поезд медленно подкатил к перрону, заполненному отъезжающей курортной публикой, крикливыми тетками, предлагающими задешево свои халупы. Из предпоследнего вагона вышли двое: женщина и подросток. Вещей, кроме легкой сумочки, у них с собой не было. Они пошли вдоль состава, мимо снующих продавцов и таксистов, мимо группы встречающих, в которой мы могли бы узнать и Зяму, и Сергея, и кого-то еще. Не было среди них Шеры. Он и не мог быть, наотрез отказавшись участвовать в массовке.

Небольшая группа отдыхающих приветствовала стоящего на вагонной площадке человека по имени БОС, и кто-то, кажется Сергей, громко произнес: «Мы счастливы приветствовать короля Мармелажку...» и т. д.

Высокий седоватый мужчина, чем-то внешне напоминающий Соколова, но с лицом чуть анемичным, почти застывшим, сверху, с площадки вагона, молча взирал на встречающих, из-за его спины выглядывал красавчик Дима.

— Ну вот, они у нас, как говорят, в кармане, — негромко произнес Дима, при этом широко улыбаясь встречающим.

— Да, они такие, — не оборачиваясь подтвердил БОС. Но при озвучивании имени «Мармелажка» чуть, одними губами, улыбнулся.

Девочка приостановилась, вытянув цыплячью шею, и стала слушать.

— Мам,— сказала с удивлением,— там нашего папу называют!

— Нет, нет, — торопливо отвечала женщина. — Вовсе не его. Пойдем!

— Но они сказали Мармелажка... А Мармелажка — наш папа...

— Да. Но это совсем другой Мармелажка.

— Их много, да?

— Не знаю. Но папа нас ждет. Только он настоящий Мармелажка. Ты должна это знать.

В отличие от массовки, которую ждал на пристанционной площади знакомый нам желтый рафик, женщина и подросток дождались рейсового автобуса, который их доставил по разбитой и пыльной дороге в поселочек на берегу моря. Правда, до моря было не близко, да они туда и не пошли. Пешком миновали окраинные лачуги, по большей части самострой, и где-то за ближайшей горкой нашли сельское, в густой зелени кладбище.

Центральная аллея, именуемая местными «Аллеей героев», состояла из памятников сплошь красного мрамора, на которых в разных позах, но по большей части в рост, изображались братки. Старше тридцати лет среди них не было никого. Все они положили жизнь в кровавой борьбе за обладание «золотой милей», а закончили четырьмя саженями.

Девочка ничего не спросила, но мама торопливо провела ее почти по километровому ряду и произнесла непонятное слово «Падёнка».

— Мама, ты сказала падёнка? Это кто?

— Это мотылек-однодневка.

— Он живет один день? А почему?

— Так устроен. Но мы с тобой пришли.

Они выбрались на окраину кладбища, и где-то среди дикой маслины, алычи и тутовника, нижние ветки которых были увешаны цветными лоскутками и самодельными игрушками, нашли могилку с засохшим веночком на железном, крашенном в синий цвет кресте, и полустершейся от зимних дождей надписью:

АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ СОКОЛОВ. Литератор.

— Так он Соколов? — девочка прочитала надпись, широко открыв глаза. — Он не Мармелажка?

— Он Мармелажка. Но все и так знают, что он Мармелажка.

— А что такое литератор?

— Не знаю. Он был король. Ты должна это всегда помнить.

— А почему на деревьях игрушки?
— Это дети. Из лечебницы. Они тоже чтят своего короля.
— А я могу повесить что-нибудь?
— Конечно.

Девочка сняла газовую голубую косыночку, недавний подарок мамы, и прикрепила на колючей ветке дикой раскидистой маслины с мелкими серебристыми листьями.

— Прощай, Мармелажка, — произнесла шепотом. — Я тебя, правда, никогда не забуду.

Люди рассказывают, что многие годы, чаще вне сезона, в пансионат Монпасье, который давно бы был продан и перепродан разными фирмами, если бы не надежное попечительство некоего боса, приезжает молодая, модно одетая женщина. Каждое утро она идет пешочком по пыльным улочкам поселка на кладбище чтобы положить на скромную могилу полевые цветы.

Литературно-художественное издание

Приставкин Анатолий Игнатьевич

КОРОЛЬ МОНПАСЬЕ МАРМЕЛАЖКА ПЕРВЫЙ

Роман

Текст печатается в авторской редакции

Ответственный за выпуск *Д. Хвостова*
Выпускающие редакторы *М. Егорина, М. Кулькова*
Художественный редактор *А. Гладышев*
Технический редактор *О. Лёвкин*
Компьютерная верстка *О. Тарвид*
Корректор *Н. Шашерина*

Подписано в печать 07.08.08.
Формат 60×90 1/16. Бумага офсетная.
Гарнитура «Ньютон». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 20,0. Тираж 6000 экз.
Изд. № 08-9188. Заказ № 3778.

ЗАО «ОЛМА Медиа Групп»
105062, Москва, ул. Макаренко, д. 3, стр. 1
www.olmamedia.ru

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных материалов в ОАО «Дом печати — ВЯТКА».
610033, г. Киров, ул. Московская, 122.